Гумилев

БЕЗ ГЛЯНЦА

ПРОЕКТ ПАВЛА ФОКИНА

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

О русском «конквистадоре» современники писали, что он верил в свою миссию поэта-реформатора, обладая при этом неистовым самолюбием. Одним он казался человеком начитанным и тонким, другим – откровенно поверхностным и лишенным способности видеть тайный смысл вещей. Как бы то ни было, Гумилев – несомненно, настоящий герой Серебряного века, тем интереснее суждения его друзей и врагов.

Издание служит продолжением серии книг о главных поэтических фигурах прошлого столетия – Блоке, Ахматовой, Цветаевой.

- Без глянца
  -
  -
  - Поэт – имя существительное, род мужской, единственное число
  - Личность
    - Облик
    - Творчество
    - Особенности речи и декламации
    - Характер
    - На людях и в интимном кругу
    - Маски и роли
    - Озорник, выдумщик, задира
    - Дон Жуан
    - Мастер
    - Свойства ума и мышления
    - Собеседник, мечтатель, предсказатель
    - Политические взгляды
    - Склонности и пристрастия
    - Жилище
    - Муж
  - Родные и близкие
    - Гумилевы
    - Львовы
    - Отец
    - Мать
    - Первая жена Анна Андреевна Ахматова (1910–1918)
    - Вторая жена Анна Николаевна Энгельгардт (1919–1921)

        - Сын Лев и дочь Елена
    - Донжуанский список
        - Лидия Аренс
        - Елизавета Дмитриева
        - Мария Кузьмина-Караваева
        - Татиана Адамович
        - Ольга Высотская
        - Лери (Лариса Рейснер)
        - Маргарита Тумповская
        - Ольга Гильдебрандт-Арбенина
        - Ольга Мочалова
        - «Синяя звезда» Елена Дюбуше
        - Дориана
        - Цыганка Нина
        - Ирина Одоевцева
        - Аделина Адалис
        - Нина Берберова
    - Приключения и подвиги русского конквистадора
        - Детство
        - В Царскосельской гимназии
        - Аня Горенко
        - Литературные дебюты
        - «Аполлон»
        - Страсти по Черубине
        - «Открытие» Африки
        - Неравный брак
        - В Царском Селе
        - «Цех поэтов»
        - «Африканский поход» 1913 года
        - В дни великой войны
        - Конквистадор на распутье
        - В революционном Петрограде
        - «Заблудившийся трамвай»
        - Рядом с Блоком
        - Союз поэтов
        - Литературная студия в Доме искусств
        - «Звучащая раковина»
        - Посередине странствия земного
        - Дело № 2534
    - Заповеди конквистадора
    - Краткая летопись жизни и творчества Н. С. Гумилева
    - Библиографическая справка
- notes
    - 1

- ○ 2
- ○ 3
- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35

Без глянца
Гумилев без глянца

Защиту интеллектуальной собственности и прав издательской группы «Амфора» осуществляет юридическая компания «Усков и Партнеры»

© Фокин П., составление, вступительная статья, 2009
© Оформление. ЗАО ТИД «Амфора», 2009

* * *

Памяти Галины Фридмановны Коган

Поэт – имя существительное, род мужской, единственное число

Гумилев – наша совесть.

О. Мандельштам

Гумилев никогда специально не занимался языкознанием. Иностранные языки давались ему с усилием. Он не погружался в стихию античного логоса, как Вячеслав Иванов. Не вызывал первосмыслы родной речи, как Велимир Хлебников. Не заставлял слова звучать всеми оттенками значений, в них живущих, как Марина Цветаева. Но он обладал исключительной филологической чуткостью. Каждое слово он чувствовал с непревзойденной точностью. И в каждом – видел Слово. То, Что «осиянно средь земных тревог». Этой особенностью во многом определяется его поэтическая и человеческая индивидуальность.

Ирина Одоевцева записала рассказ Гумилева о том, как, будучи гимназистом и желая поразить воображение любимой девушки и товарищей, он в девичьем ее альбоме в анкете на вопрос «Ваша любимая еда» хвастливо написал «канандер», имея в виду, конечно, сыр камамбер. И каков был его ужас и позор, когда дома мама обнаружила эту ошибку. Всю ночь метался он от плана к плану, как исправить ситуацию: выкрасть альбом, поджечь дом, в котором жила девочка, сбежать в далекие страны. В конце концов к утру решил порвать все отношения с любимой и больше с ней не встречаться. Так и сделал.

Вряд ли Гумилев придумал эту историю, хотя, возможно, несколько ее драматизировал. Замечательно, как обострен в ней главный конфликт личности пробуждающегося поэта. Здесь есть и юношеский вызов обывательскому миру, и стремление очаровывать, и соблазн превосходства, и наказанное самомнение, и отчаяние, и решимость бороться, и готовность к действию. И весь этот психологический вихрь рождается от *слова* – красивого, загадочного, нездешнего, в которое подросток влюблен сильнее, чем в девушку, и от *грамматической ошибки* – ехидной, насмешливой, унизительной. Самое важное, что ни девушка, ни его товарищи ошибки не заметили – они были нелюбопытны и безразличны, но юноша Гумилев тогда уже сделал свой выбор: *суд Слова* для него – инстанция высшего порядка, *филологическая совесть* – главный судия.

Даже в таком, кажется, весьма далеком от лингвистики деле,

как ухаживание за барышнями, у Гумилева явно присутствует не только тяга плоти, но и обаяние имени. Лидия *Аренс*, Мария *Кузьмина-Караваева, Татиана Адамович*, Ольга *Высотская*, Лариса *Рейснер, Паллада Богданова-Бельская*, Мария *Левберг, Маргарита Тумповская*, Ольга *Гильдебрандт-Арбенина*, Анна *Энгельгардт*, Елена *Дюбуше, Дориана* Слепян, Нина *Шишкина-Цур-Милен*, Ирина *Одоевцева* (при встрече с Гумилевым – *Рада Густавовна Гейнике*), *Аделина Адалис*, Нина *Берберова* – донжуанский список Гумилева больше похож на словарь, чем на записную книжку ловеласа.

И конечно же, он очень рано понял значение – и предназначение! – своего имени. Этимологию фамилии Гумилева его внебрачный сын Орест Высотский возводит к латинскому слову *humilis*, что значит «смиренный»[1]. Так по науке. Но какой ребенок ведает о ней? Первое и главное, что услышал мальчик в своей фамилии, – это никакое не смирение, а рык льва! (Он подтвердит это позднее, назвав своего первенца именно так – Львом. Не отсюда ли и его завороженность Африкой?) Возможно, чуть позже он разглядит некий заветный смысл и в первом слоге фамилии: *hum* – сокращение от *human* – человек. Человек-Лев! Звучит призывно. Да ко всему еще ведь и Николай – «победитель народов». А для полного счастья – Степанович – «увенчанный»!! Плюс ко всему еще почти обязательное приложение из православного обихода: «чудотворец»!!! Как бы то ни было, ребенку с таким именем оставалось только стать героем. А завороженному смыслами созвучий – неизбежно поэтом! Укротителем слов. Властителем.

Императив имени определил и образ поэта в сознании Гумилева: поэт – имя существительное, род мужской, единственное число. Эти грамматические категории он понял буквально. Ничего отвлеченного и двусмысленного, никаких оговорок и компромиссов, все – реально, отчетливо и конкретно, зримо и весомо, по-настоящему. И первые слова, которые услышал от него мир: «Я, конквистадор в панцире железном», иначе говоря, бесстрашный завоеватель и повелитель неведомых миров. Образ для русской культуры совершенно новый. И, кажется, современники как-то не очень внимательно к нему отнеслись, отождествив с более привычной и уже вполне вписанной в систему координат фигурой рыцаря. Тем более, что «Путь конквистадора» (1905) появился на фоне блоковских «Стихов о Прекрасной Даме» (1904), то есть в самый расцвет новой рыцарской мифологии. Между тем разница между рыцарем и конквистадором не просто ощутимая, а принципиальная.

Они – герои разных исторических и культурных эпох. Рыцарь (мифологизированный) – в первую очередь благородный

и бескорыстный служитель идеала (поэтому пушкинский «Скупой рыцарь» – трагический оксюморон), преданный защитник христианской веры, доблестный вассал короля и верный слуга Прекрасной Дамы. Конквистадор же – сам себе хозяин, в известной степени авантюрист, он воюет не за абстрактные идеалы, а из личного интереса, на свой страх и риск.

Я вышел в путь и весело иду,
То отдыхая в радостном саду,
То наклоняясь к пропастям и безднам.

Порою в небе смутном и беззвездном
Растет туман… но я смеюсь и жду,
И верю, как всегда, в мою звезду…

(1907)

Конквистадор Гумилева, конечно, тоже образ романтизированный, но в целом сохраняющий историческое содержание; он полемически обращен к образу рыцаря.

Не по залам и по салонам
Темным платьям и пиджакам –
Я читаю стихи драконам,
Водопадам и облакам.

Я люблю – как араб в пустыне
Припадает к воде и пьет,
А не рыцарем на картине,
Что на звезды смотрит и ждет.

(1918)

Создатель одного из самых экзотических миров в русской поэзии был человеком реалистичным, деятельным и практичным. Гумилев – блистательный организатор и руководитель. Во всех его «проектах» видна обстоятельность и целеустремленность. И в том, как он последовательно учился мастерству у Брюсова, ведя с ним систематическую переписку и обсуждая все свои новые идеи и замыслы. И в многолетнем ухаживании за Анной Ахматовой, которую судьба, как нарочно, удалит от него на тысячи верст: он будет их неустанно преодолевать. И в его африканских путешествиях – сколько труда, знаний и хлопот

нужно было вложить в их подготовку! В журнальной работе. В «Цехе поэтов». На фронте – в разъездах и на биваках, в наступлениях и окопах. В переводческой и педагогической деятельности. Не всегда все удавалось так, как хотелось (коммерчески провалились первые издательские опыты, не сложилась семейная жизнь, не дался экзамен на офицерский чин), но в трудностях нарабатывался опыт, который не оставался втуне и находил впоследствии обязательное применение. За тридцать пять лет своей короткой жизни Гумилев прожил не один человеческий век.

Ему нравилось примерять маски и играть роли. Это было в духе эпохи. Но и здесь он был оригинален и самобытен. Театр стал для него не развлечением, как для большинства его современников, а инструментом самопознания. Он брал роль и испытывал ею себя, проверял душу и тело. Все всерьез, никаких декораций и условностей. Даже в детских играх: однажды в доказательство своей «кровожадности» откусил голову живому карасю. Роли Ученика, Несчастного влюбленного, Парижского денди, Морфиниста, Путешественника, Охотника на львов, Издателя журнала, Дон Жуана, Дуэлянта, Синдика, Воина, Гусара, Мэтра, Председателя, Заговорщика исполнялись как вопрошание к судьбе и к себе. Иногда с иронической улыбкой, иногда с гримасой отчаяния. Всегда – как вызов. В этом необычном диалоге с миром рождалось победное знание Поэта.

Как в этом мире дышится легко!
Скажите мне, кто жизнью недоволен,
Скажите, кто вздыхает глубоко,
Я каждого счастливым сделать волен.
……
Пусть он придет! я должен рассказать,
Я должен рассказать опять и снова,
Как сладко жить, как сладко побеждать
Моря и девушек, врагов и слово.

(1918)

Жизнелюб, Гумилев неоднократно писал о своей смерти. С ранних лет. Думал о ней постоянно. В самом этом факте нет ничего исключительного. Каждый человек, достигая определенного возраста, задумывается об этой великой загадке Творца. И каждый находит свой ответ. Для людей нового времени смерть всегда трагична. Разум просвещенного человека не может смириться с гибелью прекрасного тела, острого ума, яркого

таланта. Он озадачен бессмысленностью своего труда, опыта, подвига. И в отчаянной тщете длит свое земное существование, выпытывая у жизни «эликсир молодости». Но Гумилев «пришел из другой страны». Да, он «вежлив с жизнью современною», но не более. Он ей – «не пара». Для него

Победа, слава, подвиг – бледные
Слова, затерянные ныне,
Гремят в душе, как громы медные,
Как голос Господа в пустыне.

И хотя мир Гумилева не лишен изящества, любви, милосердия, его взгляд на жизнь отличается суровой и веселой мужественностью. Да, именно так: взгляд Гумилева – мужественный, честный и радостный одновременно. Мужественный – в его спокойном, строгом и смиренном отношении к жизни. В понимании того, что земля дана человеку во искупление грехов, что это не рай, и действительность сурова. В восприятии земного существования человека как переходного этапа к жизни вечной, как бессмертного огня, пламя которого возжено искрой Божией и не может потухнуть. И потому он так спокоен и мужествен, когда говорит о собственной смерти.

Я, носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть.

За порогом смерти – новая жизнь. Гумилев верил в это свято. Верил и знал,

Что в единственный, строгий час,
В час, когда, словно облак красный,
Милый день уплывет из глаз, –

Свод небесный будет раздвинут
Пред душою, и душу ту
Белоснежные кони ринут
В ослепительную высоту.

В этом прозрении и предугадывании нет трагизма. Есть радость – радость *быть* Божиим творением и участвовать в само́м великом процессе творчества, имя которому – *Жизнь*.

У зрелого Гумилева есть стихотворение «Рабочий»,

написанное в годы Первой мировой войны. После расстрела поэта его можно прочитать как некое пророчество.

Пуля, им отлитая, отыщет
Грудь мою, она пришла за мной.

Упаду, смертельно затоскую,
Прошлое увижу наяву,
Кровь ключом захлещет на сухую,
Пыльную и мятую траву.

И хотя такое ясновидение поражает, все же тема стихотворения иная. В нем нет отчаяния. Эмоционально оно очень сдержанно, здесь чувствуются даже какая-то напряженная обстоятельность и деловитость.

И Господь воздаст мне полной мерой
За недолгий мой и горький век.
Это сделал в блузе светло-серой
Невысокий старый человек.

Нет, это не видение, не предсказание Кассандры. Это *дума*, только с особенной размеренностью мысли, ее здравостью и ясностью. В стихотворении отсутствует какой бы то ни было конфликт: и социальный, и метафизический. Выдержанное в скупой, реалистической манере, оно говорит о смирении перед Божественным Промыслом, о жизни как работе, заданной Творцом. У каждого – своя задача и свое поле деятельности: кто-то льет пули, кто-то – подставляет под них грудь. Кто-то слагает стихи. В этом – непостижимая красота и правда Творения.

Удивительно, как сквозь детскую маску Человека-Льва проступает у зрелого Гумилева лицо подлинного имени – Смирения.

Жизненный путь поэта оборвался на дантовской середине. Он шел в гору. Каждая новая книга стихов свидетельствовала о непрерывном духовном росте. «Он постоянно внушал всем окружающим, что поэзия – самое главное и самое почетное из всех человеческих дел, а звание поэта выше всех остальных человеческих званий»[2]. В этом смысле Гумилев был человеком своей эпохи – самой лирической во всю историю России.

Он любил звучные, «занятные» слова: *конквистадор… акмеизм… Мадагаскар…* В его поэзии, на первый взгляд, так мало русского, народного, а все написанное в «народном стиле»

выглядит экзотической стилизацией, порой вызывавшей раздражение. Современник Блока и Есенина, он кажется едва ли не «переводным» поэтом, «изысканным жирафом», каким-то чудом забредшим в «страну березового ситца». Но вот что замечательно – в этом свойстве гумилевской поэзии как раз очень много от национального характера. Русский человек любознателен. Ему забавна ученость. Он охотно познает мир, тешится басурманскими затеями. По своей природе русский человек – романтик, мечтатель, путешественник, открыватель новых земель, завоеватель. Только русский человек покорил себе одну шестую часть суши, первым шагнул в космос.

Подвиг и Мечта – главные его черты.

Он – воин и поэт.

Гумилев воплотил в своей личности два этих коренных качества русского национального характера и с полным основанием имел право сказать:

Золотое сердце России
Мерно бьется в груди моей.

Гумилев – наряду с Блоком, Мандельштамом и Цветаевой – одна из ключевых фигур русской поэзии XX века. Мужественность его взгляда на жизнь и животворная вера в бессмертие человеческой души были – вопреки всем обстоятельствам – востребованы в суровом и жестоком столетии. Мужество и вера Гумилева необходимы и сегодня, на заре нового века, который вряд ли будет легче и благополучнее предыдущего.

Павел Фокин

Личность

Облик

Всеволод Александрович Рождественский *(1895–1977), поэт, участник второго «Цеха поэтов»:*

Семиклассник Коля Гумилев являл собой довольно заметную фигуру, о нем ходило немало забавных рассказов. Высокого роста, довольно нескладный юноша. <…> Одевался он несколько франтовато (в узаконенных пределах гимназической формы, разумеется), носил фуражку с преувеличенно широкими полями и изящно уменьшенным серебряным значком, брюки со тщательно отутюженной складкой и какие-то особые остроносые ботинки [20; 405].

Валерия Сергеевна Срезневская *(урожд. Тюльпанова; 1888–1964), подруга детства Анны Ахматовой:*

Роста высокого, худощав, с очень красивыми руками, несколько удлиненным бледным лицом, – я бы сказала, не очень заметной внешности, но не лишенной элегантности. Так, блондин, каких на севере у нас можно часто встретить [22; 240].

Сергей Константинович Маковский *(1877–1962), художественный критик, поэт, мемуарист, организатор выставок, основатель и редактор журнала «Аполлон»:*

Юноша был тонок, строен, в элегантном университетском сюртуке с очень высоким, темно-синим воротником (тогдашняя мода), и причесан на пробор тщательно. Но лицо его благообразием не отличалось: бесформенно-мягкий нос, толстоватые бледные губы и немного косящий взгляд (белые точеные руки я заметил не сразу) [9; 328].

Алексей Николаевич Толстой *(1883–1945), писатель, поэт, драматург, секундант М. А. Волошина в дуэли с Н. С. Гумилевым:*

Мы сидели за столиком кафе, под каштанами, летом 1908 года (в Париже. – Сост.). <…> Он, как всегда, сидел прямо – длинный, деревянный, с большим носом, с надвинутым на глаза котелком. Длинные пальцы его рук лежали на набалдашнике трости. В нем было что-то павлинье: напыщенность, важность, неповоротливость. Только рот у него был совсем мальчишеский, с нежной и ласковой улыбкой [9; 321].

Ольга Людвиговна Делла-Вос-Кардовская *(1877–1952), живописец, портретист, профессор Академии художеств. Жена художника Д. Н. Кардовского. В записи Л. В. Горнунга:*

Мысль написать портрет Николая Степановича пришла мне в голову еще весной 1908 года. Но только в ноябре я предложила ему позировать. Он охотно согласился. Его внешность была незаурядная – какая-то своеобразная острота в характере лица, оригинально построенный, немного вытянутый вверх череп, большие серые слегка косившие глаза, красиво очерченный рот. В тот период, когда я задумала написать его портрет, он носил небольшие, очень украшавшие его усы. Бритое лицо, по-моему, ему не шло. <…> Кисти рук у него были длинные, сухие. Пальцы очень выхоленные, как у женщины [10; 192].

Анна Андреевна Гумилева *(урожд. Фрейган; 1887–1956?), невестка Гумилева, жена старшего брата Гумилева – Дмитрия:*

Впервые я познакомилась с поэтом в 1909 году. <…> Вышел ко мне молодой человек 22-х лет, высокий, худощавый, очень гибкий, приветливый, с крупными чертами лица, с большими светло-синими, немного косившими глазами, с продолговатым овалом лица, с красивыми шатеновыми гладко причесанными волосами, с чуть-чуть иронической улыбкой, необыкновенно тонкими красивыми белыми руками. Походка у него была мягкая и корпус он держал чуть согнувши вперед. Одет он был элегантно [9; 413].

Георгий Владимирович Иванов *(1894–1958), поэт, прозаик, мемуарист; участник второго «Цеха поэтов», товарищ Гумилева, муж Ирины Одоевцевой:*

Гумилев шел не сгибаясь, важно и медленно – чем-то напоминая автомат. Стриженная под машинку голова, большой, точно вырезанный из картона нос, как сталь холодные, немного косые глаза… Одет он был тоже странно: черный долгополый сюртук, как-то особенно скроенный, и ярко-оранжевый галстук. <…>

Внешность Гумилева показалась мне тогда необычайной до уродства. Он действительно был некрасив и экстравагантной (потом он ее бросил) манерой одеваться – некрасивость свою еще подчеркивал. Но руки у него были прекрасные и улыбка, редкая по очарованию, скрашивала, едва он улыбался, все недостатки его внешности [9; 463].

Надежда Савельевна Войтинская *(в замужестве Левидова; 1886–1965), писательница, художница, выполнила для журнала «Аполлон» серию графических портретов современных деятелей культуры, в том числе портрет Н. С. Гумилева:*

Очень сильная мимика рта, глаза полузакрыты, сильно

пальцами двигал, у него были длинные выразительные руки [16; 102].

В. А. Карамзин, *штаб-ротмистр, сослуживец Н. С. Гумилева:*

(1916). Командир полка был занят, и мне пришлось ждать, пока он освободится. Я присел на балконе и стал наблюдать за прохаживавшимся по балкону Гумилевым. Должен сказать, что уродлив он был очень. Лицо как бы отекшее, с сливообразным носом и довольно резкими морщинами под глазами. Фигура тоже очень невыигрышная: свислые плечи, очень низкая талия, малый рост и особенно короткие ноги. При этом вся фигура его выражала чувство собственного достоинства. Он ходил маленькими, но редкими шагами, плавно, как верблюд, покачивая на ходу головой… [11; 538–539]

Всеволод Александрович Рождественский:

Пока он читал, я невольно приглядывался к его внешности. Он был на этот раз (осенью 1916 г. – Сост.) в штатском, в легком просторном костюме – помнится, в сером, с синим галстуком. Лицо удлиненное, глаза несколько зеленоватого оттенка – и в них нет-нет вспыхивает что-то чуть-чуть насмешливое, ироническое. Острижен наголо. С первого взгляда кажется немного долговязым, нескладным, но вместе с тем все его движения свидетельствуют о ловкости и силе. Очень выразительные, длинные крепкие пальцы. Рот вычерчен четко; в нем настойчивость, воля. Голова вообще несколько черепоподобная. И есть что-то несовременное в ее очертаниях, напоминающих скульптурные портреты средневековья. Вообще Гумилев некрасив. Впоследствии я как-то слышал от него такое ироническое замечание: «Вероятно, я похож на верблюда – царя пустыни». И в этом несомненно была крупица правды [20; 413].

Ирина Владимировна Одоевцева *(наст. имя и фам. Ираида (Рада) Густавовна Гейнике; 1895, по другим сведениям 1901–1990), поэтесса, мемуаристка. Ученица Н. С. Гумилева в Литературной студии Дома искусств в Петрограде, жена Г. В. Иванова:*

Трудно представить себе более некрасивого, более особенного человека. Все в нем особенное и особенно некрасивое. Продолговатая, словно вытянутая вверх голова, с непомерно высоким плоским лбом. Волосы, стриженные под машинку, неопределенного цвета. Жидкие, будто молью траченные брови. Под тяжелыми веками совершенно плоские глаза.

Пепельно-серый цвет лица. Узкие бледные губы. Улыбается он тоже совсем особенно. В улыбке его что-то жалкое и в то же

время лукавое. Что-то азиатское. От «идола металлического», с которым он сравнивал себя в стихах:

Я злюсь как идол металлический
Среди фарфоровых игрушек. <…>

Он продолжает торжественно и многословно говорить. Я продолжаю, не отрываясь, смотреть на него.

И мне понемногу начинает казаться, что его косые плоские глаза светятся особенным таинственным светом.

Я понимаю, что это о нем, конечно, о нем Ахматова писала:

И загадочных, темных ликов
На меня поглядели очи…

<…> И вот уже я вижу совсем другого Гумилева. Пусть некрасивого, но очаровательного. У него действительно иконописное лицо – плоское, как на старинных иконах, и такой же двоящийся загадочный взгляд [23; 17–18].

Леонид Ильич Борисов *(1897–1972), прозаик, мемуарист:*

Николай Степанович Гумилев не только мне одному, но и всем, кто видел его однажды, казался человеком пожилым, значительно старше своих лет: прямой, впалощекий, высоколобый, всегда крепко сжимавший губы и неулыбчиво смотрящий на собеседника своего, – мне он показался учителем латыни или греческого и, несомненно, не моложе сорока трех – сорока пяти лет.

В девятнадцатом году ему было только тридцать три года [12; 166].

Вера Иосифовна Лурье *(1901–199?), поэтесса, ученица Н. С. Гумилева в Литературной студии Дома искусств в Петрограде:*

Высокий, худой, прямой, точно из дерева, в черном потертом пиджаке с заплатой на спине, всегда в белых носках, спускающихся часто на сапоги – грибочками; или в дохе темно-коричневой, привезенной из Африки, с такой же меховой шапкой, в которой я его очень любила, т<ак> к<ак> она укорачивала его длинный череп и оттеняла его тонкое, бледное лицо.

Стриженая, конусообразная голова, раскосые серые глаза, щурятся они точно с усмешкой, глядят на всех свысока, в мелких зубах непременно дымится папироса, в тонких белых руках

с длинными пальцами – маленький томик! [17; 7]

Дориана Филипповна Слепян *(1902–1972), актриса, драматург:*

И вообще своеобразие его облика скорее удивляло, чем привлекало: очень высокий, движения как на шарнирах, дынеобразная голова с небольшими глазами, какого-то неопределенного цвета и выражения… но руки… У него были необыкновенно красивые, выразительные руки [12; 195].

Лев Владимирович Горнунг *(1902–1993), поэт, переводчик, исследователь жизни Н. С. Гумилева:*

В начале 1921 года <…> Гумилев уже окончательно расстался со своей военной формой, которую еще носил после войны, и одевался в простой костюм, косоворотку и кепку, заломленную назад [10; 184].

Эрих Федорович Голлербах *(1895–1942), поэт, философ, искусствовед, художник, библиофил, мемуарист:*

Голова у него была оригинальной формы, с высоким, куполообразным лбом и плоским затылком, – длинная, яйцевидная голова, вся вытянутая вверх, на длинной тонкой шее. Волосы он стриг коротко, по-военному. Лицо у него было не русского типа, что-то германское или английское сквозило в этом белесоватом лице, с большим красноватым носом, розовыми веками и бескровными губами, приоткрывавшими в невеселой улыбке крупные, желтоватые, немножко неправильные зубы. Пожалуй, его можно было принять за прусского лейтенанта, переодетого в штатское. Одевался он опрятно, но без подчеркнутой элегантности, носил почти всегда один и тот же черный, уже слегка потертый пиджачный костюм с черным галстуком. Зимой он имел несколько экзотический вид, т<ак> к<ак> носил вывезенную с севера оленью доху, подол которой был разукрашен орнаментом. <…>

Чтобы закончить возможно более точный «портрет» Н. С., нужно еще вспомнить о его руках: они были красивой формы, с узкой кистью и длинными сухими пальцами – руки, которые принято называть «аристократическими» и которые можно увидеть на старинных портретах.

В размеренной, крупной походке Гумилева, во всех его движениях была какая-то истовость, неторопливость. Идя по улице, он останавливался у церквей (если шел один) и неспешно осенял себя крестным знамением. Столь же методически обедал он в Доме Литераторов, вынимал из кармана

пакетик с маслом и клал кусочек масла в скудный «литераторский» суп, чтобы придать ему хоть какую-нибудь питательность, столь же неторопливо курил, держа папиросу в вытянутых пальцах [30; Ф. 453. Оп. 1. Д. 22. Л. 6–8].

Георгий Петрович Блок *(1888–1962), двоюродный брат А. А. Блока. Из письма Б. А. Садовскому. Петербург, 12 июля 1921 г.:*

Физиономия отвратная, какая-то непристойно-голая, глаз косой и глупый, рот – щель помойная и череп, череп! А говорят – женщины его любят [28; 5].

Творчество

Анна Андреевна Ахматова *(урожд. Горенко; 1889–1966), поэт, участница «Цеха поэтов», первая жена Гумилева, мать его сына Льва:*

Н. С. говорил, что согласился бы скорее просить милостыню в стране, где нищим не подают, чем перестать писать стихи [4; 128].

Сергей Константинович Маковский:

Стихи были всей его жизнью. Никогда не встречал я поэта до такой степени «стихомана». «Впечатления бытия» он ощущал постольку, поскольку они воплощались в метрические строки. Над этими строками (заботясь о новизне рифмы и неожиданной яркости эпитета) он привык работать упорно с отроческих лет. В связи отчасти с этим стихотворным фанатизмом была известная ограниченность его мышления, прямолинейная подчас наивность суждений. Чеканные, красочно-звучные слова были для него духовным мерилом [9; 330].

Николай Степанович Гумилев. *Из письма В. Я. Брюсову. Париж, 12 (25) марта 1907 г.:*

Я не сравниваю моих вещей с чужими (может быть, во вред мне), я просто мечтаю и хочу уметь писать стихи, каждая строчка которых заставляет бледнеть щеки и гореть глаза [6, 53].

Владислав Фелицианович Ходасевич *(1886–1939), поэт, переводчик, критик, мемуарист, сотрудник журнала «Весы»:*

Он обладал отличным литературным вкусом, несколько поверхностным, но в известном смысле непогрешимым. К стихам подходил формально, но в этой области был и зорок, и тонок. В механику стиха он проникал, как мало кто. Думаю, что он это делал глубже и зорче, нежели даже Брюсов. Поэзию он обожал, в суждениях старался быть беспристрастным [9; 539].

Николай Корнеевич Чуковский *(1904–1965), писатель, мемуарист:*

У Николая Степановича была прекрасная черта, – он постоянно внушал всем окружающим, что поэзия – самое главное и самое почетное из всех человеческих дел, а звание поэта выше всех остальных человеческих званий. Слово «поэт» он произносил по-французски «poete», а не «паэт», как произносили мы, обыкновенные русские люди. В этом отношении дальше его

пошел один только Мандельштам, который произносил уже просто: пуэт. Неоднократно слышал я от Гумилева утверждение, что поэт выше всех остальных людей, а акмеист выше всех прочих поэтов [29; 30].

Надежда Савельевна Войтинская:

Он говорил, что его всегда должна вдохновлять какая-либо вещь, известным образом обставленная комната и т. п. В этом смысле он был фетишистом. В Царском Селе, под фирулой строгого отца и брата офицера, он вдохновляться не мог. Ему не хватало экзотики. Он создал эту экзотику в Петербурге, сделав себе маленькое ателье на Гороховой улице. Он утверждал, что позировать нужно и для того, чтобы писать стихотворение, и просил меня позировать ему. Я удивлялась: «Как?» Он: «Вы увидите „entourage“». Я пришла в ателье, там была черепаха, разные экзотические шкуры зверей… Он мне придумал какое-то странное одеянье, и я ему позировала, а он писал стихотворение «Сегодня ты придешь ко мне…» [16; 100–101].

Анна Андреевна Гумилева:

Памятно мне любимое большое мягкое кресло поэта, доставшееся ему от покойного отца. Сидя в нем, он писал свои стихи. Творить Коля любил по ночам, и часто мы с мужем – комната была рядом с его кабинетом (в доме Гумилевых в Царском Селе. – Сост.) – слышали равномерные шаги за дверью и чтение вполголоса. Мы переглядывались, и муж говорил: «Опять наш Коля улетел в свой волшебный мир» [9; 421].

Николай Степанович Гумилев. *Из статьи «Жизнь стиха». 1910 г.:*

Происхождение отдельных стихотворений таинственно схоже с происхождением живых организмов. Душа поэта получает толчок из внешнего мира, иногда в незабываемо яркий миг, иногда смутно, как зачатье во сне, и долго приходится вынашивать зародыш будущего творения, прислушиваясь к робким движениям еще не окрепшей новой жизни. Все действует на ход ее развития – и косой луч луны, и внезапно услышанная мелодия, и прочитанная книга, и запах цветка. Все определяет ее будущую судьбу. Древние уважали молчавшего поэта, как уважают женщину, готовящуюся стать матерью.

Наконец, в муках, схожих с муками деторождения (об этом говорит Тургенев), появляется стихотворение. Благо ему, если в момент его появления поэт не был увлечен какими-нибудь посторонними искусству соображениями, если, кроткий

как голубь, он стремился передать уже выношенное, готовое и, мудрый как змей, старался заключить все это в наиболее совершенную форму.

Такое стихотворение может жить века, переходя от временного забвения к новой славе, и даже умерев, подобно царю Соломону, долго еще будет внушать священный трепет людям. Такова Илиада…

Но есть стихотворения невыношенные, в которых вокруг первоначального впечатления не успели наслоиться другие, есть и такие, в которых, наоборот, подробности затемняют основную тему, они – калеки в мире образов, и совершенство отдельных их частей не радует, а скорее печалит, как прекрасные глаза горбунов. Мы многим обязаны горбунам, они рассказывают нам удивительные вещи, но иногда с такой тоской мечтаешь о стройных юношах Спарты, что не жалеешь их слабых братьев и сестер, осужденных суровым законом. Этого хочет Аполлон, немного страшный, жестокий, но безумно красивый бог.

Что же надо, чтобы стихотворение жило, и не в банке со спиртом, как любопытный уродец, не полужизнью больного в креслах, но жизнью полной и могучей, чтобы оно возбуждало любовь и ненависть, заставляло мир считаться с фактом своего существования? Каким требованиям должно оно удовлетворять?

Я ответил бы коротко: *всем.* <…>

Стихотворение должно являться слепком прекрасного человеческого тела, этой высшей ступени представляемого совершенства: недаром же люди даже Господа Бога создали по своему образу и подобию [11; 160–163].

Владимир Казимирович Шилейко *(1891–1930), поэт, филолог-востоковед, второй муж А. А. Ахматовой. В записи П. Н. Лукницкого:*

Он же говорил, что в стихи нельзя играть, если в стихе сомнение – обязательно плохие стихи будут. И в том же 1912 году он говорил, что стихотворение не может быть написано с «нет». Отрицание не есть поэтическая форма, только утверждение… [16; 138–139]

Николай Максимович Минский *(наст. фам. Виленкин; 1856–1937), поэт, драматург, философ, публицист, переводчик:*

Основной чертой творчества Гумилева всегда была правдивость. В 1914 году, когда я с ним познакомился в Петербурге, он, объясняя мне мотивы акмеизма, между прочим сказал: «Я боюсь всякой мистики, боюсь устремлений к иным мирам, потому что не хочу выдавать читателю векселя,

по которым расплачиваться буду не я, а какая-то неведомая сила». В этих словах разгадка всего творчества Гумилева. Он выдавал только векселя, по которым сам мог расплатиться. Он подносил читателю только конкретное, подлинное, лично пережитое. Отсюда жизненность его вдохновений, отсутствие в них всякой книжности. Отсюда же активное отношение его к жизни [21; 169].

Николай Степанович Гумилев. *Из письма В. Я. Брюсову. Царское Село, 9 (22) июля 1910 г.:*

Начиная с «Пути конквистадоров» и кончая последними стихами, еще не напечатанными, я стараюсь расширять мир моих образов и в то же время конкретизировать его, делая его таким образом все более и более похожим на действительность. Но я совершаю этот путь медленно, боясь расплескать тот запас гармоний и эстетической уверенности, который так доступен, когда имеешь дело с мирами воображаемыми, и которому так мало (по-видимому) места в действительности. Я верю, больше того, чувствую, что аэроплан прекрасен, русско-японская война трагична, город величественно страшен, но для меня это слишком связано с газетами, а мои руки еще слишком слабы, чтобы оторвать все это от обыденности для искусства. Тут я был бы только подражателем, неудачным вдобавок; а хочется верить, что здесь я могу сделать что-нибудь свое [6; 169].

Николай Степанович Гумилев. *В записи по памяти И. В. Одоевцевой:*

Ничего так не помогает писать стихи, как воспоминания детства. Когда я нахожусь в особенно творческом состоянии, как теперь, я живу будто двойной жизнью: наполовину здесь, в сегодняшнем дне, наполовину там, в прошлом, в детстве. В особенности ночью.

Во сне – не странно ли – я постоянно вижу себя ребенком. И утром, в те короткие таинственные минуты между сном и пробуждением, когда сознание плавает в каком-то сиянии, я чувствую, что сейчас, сейчас в моих ушах зазвучат строчки новых стихов. Но, конечно, иногда это предчувствие обманывает. И сколько ни бьешься, ничего не выходит.

И все же это ощущение, если его только уметь сохранить, помогает потом весь день. Легче работать и веселее дышать [23; 58].

Виктор Яковлевич Ирецкий *(наст. фам. Гликман; 1882–1936), писатель, журналист, публицист. Один из основателей Дома литераторов в Петрограде в 1918 г.:*

Говоря о том, что должен знать поэт, он на первом месте ставит историю.

– Поэт должен знать и любить историю. Герои истории – это те образы, которые всегда должны пламенеть в душе каждого поэта. Когда я произношу два имени Ромула и Рема – передо мной встает вся культура Древнего Рима. Для меня это нечто вроде камертона, наводящего на определенную настроенность. <…>

Поэт должен быть знаком, как я уже сказал, с историей, а затем с географией, с мифологией, с астрологией, с алхимией, с наукой о драгоценных камнях. Это – незаменимые источники образов, в совокупности своей являющиеся частью общей науки об эйдологии – науки об образах [13; 207–208].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Он считал, что поэту необходим огромный запас знаний во всех областях – истории, философии, богословии, географии, математике, архитектуре и так далее.

Считал он также, что поэт должен тщательно и упорно развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Что надо учиться видеть звуки и слышать цвета, обладать слышащими глазами и зрячими ушами, чтобы воспринимать жизнь во всей ее полноте и богатстве.

– Большинство людей, – говорил он, – полуслепые и, как лошади, носят наглазники. Видят и различают только знакомое, привычное, что бросается в глаза, и говорят об этом привычными штампованными готовыми фразами. Три четверти красоты и богатства мира для них пропадает даром [23; 74].

Николай Степанович Гумилев. *В записи по памяти И. В. Одоевцевой:*

У поэта должно быть плюшкинское хозяйство. И веревочка пригодится. Все, что вы слышали или читали, тащите к себе, в стихи. Ничего не должно пропадать даром. Все для стихов [23; 80].

Всеволод Александрович Рождественский:

Поэзия, конечно, являлась основной его темой, и, как мне кажется, он приписывал ей поистине всеобъемлющие свойства. Мечтал написать философский трактат «Поэзия как наука» – в противовес бальмонтовской книге «Поэзия как волшебство», называя ее «бредом шамана». Был совершенно убежден в том, что поэтическое творчество подвластно научному анализу, и считал, что любое стихотворение «химически разложимо на составные элементы» (что впоследствии и пытался доказать в ряде своих

теоретических статей) [20; 415].

Андрей Яковлевич Левинсон *(1887–1933), театральный, художественный, литературный критик, журналист и переводчик, сотрудник журнала «Аполлон»:*

Мы знаем поэтов-мистиков, озаряемых молниями интуиции, послушных голосам в ночи. Таков был Блок. И как представить Блока преподавателем? Гумилев был по природе церковником, ортодоксом поэзии, как был он и христианином православным. Не мистический опыт, а откровение поэзии в высоких образцах руководило им. Он естественно влекся к закону, симметрии чисел, мере; помнится, он принялся было составлять таблицы образов, энциклопедию метафор, где мифы всех племен соседствовали с исторической легендой; так вот, сакраментальным числом, ключом было число 12–12 апостолов, 12 паладинов и т. д. [9; 555].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Я не раз видела, как Гумилев, наморщив лоб и скосив глаза, то писал, то зачеркивал какое-нибудь слово и, вслух подбирая рифмы, сочинял стихи. Будто решал арифметическую задачу. Ничего таинственного, похожего на чудо, в этом не было [23; 140].

Ида Моисеевна Наппельбаум *(1900–1992), поэтесса, мемуаристка, ученица Гумилева в Литературной студии Дома искусств в Петрограде, участница кружка «Звучащая раковина»:*

Он говорил: «Часто бывает – начинаешь стихотворение какой-то строфой, отталкиваешься от нее, как от трамплина. Дальше пишешь стихи. Кончил. И вдруг, оказывается, та, первая, что к тебе пришла, строфа здесь не нужна. И отсекаешь ее. Очень часто первая строфа погибает. А бывает иначе: та первая становится последней, той, ради которой и написано стихотворение» [19; 25].

Лев Владимирович Горнунг. *Со слов В. А. Павлова:*

Говорил, что инженеры существуют для того, чтобы могли существовать поэты [10; 185].

Надежда Савельевна Войтинская:

Он был изувер, ничем не относящимся к поэзии не интересовался, все – только для поэзии [16; 101].

Особенности речи и декламации

Ольга Людвиговна Делла-Вос-Кардовская. *В записи Л. В. Горнунга:*

Стихи он читал медленно, членораздельно, но без всякого пафоса и слегка певуче [10, 193].

Всеволод Александрович Рождественский:

Говорил он, слегка растягивая слова, несколько пришепетывая, дикцию его нельзя было назвать ясной, но поражали собранность и целеустремленность его стихотворной речи. В ней почти отсутствовала столь привычная тогда для поэтов напевность [20; 413].

Арсений Альвинг *(наст. имя и фам. Арсений Алексеевич Смирнов; 1885–1942), поэт, прозаик, переводчик. В записи Л. В. Горнунга:*

Любил стих<отворении>е жены из «Вечера» с эпигр<афом> – мне всегда откр. <нерзб.> (уголок загнут) и читал его. Но читал он очень плохо. Многие слова проглатывал, немного картавил, впечатление получалось, как будто у него во рту был камешек. Ахматова в шутку даже говорила Арсению, что предлагала мужу класть настоящий камешек, на что он отвечал, картавя, «зачем мне камешек, раз у меня есть уже он». Кроме того, голос был то низкий, то высокий. Некрасив был очень [30; Ф. 397. Оп. 2. Д. 68. Л. 2–3].

Эрих Федорович Голлербах:

В Доме отдыха (в 1921 г. – Сост.) Гумилев выступал со стихами раза два. Несколько раз выступал он в те годы и в Доме Литераторов, где устраивались «живые альманахи». Нельзя сказать, чтобы он был хорошим чтецом. Дикция у него была своеобразная, злые языки говорили, что он не выговаривает десяти букв из алфавита. Он как-то особенно произносил букву л, а буква р иногда тоже как бы соскальзывала у него в нечто похожее на л. Особенно отчетливо звучали в его чтении звуки о и а. Читал он громко, неторопливо и важно, глядя не на публику, а куда-то вдаль неподвижным взглядом холодных, раскосых, редко моргающих глаз. Держался он на эстраде как всегда, очень прямо и тут как-то особенно бросались в глаза его военная выправка и очень прямой постав головы [30; Ф. 453. Оп. 1. Д. 22. Л. 5–6].

Леонид Ильич Борисов:

[Гумилев] читал высокоподнятым голосом, отчеканивая каждое слово, иногда жестикуляцией помогая ритму своих великолепных стихов [12; 167].

Георгий Петрович Блок:

А как он читает стихи – ужас один!

«Я бросаю в Каспии-и-и-и-йское море…» – с какой-то заведомо-фальшивой музыкой [28; 5].

Сергей Игнатьевич Бернштейн *(1892–1970), лингвист, специалист по фонетике, в 1920-е годы организовал запись голосов современных поэтов. В записи студента кафедры изучения живой речи Института истории искусств (КИЖР ИИИ) В. Горского. 25 мая 1923 г.:*

В декламации (Гумилева, стихотворение «Канцона. 1». – Сост.) улавливаются мелодические линии (напевность чтения): Носятся жалобы влюбленных – «а» и «е» подверглись растяжению, причем оба они одинаково ударные динамически; стало быть имеем не одну, как в проз[аической] речи, а 2 акцентных вершины <…>. В отношении распределения ударений – чтение Гумилева обладает большим числом их, чем прозаическая речь; в чтении видна тенденция ударять каждое слово, – я объясняю это обстоятельство присутствием в творчестве поэта строгого выбора слов, т<ак> что всякое (данное) слово имеет свое назначение точно, и поскольку это так – оно подчеркиваемо в чтении. Общий акцентный вес каждого слова увеличивается еще и мелодической вибрацией голоса на произнесении гласных звуков. <…>

Сама мелодическая линия Гумилева похожа на мелодическую линию А. Белого <…>, но число слов не всегда соответствует числу ударений (на 20 стихов – 3 отклонения). Членит Гумилев стихотворную декламацию по *границе* стиха – последние *отчетливо* слышутся, т<ак> что engembement[3] не является фонетической связкой между предыдущими и последующими стихом в его декламации, хотя engembement оттенен в стихе. <…> Кстати, вспомним и тенденцию Гумилева делать ударным каждое слово стиха. Вообще такая тенденция должна бы повести к нарушению мелодического сцепления слов, но – в чтении Гумилева – мы такого факта не встречаем, т<ак> к<ак> почти совершенное отсутствие пауз – при наличии восходяще-нисходящей мелодической линии – сохраняет единство стиха. Ударенные гласные при растяжении несут в себе также восходяще-нисходящую мелодическую линию. <…>

Вибрирование голоса в произнесении – своего рода

художественный прием – он содействует сообщению всем гласным <…> одинаковой ударности. Итак, стих Гумилева (в исполнении автора) – непрерывный отрезок речи с уравненными гласными; в результате имеем: слово выделено, но единство стиха не нарушено. Данный эффект достигается преимущественно паузальными мелодическими средствами [30; Ф. 343. Оп. 3. Д. 17. Л. 1–2].

Характер

Ирина Владимировна Одоевцева:

Он весь насквозь штатский, кабинетный, книжный. Я не понимаю, как он умудрился наперекор своей природе стать охотником и воином [23; 60].

Лев Владимирович Горнунг:

По словам Ольги Людвиговны (Делла-Вос-Кардовской. – Сост.), в его характере она находила проявления очень сильной воли, большой настойчивости, ясности в суждениях и какой-то своеобразной интуиции. Наряду с некоторой сухостью, расчетливостью и, вероятно, эгоизмом он обнаруживал удивительную сердечность, участливость и доброту.

Она вспомнила такой случай. Однажды жившая у них девушка-прислуга, неосторожно обращаясь со спиртовкой, обожгла лицо. Ольга Людвиговна была в это время дома одна и, растерявшись, не знала, как оказать ей помощь. В этот момент раздался звонок, и когда открылась дверь, перед ней стояла высокая фигура в цилиндре – Гумилев. Узнав, в чем дело, он без всякой с ее стороны просьбы моментально бросился за врачом и быстро его привез. Потом он побежал за лекарством. Это был не холодный Гумилев в цилиндре, а добрый и участливый человек [10; 194].

Сергей Константинович Маковский:

При этом – неистовое самолюбие! [9; 330]

Ирина Владимировна Одоевцева:

Сколько раз мне приходилось видеть, как он самодовольно любуется своим отражением в зеркале, и я все же всегда изумляюсь этому.

Должно быть, его глаза видят не совсем то, что мои. Как бы мне хотелось хоть на мгновенье увидеть мир его глазами [23; 105].

Лев Владимирович Горнунг. *Со слов В. А. Павлова:*

Гумилев был очень высокого мнения о себе, был тщеславным, иногда надменным, любил шутить над другими [10; 185].

Василий Иванович Немирович-Данченко *(1845–1936), писатель, поэт, журналист:*

Он не только как поэт сам увлекался часто даже странными

идеями, нет. Он умел зажигать и окружающих, случалось, совсем не свойственным им энтузиазмом. Аудитории, в которых он неутомимо выступал как лектор, проникались его восторженностью и героизмом. Если бы существовала школа исследователей и авантюристов (в благородном значении этого опошленного теперь слова), я не мог бы указать для нее лучшего руководителя [9; 574].

Эрих Федорович Голлербах:

Неудачи и насмешки не могли смутить Н. С. – в нем самом было много иронии и к себе, и к другим, и еще больше жадного интереса к жизни [21; 16].

Надежда Савельевна Войтинская:

Он мужественно переносил насмешки. Он приехал зимой в Териоки. Я смеялась, что он считал недостатком носить калоши. У него было странного покроя, в талию, «а-ля Пушкин», пальто. Цилиндр. У меня подруга гостила. Мы пошли на берег моря. Я бросила что-то на лед… «Вот, рыцарь, достаньте эту штуку». Лед подломился, и он попал в ледяную воду в хороших ботинках.

<…> Я не видела, чтобы он когда-нибудь рассердился. Я его дразнила, изводила. Он умел сохранить торжественный вид, когда над ним смеялись. Никогда не обижался. Он был недоступен насмешке. Приходилось переставать смеяться, так как он серьезно отвечал и спокойно [16; 102].

Павел Николаевич Лукницкий *(1900–1973), писатель, биограф Н. С. Гумилева. Из дневника 1925 г.:*

Я: «Николай Степанович помнил обиды?»

А<нна> А<хматова>: «Помнил…» [16; 229]

Анна Андреевна Гумилева:

Когда старшему брату было десять лет, а младшему восемь, старший брат вырос из своего пальто и мать решила передать его Коле. Брат хотел подразнить Колю: пошел к нему в комнату и, бросив пальто, небрежно сказал: «На, возьми, носи мои обноски!» Возмущенный Коля сильно обиделся на брата, отбросил пальто, и никакие уговоры матери не могли заставить Колю его носить. Даже самых пустяшных обид Коля долго не мог и не хотел забывать [9; 416].

Ольга Алексеевна Мочалова *(1898–1978), поэтесса, мемуаристка, адресат лирики Гумилева:*

Было в нем забиячество, задирчивость, самолюбивая

горделивость, вкус к ловкачеству – то малоинтересно. Может быть, преизбыток этих свойств относится к более раннему возрасту. <…>

Всегда – тренировка себя на границах последних крайностей, заглядыванье в лицо смерти, как бы для испытанья ее власти. Неразделимо смешанные – отчаянье и отчаянность [18; 104].

Эрих Федорович Голлербах:

Повторяю, он влекся к страшной красоте, к пленительной опасности. Героизм казался ему вершиной духовности. Он играл со смертью так же, как играл с любовью [21; 17].

Надежда Савельевна Войтинская:

В его репертуаре громадную роль играло самоубийство: «Вы можете потребовать, чтоб я покончил самоубийством» – была мелочь…

Он должен был не забыть сделать что-нибудь. Я сказала: «А если забудете?» – «Вы можете потребовать, чтобы я покончил с собой» [16; 102].

Вера Иосифовна Лурье:

Несколько раз в своей жизни покушался Ник<олай> Степ<анович> на самоубийство, часто из-за любви (он считал без этого и любовь ненастоящей), но всегда неудачно. Раз купил он себе целый фотографический прибор для получения цианистого калия, но последний оказался фальсификацией. Другой раз, находясь где-то в гостинице, пустил себе кровь, но руку нечаянно опустил в холодную воду; от потери крови он лишился сознания, но т<ак> к<ак> от холодной воды кровь остановилась, то к утру он пришел в себя; за ненадлежащее поведение его выгнали из гостиницы; тогда, послав на последние деньги телеграмму в Париж, он должен был в глухих кустарниках провести несколько суток, питаясь одними ягодами [17; 8].

Ольга Алексеевна Мочалова:

Грань его прекрасной мужественности – белокаменная скрытность. О многом он не говорил никогда никому, при всей щедрости его общительности с людьми, душевные тайники оставались непроницаемыми [18; 105].

Павел Николаевич Лукницкий. *Из дневника:*

Однажды Николай Степанович вместе с ней (Ахматовой. – Сост.) был в аптеке и получал для себя лекарство. Рецепт был написан на другое имя. На вопрос АА Николай Степанович

ответил: «Болеть – это такое безобразие, что даже фамилия не должна в нем участвовать, что он не хочет порочить фамилии, подписывая ее на рецептах» [16, 116–117].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Гумилев действительно стыдился не только своей доброты, но и своей слабости. От природы у него было слабое здоровье и довольно слабая воля. Но он в этом не сознавался никому, даже себе.

– Я никогда не устаю, – уверял он. – Никогда.

Но стоило ему вернуться домой, как он надевал войлочные туфли и садился в кресло, бледный, в полном изнеможении.

Этого не полагалось замечать, нельзя было задавать ему вопроса:

– Что с вами? Вам нехорошо?

Надо было просто «не замечать», взять книгу с полки или перед зеркалом «заняться бантом», как он говорил.

Длились такие припадки слабости всего несколько минут. Он вставал, отряхивался, как пудель, вылезший из воды, и как ни в чем не бывало продолжал разговор, оборвавшийся его полуобморочным молчанием.

– Сократ говорил: «Познай самого себя». А я говорю: «Победи самого себя». Это главное и самое трудное, – часто повторял он. – Я, как Уайльд, – побеждаю все, кроме соблазна [23, 79].

Ольга Алексеевна Мочалова:

К высокой мужественности относятся его твердые «да» и «нет», – увы, столь редкие в душах неопределенных и расплывчатых. Он любил говорить и писать: «Я знаю, я твердо знаю», – что свидетельствует о большой внутренней осознанности [18; 105].

Виктор Яковлевич Ирецкий:

Гумилев производил впечатление человека твердого, решительного, с крепким позвоночным хребтом, без малейших следов интеллигентской неврастении, без так называемой рефлексии. Сказано – сделано. Обещано – будет исполнено. Мне нередко приходилось иметь с ним деловые отношения по Дому Литераторов и меня, признаться, всегда привлекала его мужественная манера отчетливо говорить «да» или «нет», его аккуратность и верность слову. <…> Гумилев был человек внутренней дисциплины и честный в своих словах [13; 208].

Анна Андреевна Гумилева:

В то же время поэт был очень суеверен. Верно, Абиссиния заразила его этим. Он до смешного подчас был суеверен, что часто вызывало смех у родных. Помню, когда А. И. переехала в свой новый дом, к ней приехала «тетенька Евгения Ивановна». Тогда она была уже очень старенькая. Тетенька с радостью объявила, что может пробыть у нас несколько дней. В присутствии Коли я сказала А. И.: «Боюсь, чтобы не умерла у нас тетенька. Тяжело в новом доме переживать смерть». На это Коля мне ответил: «Вы, верно, не знаете русского народного поверья. Купив новый дом, умышленно приглашают очень стареньких, преимущественно больных старичков или старушек, чтобы они умерли в доме, а то кто-нибудь из хозяев умрет. Мы все молодые, хотим еще пожить. И это правда, я знаю много таких случаев и твердо в это верю».

5 июля 1914 года мы с мужем праздновали пятилетний юбилей нашей свадьбы. Были свои, но были и гости. Было нарядно, весело, беспечно. Стол был красиво накрыт, все утопало в цветах. Посредине стола стояла большая хрустальная ваза с фруктами, которую держал одной рукой бронзовый амур. Под конец обеда без всякой видимой причины ваза упала с подставки, разбилась, и фрукты рассыпались по столу. Все сразу замолкли. Невольно я посмотрела на Колю, я знала, что он самый суеверный; и я заметила, как он нахмурился. Через 14 дней объявили войну [9; 428–429].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Суеверие Гумилева было скорее «театром для себя». Он слишком часто подчеркивал его:

– Я сегодня три раза возвращался к себе перед тем, как выйти, – объяснял он мне, – первый раз споткнулся о порог кухни, второй раз кошка на дворе шмыгнула мне наперерез, а в третий я, спускаясь по лестнице, подумал, что, если я не вернусь сейчас же обратно, со мной случится неприятность. Большая неприятность. Вот оттого и опоздал. Уж вы извините.

Были у него всяческие удачные и неудачные места для встреч и расставаний. Плохо было встретиться около бывшего Бассейного рынка, над которым высоко в небе поднимался железный болт с развевающейся на его конце, громыхающей на ветру железной цепью.

– Как виселица, – говорил Гумилев. – Будто на ней все мои несбывшиеся надежды болтаются. И я сам с ними.

Зато встреча в Доме литераторов или по дороге в него неизменно считалась удачной. После нее полагалось ждать что-нибудь очень приятное… [23; 289]

Владислав Фелицианович Ходасевич:

Он был удивительно молод душой, а может быть, и умом. Он всегда мне казался ребенком. Было что-то ребяческое в его под машинку стриженной голове, в его выправке, скорее гимназической, чем военной. То же ребячество прорывалось в его увлечении Африкой, войной, наконец – в напускной важности, которая так меня удивила при первой встрече и которая вдруг сползала, куда-то улетучивалась, пока он не спохватывался и не натягивал ее на себя сызнова. Изображать взрослого ему нравилось, как всем детям [9; 539].

Михаил Федорович Ларионов *(1881–1964), живописец:*

Вообще он был непоседой. <…> Отличался удивительным умением ориентироваться [13; 103].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Он всегда был очень точен и ненавидел опаздывать.

– Пунктуальность – вежливость королей и, значит, поэтов, ведь поэты короли жизни, – объяснял он [23; 57].

На людях и в интимном кругу

Николай Авдеевич Оцуп *(1894–1958), поэт, член второго «Цеха поэтов»:*

Гумилев был человек простой и добрый. Он был замечательным товарищем. Лишь в тех случаях, когда дело касалось его взглядов на жизнь и на искусство, он отличался крайней нетерпеливостью [9; 476].

Сергей Абрамович Ауслендер *(1886–1943), поэт, критик:*

Его не любили многие за напыщенность, но если он принимал кого-нибудь, то делался очень дружественным и верным, что встречается, может быть, только у гимназистов. В нем появлялась огромная нежность и трогательность [3; 198].

Ольга Людвиговна Делла-Вос-Кардовская. *В записи Л. В. Горнунга:*

Нужно сказать, что в семье все обожали Николая Степановича. Как мы узнали позже, он также с большой любовью и нежностью относился к родным. Особенно близок он был со своей сводной по отцу сестрой, Александрой Степановной. Она писала интересные пьесы для детей, которые ставились в гимназии, где она преподавала. Николай Степанович неоднократно положительно отзывался о ее педагогической деятельности. Он любил также и ее сына, своего племянника Колю Сверчкова, с которым, как известно, он совершил одно из своих путешествий в Африку и которому посвятил позднее «Шатер» – сборник африканских стихов [10; 190].

Елена Борисовна Чернова *(урожд. Покровская; 1899–1988), двоюродная племянница Гумилева:*

Между Николаем Степановичем и Колей Маленьким были своеобразные отношения. Коля Маленький был при Николае Степановиче на положении адъютанта. Если старший идет кататься на лошадях, то то же самое младший, если старший идет играть в теннис, то же делает и младший. В общем, Коля Маленький был всегда ведомый. Единственная его инициатива – он купался в тех местах, куда некоторые боялись вступить. От Николая Степановича его отличало то, что он был вне литературы. Я никогда не видела, чтобы он что-нибудь читал или писал. Коля Маленький был своеобразным отражением Николая Степановича. Даже его поездка в Африку объясняется тем, что это в большей степени интересовало Гумилева [22; 248].

Анна Андреевна Гумилева:

В домашней обстановке Коля всегда был приветлив. За обедом всегда что-нибудь рассказывал и был оживленный [9; 422].

Ольга Людвиговна Делла-Вос-Кардовская. *В записи Л. В. Горнунга:*

Он любил визиты, придавал им большое значение и очень с ними считался [10; 190].

Арсений Альвинг. *В записи Л. В. Горнунга:*

Когда Арсений, знакомясь с Ахматовой, приехал к ним в дом в Царское и ждал ее выхода в зале (огромной), Гумилев, выйдя из одной (их было несколько) двери, проследовал через залу в другую и, как истый джентльмен, поклонился Альвингу на ходу, еще не будучи с ним знакомым. Он был в желтых сапогах со стэком (вероятно, верховой англ<ийский> костюм) [30; Ф. 397. Оп. 2. Д. 68. Л. 2].

Анна Андреевна Гумилева:

Коля очень любил традиции и придерживался их, особенно любил всей семьей идти к заутрене на Пасху. Если даже кто-либо из друзей приглашал к себе, он не шел; признавал в этот день только семью. Помню веселые праздничные приготовления. Все, как полагается, одеты в лучшие туалеты. Шли чинно, и Коля всегда между матерью и женой. Шли в царскосельскую дворцовую церковь, которая в этот высокоторжественный праздник была всегда открыта для публики [9; 428].

Вера Иосифовна Лурье:

С посторонними Гумилев держал себя холодно и сдержанно, а часто даже высокомерно, за это его многие не любили и было у него немало врагов.

Раз на вечере Цеха поэтов подошел к нему красноармеец с возмущением по поводу обращения Гумилева к публике «господа». Ник<олай> Степ<анович> в это время разговаривал с Лозинским и еще кем-то; он презрительно повернулся и начал объяснять, что человек высшее существо в природе и потому «господин». Красноармеец заявил, что теперь коммуна, и значит все равны, нет никаких господ, тогда, уже отвернувшись от него, Гумилев процедил: «такого декрета еще не было». В другой раз в «Доме поэтов» какой-то пролетарский писака нагрубил ему; Ник<олай> Степ<анович>, не показывая раздражения, сел

за столик, конечно, перекинув ногу на ногу и закурив папиросу, попросил привести милицию, а на все дерзости того отвечал: «я вообще с Вами не разговариваю» [17; 8].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Он был вспыльчив, но отходчив. Рассердившись из-за какого-нибудь пустяка, он принимал скоропалительное решение:

– Никогда не прощу. Никогда не помирюсь. Кончено! – Но на следующий же день встречался и разговаривал с тем, с кем навсегда все было «кончено», как ни в чем не бывало. <…>

Был он и довольно упрям, что тоже скорей свидетельствует о слабой воле. Сколько я ни встречала упрямых людей, все они были слабовольны.

Гумилев признавался:

– Я знаю, что неправ, но сознаться в этом другому мне трудно. Не могу. Как и просить прощения. Зато терпеть не могу, когда у меня просят прощения. Надо забывать. Раз забыто, так и прощено [23; 79].

Эрих Федорович Голлербах:

Я напечатал рецензию о сборнике «Дракон», в которой не очень почтительно обошелся с произведениями Гумилева. Иронический тон рецензии подействовал на Н. С. как личное оскорбление. Он высказал мне свое неудовольствие в довольно резких выражениях. Так как разговор наш произошел при свидетелях (в столовой Дома литераторов) и вскоре по Петербургу начали циркулировать «свободные композиции» на тему этого разговора, то я, по совету некоторых литературных друзей, обратился к суду чести при Петербургском Отделении Всероссийского Союза Писателей с просьбой рассмотреть происшедшее столкновение, которое представляло не только личный, но и принципиально-этический интерес. Помню, что Н. С. заявил мне, что рецензия «гнусная», что я задел в ней г-жу Ирину Одоевцеву (по совести, рецензия была написана без всякой задней мысли), что я «не джентльмен». «Уверяю вас, – сказал Н. С., – что отныне ваша литературная карьера окончена, потому что я буду вам всюду вредить и во всех издательствах, где вы работаете, буду настаивать на том, чтобы вас не печатали, – во всяком случае, вместе со мной». Вскоре Н. С. действительно обратился к ныне покойному А. Е. Кауфману, редактору «Вестника Литературы», с таким требованием, но не встретил сочувствия, и стихи его появились в № 4–5 «Вестника» вместе с моей статьей (памяти А. А. Измайлова).

Н. С. сначала отказался явиться на суд чести, но потом его

уговорили А. Л. Волынский и др. Этот суд чести, состоявший из А. Ф. Кони (председ.), В. П. Миролюбова, А. М. Ремизова и Вл. Каронина (Комарова), вынес резолюцию, как и полагается суду чести, двойственную и потому безобидную. Моя статья была признана действительно резкой и способной возбудить неудовольствие Гумилева, но было также признано, что она не давала Гумилеву основания употреблять при объяснении со мной обидные выражения. Кажется, Н. С. остался очень доволен приговором: при встрече со мной (мы после этого события «раззнакомились») он улыбался победоносно и насмешливо [21; 23].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Его холод, жестокость и бессердечие были напускными. Он ими защищался как щитом.

– Позволь себе только быть добрым и слабым, сразу все бросятся тебе на горло и загрызут. Как раненого волка грызут и сжирают братья-волки, так и братья-писатели. Нравы у волков и писателей одинаковые.

– Но вы ведь – я знаю – очень добры, Николай Степанович, – говорила я.

– Добр? – Гумилев пожимал плечами. – Возможно, если бы я распустил себя, то был бы добр. Но я себе этого не позволяю. Будешь добрым – растаешь, как масло на солнце, и поминай как звали поэта, воина и путешественника [23; 78].

Маски и роли

Сергей Константинович Маковский:

Позерство, желание удивить, играть роль – были его «второй натурой» [9; 331].

Георгий Владимирович Иванов:

Гумилев говорил, что поэт должен «выдумать себя». Он и выдумал себя, настолько всерьез, что его маска для большинства его знавших (о читателях нечего и говорить) стала его живым лицом [9; 462].

Георгий Викторович Адамович *(1892–1972), поэт, литературный критик, участник второго «Цеха поэтов»:*

Гумилев был в жизни приверженцем «театра для себя», причем преувеличивал людскую доверчивость или преувеличивал собственный свой авторитет и престиж, что и привело к тому, что его считали в Петербурге человеком неумным [1; 341].

Виктор Яковлевич Ирецкий:

1908-й год. В редакции появляется очень странный – для редакции русской газеты – человек. Он в цилиндре, в белых лайковых перчатках. Он весь напружиненный, накрахмаленный, надменный. Это бросается в глаза еще и потому, что он очень некрасив. Даже уродлив. С безжизненно спокойным лицом, растягивая слова, он произносит первую же фразу с дикцией и отчетливостью декламатора. Речь идет о том, что он принес библиографическую заметку о чьих-то стихах. Небольшую заметку в 60 строк. Но он произносит это так торжественно, так важно, точно принес с собой нечто самое нужное, самое ценное для газеты. А между тем молодая газета на 80 % серьезно политическая. Литературно-критический отдел только терпится, как вынужденная необходимость. Редактор, принимая тощую рукопись, наклоняет голову – вероятно для того, чтобы скрыть свою улыбку.

Этот новый сотрудник газеты – Николай Степанович Гумилев. Он появляется затем в редакции несколько раз, приносит не только критические статьи, но и рассказы. И даже стихи. Но торжественная манера разговаривать с редактором неизменно та же. Проходит много лет, совершается революция, наступает голод и террор, люди уныло пригибают спины, стараются быть незаметными, научаются говорить приниженным тоном, выдавливая на лицах своих виноватые улыбки, – но Гумилев тот

же. Сейчас на нем, правда, не цилиндр, но яркая доха из тюленьего меха с цветной каймой. Он такой же напружиненный, не сгибает спины и не только не принижает своего тона, но напротив – говорит высокомерно, особенно с пролетарскими поэтами – всякими Жижморами, Садофьевыми, Самобытниками. <…> Когда я однажды даю ему понять, что его тон восстанавливает против него пролетарских поэтов и делает их его врагами, он невозмутимо отвечает: только так и надо с ними разговаривать. Этим я поднимаю в их глазах поэзию. Пусть и они таким тоном говорят, если они действительно поэты [13; 206].

Ирина Владимировна Одоевцева:

– Я в молодости был ужасным эстетом и снобом, – рассказывает Гумилев, – я не только носил цилиндр, но завивал волосы и надевал на них сетку. И даже подкрашивал губы и глаза.

– Как? Не может быть. «Конквистадор в панцире железном», африканский охотник подкрашивался, мазался?

Должно быть, в моем голосе звучит негодование. Гумилев отвечает не без обиды.

– Да, представьте себе, мазался. Тогда это, с легкой руки Кузмина, вошло в моду, хотя это вас и возмущает. Почему одним женщинам позволено исправлять природу, а нам запрещено? При дворе Генриха III мужчины красились, душились и наряжались больше женщин, что не мешало им быть бесстрашными и храбрыми, как львы.

– Нет, все-таки противно, – говорю я. – И у вас, наверно, был презабавный вид.

Гумилев недовольно пожимает плечами.

– Другая эпоха, другие вкусы. Мы все были эстетами. Ведь не я один. Много поэтов тогда подкрашивалось. Теперь мне это и самому смешно. Но тогда очень нравилось – казалось необычайно смело и остро. Впрочем, я все это бросил давно, еще до женитьбы на Ахматовой [23; 54].

Анна Андреевна Гумилева:

Та леопардовая шуба, в которой Коля ходил по Петербургу зимой (всегда расстегнутая и гревшая фактически только спину), была из двух леопардов, один из которых был убит им самим, а другой туземцами. В ней он шествовал обыкновенно не по тротуару, а по мостовой, и всегда с папиросой в зубах. На мой вопрос, почему он не ходит по тротуару, он отвечал, что его распахнутая шуба «на мостовой никому не мешает» [9; 428].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Он вечно боролся с собой, но не мог побороть в себе «paresse-delicé de l'âme»[4] – по Ларошфуко, желания валяться на кровати, читая не Ронсара или Клеменса Брентано, а «Мир приключений», – и жаловался мне на себя, комически вздыхая.

«Мира приключений» он стыдился как чего-то неприличного и прятал его под подушку от посторонних глаз. Зато клал на подушку «на показ» для посетителей том «Критики чистого разума» или «Одиссею», хотя он их больше «ни при какой погоде не читал» [23; 79].

Корней Иванович Чуковский *(1882–1969), литературный критик, поэт, переводчик, мемуарист:*

Как-то он (в первые послереволюционные годы. – Сост.) позвал меня к себе. Добрел я до него благополучно, но у самых дверей упал: меня внезапно сморил голод. Очнулся я в великолепной постели, куда, как потом оказалось, приволок меня Николай Степанович, вышедший встретить меня у лестницы черного хода (парадные были везде заколочены).

Едва я пришел в себя, он с обычным своим импозантным и торжественным видом внес в спальню старинное, расписанное матовым золотом, лазурное блюдо, достойное красоваться в музее. На блюде был тончайший, почти сквозной, как папиросная бумага, – не ломтик, но скорее лепесток серо-бурого, глиноподобного хлеба, величайшая драгоценность той зимы.

Торжественность, с которой еда была подана, показалась мне в ту минуту совершенно естественной. Здесь не было ни позы, ни рисовки. Было ясно, что тяготение к пышности свойственно не только поэзии и что внешняя сторона бытовых отношений для него важнейший ритуал [16; 212].

Владислав Фелицианович Ходасевич:

На святках 1920 года в Институте Истории Искусств устроили бал. Помню: в огромных промерзших залах зубовского особняка на Исаакиевской площади – скудное освещение и морозный пар. В каминах чадят и тлеют сырые дрова. Весь литературный и художнический Петербург – налицо. Гремит музыка. Люди движутся в полумраке, теснятся к каминам. Боже мой, как одета эта толпа! Валенки, свитеры, потертые шубы, с которыми невозможно расстаться и в танцевальном зале. И вот, с подобающим опозданием, является Гумилев под руку с дамой, дрожащей от холода в черном платье с глубоким вырезом. Прямой и надменный, во фраке, Гумилев проходит по залам. Он

дрогнет от холода, но величественно и любезно раскланивается направо и налево. Беседует со знакомыми в светском тоне. Он играет в бал. Весь вид его говорит: «Ничего не произошло. Революция? Не слыхал» [9; 540].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Прямо перед нами толпа прохожих. На что они смотрят? Мы подходим ближе и видим яростно грызущихся собак, грызущихся не на жизнь, а на смерть. Они сцепились так, что кажутся большим, оглушительно рычащим, катающимся по мостовой клубком черно-рыжей взъерошенной шерсти. Прохожие кричат и суетятся вокруг них.

– Воды! Притащите воды. Надо их разлить. А то загрызут друг друга.

– Откуда достать воды?

– А жаль, красивые, здоровые псы! Ничего с ними не поделаешь.

Кто-то боязливо протягивает руку, стараясь схватить одну из собак за ошейник.

– Осторожно! Разъярились псы, осатанели, отхватят руку! Их бы из рогатки, тогда пожалуй!.. Или оглоблей.

– Если бы мы были в Англии, – говорит Гумилев, – тут уже начали бы пари держать. Кто за черного, кто за рыжего. Азартный народ англичане.

Гумилев выпрямляется и тем же шагом идет прямо на грызущихся собак.

– А я готов пари держать, что псиный бой кончится вничью.

– Николай Степанович! – Я не успеваю удержать его за полу дохи. – Ради Бога, не трогайте их!

Он властным жестом раздвигает прохожих, и они расступаются перед ним, – и вдруг он, не останавливаясь, а продолжая спокойно идти, со всех сил бьет ногой в кружащихся на снегу, сцепившихся мертвой хваткой собак.

Мгновенье – и собаки, расцепившись, отскакивают друг от друга и с воем стремглав, поджав хвосты, бросаются в разные стороны.

И вот их уже не видно.

А Гумилев так же спокойно, не удостаивая вниманием всеобщее одобрение прохожих, возвращается ко мне.

– Этому приему я научился еще у себя в имении. У нас там злющие псы овчарки. Надо только правильно удар рассчитать, – говорит он с напускным равнодушием, но я вижу, что он очень горд одержанной победой. Будто он разнял дерущихся львов, рискуя жизнью [23; 56–57].

Владислав Фелицианович Ходасевич:

Он любил играть в «мэтра», в литературное начальство своих «гумилят», то есть маленьких поэтов и поэтесс, его окружавших. Поэтическая детвора его очень любила. Иногда, после лекций о поэтике, он играл с нею в жмурки – в самом буквальном, а не в переносном смысле слова. Я раза два это видел. Гумилев был тогда похож на славного пятиклассника, который разыгрался с приготовишками. Было забавно видеть, как через полчаса после этого он, играя в большого, степенно беседовал с А. Ф. Кони – и Кони весьма уступал ему в важности обращения [9; 539–540].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Солнечный майский день. Я иду с Гумилевым по Дворцовой набережной, после его лекции в Доме искусств. Он вдруг останавливается и, перебивая самого себя на полуфразе, говорит:

– Поворачивайте обратно. Дальше вам меня провожать неудобно. Ведь там конспиративная встреча. О ней никто не должен знать. И вы забудьте. Идите себе домой с Богом. Через Летний сад. Кланяйтесь от меня статуям и деревьям. Дайте мне только на прощанье ветку сирени. <…>

Я протягиваю Гумилеву ветку сирени.

– До завтра, Николай Степанович.

– До завтра. Не забудьте, кланяйтесь от меня деревьям и статуям Летнего сада. – И, понижая голос, добавляет: – Никому не говорите, куда я иду.

По-моему, ему вообще не следовало сообщать мне о «конспиративной встрече», раз о ней никто не должен знать. Все это несерьезно, а только игра в заговоры, театр для себя. Но я и вида не подаю, что не верю ему. Я говорю:

– Будьте осторожны, Николай Степанович. Ведь всюду провокаторы и даже у стен уши.

– Не бойтесь за меня. Я в огне не горю и в воде не тону. – И он, самоуверенно улыбаясь, удаляется, размахивая веткой моей сирени [23; 217–218].

Озорник, выдумщик, задира

Павел Николаевич Лукницкий. *Из дневника:*

Однажды, в 1910 году, в Париже, она (Анна Ахматова. – Сост.) увидела бегущую за кем-то толпу и в ней – Николая Степановича. Когда она спросила его, зачем он бежал, он ответил ей: что ему было по пути и так – скорее, поэтому он и побежал вместе с толпой. И АА добавила: «Вы понимаете, что такой образ Николая Степановича, бегущего за толпой ради развлечения, немножко не согласуется с представлением о монокле, о цилиндре и о чопорности, – с тем образом, какой остался в памяти мало знавших его людей…» [16; 108]

Вера Алексеевна Неведомская, *соседка Гумилевых по имению Слепнево Тверской губернии:*

Он постоянно выдумывал какую-нибудь затею, игру, в которой мы все становились действующими лицами. И в конце концов мы стали видеться почти ежедневно.

Началось с игры в «цирк». В Слепневе с верховыми лошадьми дело обстояло плохо: выездных лошадей не было, и Николай Степанович должен был вести длинные дипломатические переговоры с приказчиком, чтобы получить под верх пару полурабочих лошадей. У нас же в Подобине, кроме наших с мужем двух верховых лошадей, всегда имелось еще несколько молодых лошадей, которые предоставлялись гостям. Лошади, правда, были еще мало объезженные, но никто этим не смущался. <…> Он садился на любую лошадь, становился на седло и проделывал самые головоломные упражнения. Высота барьера его никогда не останавливала, и он не раз падал вместе с лошадью.

В цирковую программу входили также танцы на канате, хождение колесом и т. д. Ахматова выступала как «женщина-змея»; гибкость у нее была удивительная – она легко закладывала ногу за шею, касалась затылком пяток, сохраняя при всем этом строгое лицо послушницы. Сам Гумилев, как директор цирка, выступал в прадедушкином фраке и цилиндре, извлеченных из сундука на чердаке. Помню, раз мы заехали кавалькадой человек в десять в соседний уезд, где нас не знали. Дело было в Петровки, в сенокос. Крестьяне обступили нас и стали расспрашивать – кто мы такие? Гумилев не задумываясь ответил, что мы бродячий цирк и едем на ярмарку в соседний уездный город давать представление. Крестьяне попросили нас показать наше искусство, и мы проделали перед ними всю нашу

«программу». Публика пришла в восторг и кто-то начал собирать медяки в нашу пользу. Тут мы смутились и поспешно исчезли.

В дальнейшем постоянным нашим занятием была своеобразная игра, изобретенная Гумилевым: каждый из нас изображал какой-то определенный образ или тип – «Великая Интриганка», «Дон Кихот», «Любопытный» (он имел право подслушивать, перехватывать письма и т. п.), «Сплетник», «Человек, говорящий всем правду в глаза» и т. д. При этом назначенная роль вовсе не соответствовала подлинному характеру данного лица – «актера», скорее наоборот, она прямо противоречила его природным свойствам. Каждый должен был проводить свою роль в повседневной жизни. Забавно было видеть, как каждый из нас постепенно входил в свою роль и перевоплощался. Наша жизнь как бы приобрела новое измерение. Иногда создавались очень острые положения; но сознание, что все это лишь шутка, игра, останавливало назревавшие конфликты [9; 440–441].

Анна Андреевна Гумилева:

Помню, как Коля первый раз показал мне свою пантеру. Когда мы приехали с мужем в Царское Село к нашим, дверь в гостиную была заперта, что бывало редко. В передней нас встретил Коля и просил пока в гостиную не входить. Мы поднялись наверх к А. И. (Гумилевой, матери поэта. – Сост.), ничего не подозревая; думали, что у Коли молодые поэты. Только когда совсем стемнело, Коля пришел наверх и сказал, что покажет нам что-то очень интересное. Он повел нас в гостиную и, как полагается, меня как даму пропустил вперед; открыл дверь, заранее потушив в гостиной и передней электричество. Было совсем темно, только яркая луна освещала стоящую черную пантеру. Меня поразил этот зверь с желтыми зрачками. В первый момент я подумала, что она живая. Коля был бы способен и живую пантеру привезти! И тут же, указывая на пантеру, Коля громко продекламировал: «…А ушедший в ночные пещеры или к заводи тихой реки – Повстречает свирепой пантеры – Наводящие ужас зрачки…» [9; 427]

Ирина Владимировна Одоевцева:

Гумилев любил играть во всевозможные, часто им самим тут же выдуманные, игры. Особенно в «театр для себя».

Осенью 1919 года, накануне второй годовщины Октябрьской революции – ее готовились пышно отпраздновать, – он с таинственным видом сказал мне:

– Завтра и мы с вами попразднуем и повеселимся.

Не спрашивайте как. Увидите. Наденьте только ваше рыжее, клетчатое пальто и рыжую замшевую шапочку.

Мое рыжее, клетчатое пальто – я им впоследствии поменяюсь в стихах со статуей в Летнем саду:

А она уходит, напевая,
В рыжем, клетчатом пальто моем –

мое клетчатое пальто, привезенное мне во время войны из Лондона. Оно не очень теплое, а в Петербурге в конце октября холодно, и я уже ходила в шубке. Но Гумилев настаивал:

– Наденьте непременно клетчатое пальто. Я зайду за вами в три часа, завтра.

– Он пришел ровно в три. <…>

Я открыла Гумилеву сама – и ахнула. Он стоял в дверях в длинном, почти до пят, макферлане-крылатке, с зонтиком под мышкой. На шее – шотландский шарф. На голове большая кепка, похожая на блин с козырьком. Полевой бинокль через плечо на ремне.

– Hallo! – приветствовал он меня, – Let's go![5] – И он со смехом объяснил мне, что мы с ним англичане. Он – приехавший на Октябрьские торжества делегат Labor Party[6], а я его секретарша.

Критически оглядев меня, он кивнул:

– Отлично. Настоящая english girl in her teens[7], и даже волосы у вас английские – «оберн». Ведь и я настоящий англичанин, а?

Не знаю, как я, но он на англичанина совсем не был похож. Разве что на опереточного, прошлого века. И где только он откопал свой допотопный макферлан и эту нелепую кепку? Но он сам был так доволен своим видом, что я согласилась, сдерживая смех:

– Стопроцентный английский делегат.

– Помните, мы не говорим по-русски. Не понимаем ни слова. И в Петербурге впервые.

Мы вышли на Невский и там ходили в толпе, обмениваясь впечатлениями, и громко спрашивали, указывая пальцем то на Гостиный двор, то на Аничков дворец, то на Казанский собор:

– What is that?[8] – После многократно повторенного ответа Гумилев снимал с головы свой блин и невозмутимо флегматически заявлял:

– I see. Thank you ever so much[9]: Коза-Сабо (Казанский собор).

И хотя мы и видом и поведением напоминали скорее

ряженых, чем англичан, до нас все время доносилось:

– Англичане! Смотри, английские делегаты!

Я, не в силах сдержаться, громко смеялась. Гумилев же сохранял англосаксонскую выдержку.

Мы проделали все, что полагалось: смотрели на процессии, аплодировали и даже подпевали. Оба мы были абсолютно безголосы и лишены слуха. Но нам, как гостям-англичанам, все было позволено. Стоявший рядом с нами красноармеец с явным удовольствием и даже умилением слушал, как Гумилев выводил глухим, уходящим в небо голосом тут же сымпровизированный им перевод «Интернационала». Я же, между двумя приступами смеха, душившего меня, только выкрикивала какое-то вау-лау, лау-вау-ююю!

Окончив к общему удовольствию пение, мы вместе с толпой двинулись дальше. Гумилев стал спрашивать «The way to Wassilo Ostow»[10], повторяя настойчиво «уосило осто». Но никто, несмотря на явное желание помочь иностранцу, не мог понять, чего он добивается. Гумилев благодарил, улыбался, азартно повторяя: Wonderful! O, yes! Your great Lenine! Karl Marx! O, yes! [11] – и пожимал тянувшиеся к нему со всех сторон руки.

Какой-то особенно любезный товарищ вдруг громко заявил:

– Должно, от своих отбились. Заплутались. Надо их на трибуны доставить. Где милиционер?

Гумилев горячо – Thank you. Thank you![12] – поблагодарил его и, подхватив меня под руку, бросился со мной назад, в обратную сторону, будто увидел в толпе англичанина.

Забежав за угол, мы остановились перевести дух. Тут было тихо и пусто.

– Ох, даже жарко стало. – Гумилев весь трясся от смеха. – Хороши бы мы были на трибуне! Представляете себе? Еще сняли бы нас! И завтра наши портреты появились бы в «Красной газете»! И никто, решительно никто нас бы не узнал. Ну, нечего время терять, идем!

И мы снова вышли на Невский и смешались с толпой. Так мы проходили до самого вечера, в полном восторге.

Когда в толпе начались пляски, мы, хотя и с большим трудом, в особенности я, удержались и не пустились в пляс. Гумилев, для большей убедительности подняв зонтик к звездному небу, заявил:

– An Englishman does not dance in the street. It is shocking![13] – А я, ослабев от смеха, в изнеможении прислонилась к стене:

– Довольно. Больше не могу. Ведите меня домой!.. [23; 62–64]

Леонид Ильич Борисов:

Всеволод Рождественский рассказывал мне много лет спустя: группа прозаиков и поэтов в белую ночь в двадцатом году возвращалась из Дома Искусств. На Аничковом мосту Гумилев подбежал к одной из бронзовых групп, ловко вскочил на коня и уселся верхом на него. Проходивший по мосту милиционер укоризненно покачал головой и, обращаясь к живому всаднику, назидательно проговорил:

– Образованный, как вижу, человек, а что делаете! Интеллигентный, как вижу, человек, а ведете себя, как не знаю что! Сию минуту сойдите на землю! Говорят вам, вы слышите? Чтобы немедленно были на земле, иначе приму свои меры!..

Гумилев минуты две-три куражился, болтал ногами, покрикивал на коня, чмокая губами; наконец, ему это надоело и он спустился на тротуар.

– Правильный поступок, гражданин, – похвально произнес милиционер и, откозыряв сперва Гумилеву, а затем всей честной компании, прошагал, куда ему следовало [12; 168].

Георгий Викторович Адамович:

Гумилев был полнейшим профаном в музыке: не любил, не понимал и не знал ее. Но настойчиво утверждал, что о музыке можно говорить все, что угодно: не понимает ее будто бы никто.

В редакции «Всемирной литературы» он как-то увидел ученейшего, авторитетнейшего «музыковеда» Б. и сказал приятелям:

– Сейчас я с ним заведу разговор о музыке, а вы слушайте! Только вот о чем? О Бетховене? Что Бетховен написал? Ах да. «Девятая симфония», знаю, – и подошел к Б.

– Как я рад вас видеть, дорогой (имя отчество). Именно вас! Знаете, я вчера ночью почему-то все думал о Бетховене. По-моему, у него в «Девятой симфонии» мистический покров превращается в нечто контрапунктически-трансцендентное лишь к финалу… Вы не согласны? В начале тематическая насыщенность несколько имманентна… как, например, в ноктюрнах Шопена…

На лице Б. выразилось легкое изумление, брови поднялись. Гумилев спохватился:

– Нет, конечно, не того Шопена… нет, Шопена проблематического… впрочем, я у него признаю лишь третий период его творчества! Но у Бетховена слияние элементов скорей физических с элементами панпсихическими в «Девятой симфонии» находит свое окончательное выражение в катарсисе, как у Эсхила… или нет, не у Эсхила, а скорей у Эврипида…

Длилась эта вдохновенная импровизация минут десять.

Под конец Б. взволнованно сказал:

– Николай Степанович, вы должны непременно написать это! Непременно! Все это так оригинально, так ново, и позволю себе сказать… нет, не скромничайте, не возражайте!.. все это так глубоко! Вы меня чрезвычайно заинтересовали, Николай Степанович.

Гумилев торжествовал.

– А что? Кто был прав? И ведь какую я околесицу нес! [1; 347–348]

Ирина Владимировна Одоевцева. *В записи А. Колоницкой:*

Гумилев был мальчишкой в свои тридцать шесть лет. Тщеславный, отчаянно храбрый мальчишка, который хотел быть всегда и везде первым [14; 87].

Дон Жуан

Николай Степанович Гумилев. *В записи О. А. Мочаловой:*
Каждая любовь первая… [22; 283]

Эрих Федорович Голлербах:

Он уже кончал гимназию, имел вполне «взрослое» обличье, носил усики, франтил <…>. Гумилев отличался от своих товарищей определенными литературными симпатиями, писал стихи, много читал. В остальном он поддерживал славные традиции лихих гимназистов – прежде всего усердно ухаживал за барышнями. Живо представляю себе Гумилева, стоящего у подъезда Мариинской женской гимназии, откуда гурьбой выбегают в половине третьего розовощекие хохотушки, и «напевающего» своим особенным голосом: «Пойдемте в парк, погуляем, поболтаем» [21; 15–16].

Дмитрий Иосифович Кленовский *(наст. фам. Крачковский; 1892–1976), поэт:*

Появилась у нас однажды в семье (в 1905–1906 гг. – Сост.) новая горничная, Зина, хорошенькая черноглазая девушка. О такой, примерно, как она, сказал в свое время Ходасевич:

Высоких слов она не знает,
Но грудь бела и высока.

Перед тем, как поступить к нам, Зина служила у Гумилевых. И вот однажды, вся зардевшись, показала мне она свое сокровище: тщательно завернутую в бумагу книжечку. Это был «Путь конквистадоров» Гумилева с авторской надписью поэта – первый сборник его еще слабых, полудетских стихов. Книга все же очаровала меня, уже одним своим существованием. Еще гимназист, а напечатал книгу! <…>

Думаю, что втайне Зина была влюблена в своего прежнего «молодого барина»… Книжечкой его и надписью на ней она гордилась явно. Может быть, никогда ничего гумилевского она больше и не прочла, но в те дни «высокое слово» коснулось ее немудреной девичьей души [9; 311–312].

Со слов Александры Степановны Сверчковой *(урожд. Гумилевой; 1889–1952), единокровной сестры Гумилева:*

Будучи учеником 8 класса, Коля обратился к сестре Шуре,

с которой был очень дружен, и просил ее помочь его товарищу похитить девицу, ученицу 7 класса в Рязани, дочь инспектора. Сестра должна была приютить беглецов и в течение хотя бы двух недель продержать тайно в своей комнате. Много надо было употребить хитрости и тактичности, чтобы отговорить друзей от рискованного дела и настоять на том, что прежде надо всем троим выдержать переэкзаменовки [22; 235].

Юрий Павлович Анненков *(1889–1974), художник, прозаик, мемуарист:*

Гумилев очень нравился женщинам: он всегда был элегантен, даже в советскую пору, всегда слегка надменен. Но я никогда не слышал, чтобы он повышал голос. Его надменность была надменностью художника [9; 524].

Ирина Владимировна Одоевцева:

– У меня в молодости удивительно быстро проходила влюбленность.

– Не только в молодости, но и сейчас, кажется, Николай Степанович, – замечаю я насмешливо.

Он весело кивает.

– Да, что греха таить. На бессмертную любовь я вряд ли способен. Хотя кто его знает? Голову на отсечение не дам. Ведь я сам Дон Жуан до встречи… [23; 56]

Валерия Сергеевна Срезневская:

Я помню, раз мы шли по набережной Невы с Колей и мирно беседовали о чувствах мужчин и женщин, и он сказал: «Я знаю только одно, что настоящий мужчина – полигамист, а настоящая женщина моногамична». – «А вы такую женщину знаете?» – спросила я. «Пожалуй, нет. Но думаю, что она есть», – смеясь ответил он [22; 241].

Надежда Савельевна Войтинская:

Он проповедовал кодекс средневековой рыцарственности. Было его стихотворение о Даме, и он меня всегда называл «Дамой». Ни капли увлечения ни с его, ни с моей стороны, но он инсценировал поклонение и увлечение. Это была чистейшая игра [16; 101–102].

Николай Степанович Гумилев. *В записи О. А. Мочаловой:*

За что же стреляться, как не за женщин и за стихи… [22; 283]

Николай Степанович Гумилев. *В записи по памяти*

И. В. Одоевцевой:

По Платону, любовь одна из трех главных напастей, посылаемых богами смертным, – продолжает он, – и хотя я и не согласен с Платоном, но и я сам чуть не умер от любви, и для меня самого любовь была напастью, едва не приведшей меня к смерти [23; 114].

Вера Иосифовна Лурье:

Однажды вечером (в 1920 г. – Сост.) в одном из залов «Дома Искусства» под чей-то аккомпанемент на рояле начали танцевать. В углу с папиросой во рту и, как всегда, в белых носках, свисающих поверх ботинок, стоял Гумилев, погруженный в разговор с Осипом Мандельштамом. Я была в компании наших студистов и на пари пошла пригласить танцевать Гумилева, с которым в то время почти еще не была знакома. Он улыбнулся, отошел от Мандельштама и, любезно предложив мне руку, сказал: «Я не танцую, но даме не могу отказать». Пари было мною выиграно! [9; 558–559]

Эрих Федорович Голлербах:

Осенью 1920 г. мы встречались с Н. С., в Доме Отдыха <…> на правом берегу Невы. Тут, наблюдая его в смешанном обществе рабочих, литераторов и «буржуазных» барышень, я удивлялся переменчивости его тона и всего поведения. С рабочими он вовсе не разговаривал, не замечал их (хотя выступал перед ними на эстраде Дома Отдыха со стихами, не имевшими большого успеха). С литературными собратьями он держался холодно, почти высокомерно, разговаривал ледяным тоном, иногда «забывал» здороваться.

С барышнями возился много и охотно, не в переносном, а в буквальном смысле: заставлял их визжать и хохотать до упаду, читал им стихи без конца, бегал с ними по саду и пр. Словом, ему было «шестнадцать лет» [21; 21].

Николай Степанович Гумилев. *В записи О. А. Мочаловой:*

Как хорош миг счастливого смеха той, кого целуешь… [22; 282]

Ирина Владимировна Одоевцева:

Гумилев иногда из «экономии» даже посвящал свои мадригалы различным лицам.

Всем, например, известно – об этом уже не раз говорилось в печати, – что «Приглашение в путешествие» посвящалось многим, с измененной строфой, смотря по цвету волос

воспеваемой:

Порхать над царственною вашей
Тиарой золотых волос.

Или:

Порхать над темно-русой вашей
Прелестной шапочкой волос.

Были и «роскошные», и «волнистые» шапки волос, и «атласно-гладкие» шапочки волос.

Сам Гумилев в минуты откровенности рассказывал мне, сколько раз это «приглашение» ему «служило», как и второе его «ударное» стихотворение: «С тобой мы связаны одною цепью». <…>

Отправляясь на свидание, Гумилев всегда брал с собой заготовленный «мадригал». Но иногда, занятый спешной работой, он не успевал его сочинить.

Однажды, когда мы с Георгием Ивановым сидели в саду Дома литераторов, Гумилев подошел к нам с озабоченным видом и, наскоро поздоровавшись, спросил, не найдется ли у меня или у Георгия Иванова какого-нибудь подходящего к случаю стихотворения. У меня, конечно, ничего подходящего не оказалось, но Георгий Иванов вспомнил какую-то свою строфу о Психее, глядящейся в зеркало.

Гумилев, нахмурившись, выслушал ее и одобрительно кивнул [23; 267, 269].

Владимир Александрович Павлов. *В записи Л. В. Горнунга:*

В Севастополе (в июле 1921 г. – Сост.) однажды удалось достать легковой автомобиль, на котором было решено поехать за черешней. По дороге зашли в открытый ресторан. За соседним столиком сидела какая-то дама, и Гумилев не преминул познакомиться с ней. Они переговаривались и шутили. При расставании Гумилев получил от нее розу. Был очень жаркий день. Когда вышли из ресторана, Гумилев имел очень эксцентричный вид: в расстегнутой косоворотке и заломленной назад кепке, он шел, обмахиваясь розой, как веером [30; Ф. 397. Оп. 2. Д. 76. Л. 2].

Николай Степанович Гумилев. *В записи О. А. Мочаловой:*

Я не признаю двух романов одновременно… [22; 283]

Эрих Федорович Голлербах:

Только после смерти его я узнал, что он склонялся к монархическому строю, но говорил шутя, что непременно хотел бы иметь императрицу, а не императора [21; 21].

Мастер

Николай Степанович Гумилев. *В передаче Н. А. Оцупа:*

Я вожусь с малодаровитой молодежью, <…> не потому, что хочу сделать их поэтами. Это, конечно, немыслимо – поэтами рождаются, – я хочу помочь им по человечеству. Разве стихи не облегчают, как будто сбросил с себя что-то. Надо, чтобы все могли лечить себя писанием стихов… [9; 479]

Всеволод Александрович Рождественский:

«Учительность» <…> была присуща характеру Гумилева так же, как и строгая требовательность к себе и к другим [20; 413].

Анна Андреевна Гумилева:

Когда приходили юные поэты и читали ему свои стихи, Коля внимательно слушал; когда критиковал – тут же пояснял, что плохо, что хорошо и почему то или другое неправильно. Замечания он делал в очень мягкой форме, что мне в нем нравилось. Когда ему что-нибудь нравилось, он говорил: «Это хорошо, легко запоминается» и сейчас же повторял наизусть [9; 422].

Николай Корнеевич Чуковский:

В период моего увлечения Гумилевым я как-то привел его к нам в Тенишевское училище. Было это не позже 1919 года. И учащиеся и учителя приняли его, как вельможу. Прием происходил в нашей просторной учительской, Николая Степановича посадили во главе длинного стола педагогического совета, под портретом Острогорского. Учителя были в полном составе, из учащихся старших классов присутствовали только те, которые особенно интересовались литературой. Тенишевские поэты читали свои стихи, а Николай Степанович слушал с торжественным неподвижным лицом и после каждого стихотворения делал краткие благосклонные замечания. Уходя, он предложил тенишевским поэтам запросто приходить к нему в гости. <…>

Его приглашением воспользовались трое: я, Лена Гейкина и рыжий еврейский мальчик Яша Бронштейн. Так я во второй раз попал в бывшую редакцию «Аполлона». Никаких следов редакции уже не осталось, – это была теперь жилая квартира, холодная, запущенная, почти без мебели. <…>

Шумно пылал огонь в большом камине. Перед камином на стопочке книг сидел Николай Степанович, поджав колени

к подбородку. На нем была темная домашняя курточка, самая затрапезная, но и в ней он казался таким же торжественным и важным, как всегда. Нас, попритихших и испуганных, он принял серьезно, как равных. Он усадил нас перед камином на книги и объяснил, что все редакционные столы и стулья он уже сжег. И я с удивлением увидел, что в камине пылают не дрова, а книги, – большие толстые тома. Николай Степанович сообщил нам, что он топит камин роскошным тридцатитомным изданием сочинений Шиллера на немецком языке. Действительно, издание было роскошнейшее, – в тисненных золотом переплетах, с гравюрами на меди работы Каульбаха, проложенными папиросной бумагой. Брошенный в пламя том наливался огнем, как золотой влагой, а Николай Степанович постепенно перелистывал его с помощью кочерги, чтобы ни одна страница не осталась несгоревшей.

Мне стало жаль книг, и я имел неосторожность признаться в этом. Николай Степанович отнесся к моим словам с величайшим презрением. Он объяснил, что терпеть не может Шиллера и что люди, любящие Шиллера, ничего не понимают в стихах. Существуют, сказал он, две культуры, романская и германская. Германскую культуру он ненавидит и признает только романскую. Все, что в русской культуре идет от германской, отвратительно. Он счастлив, что может истребить хоть один экземпляр Шиллера.

Мы почтительно промолчали, хотя я от всей души любил Шиллера, известного мне, правда, только по переводам Жуковского. У Николая Степановича его германофобия была пережитком шовинистических настроений 1914 года. Но он вообще был галломан и ставил французскую поэзию несравненно выше русской. Кроме того, теория о двух культурах, романской и германской, помогала ему в борьбе с влиянием Блока, которого он объявлял проводником германской культуры.

Робко сидя на стопках книг, предназначенных для сожжения, мы стали читать свои жалкие детские стишки. Николай Степанович слушал нас, как всегда, торжественно и абсолютно серьезно. У него было удивительное качество, – он относился к детям так же, как к взрослым, нисколько их от взрослых не отличал. Помню, он утверждал, что совершеннолетие человека наступает в одиннадцать лет и что непонимание этого – одно из величайших заблуждений человечества. Он предъявил к нашим стихам точно такие же требования, какие предъявлял к стихам взрослых поэтов, и делал такие же замечания. Не помню, что сказал он о стихах моих и Гейкиной. В стихотворении Яши Бронштейна каждое четверостишие

начиналось со слов: «Я иду…» По этому поводу Николай Степанович объяснил нам, что всегда, когда поэту нечего сказать, он пишет: «Я иду…» [29; 28–30]

Вера Иосифовна Лурье:

Лектором Гумилев был очень интересным и хорошим учителем по стихосложению [9; 557].

Георгий Викторович Адамович:

Он священнодействовал, он как будто приоткрывал какие-то великие и важные тайны – даже если речь шла о том, что в ямбе ударение приходится на втором слоге, а в хорее на первом, – он холодно отводил возражения и любил вскользь, с небрежным видом упомянуть, что однажды он указал д'Аннунцио на метрическую ошибку в его строчке, а что Киплинг, помнится, особенно был благодарен ему за другое указание [1; 341].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Гумилев, чтобы заставить своих учеников запомнить стихотворные размеры, приурочивал их к именам поэтов – так, Николай Гумилев был примером анапеста, Анна Ахматова – дактиля, Георгий Иванов – амфибрахия.

Но кто такой амфибрахический Георгий Иванов, я не знала, а Гумилев, считая нас сведущими в современной поэзии, не пояснил нам [23; 32].

Вера Иосифовна Лурье:

Он считал, что каждый может стать поэтом, но есть два типа, одни рождаются поэтами, другие этого добиваются работой, но не только технической: овладевание ритмом, метром, рифмой и т. д., а и полной перестройкой своих жизненных вкусов, взглядов, мышлений [17; 7].

Всеволод Александрович Рождественский:

Н. Ст. оказался опытным, умелым и многознающим педагогом. Он строил свои лекции так, что они превращались в живую беседу не только о стихотворном переводе, но и о поэзии вообще. Правда, в основном речь шла о формальной стороне дела. Ему очень хотелось представить творческий процесс как нечто такое, что вполне поддается точному анализу. Он был убежден в том, что любое стихотворение не только можно разложить на составные части, но и найти законы соотношения этих частей. Одна из его теоретических статей так и называется «Анатомия стихотворения». И конечно же, наукообразные

термины то и дело сходили с его языка. Если речь шла о переводе, то это были: «эквиритмичность», «эквилинеарность», «смысловой центр»; если о поэзии вообще – «эйдология» (наука о системе образов), «композиция», «глоссолалия» и т. д. В те времена подобные термины были внове, особенно для молодежи, да и само анатомирование стихотворных строк казалось подобием лингвистической алхимии. Но попутно сообщалось немало любопытных и полезных наблюдений над строфикой, над методом рифмовки, над законами звукописи, над основными приемами художественной выразительности. Историю мировой поэзии Н. С., владевший несколькими иностранными языками, знал прекрасно и щедро черпал из нее выразительные и убедительные примеры. Оставалось удивляться тому, что сам он отнюдь не был поэтом-алхимиком и создавал не мертвые стихотворные схемы, а стихи, полные жизни и горячего авторского темперамента. Впрочем, он и сам признавался в минуты откровенности: «Конечно, стихотворение можно подвергнуть тщательному химическому анализу, но всегда остается какая-то нерастворимая часть. Она-то и делает стихи поэзией». «Что же это такое – нерастворимая часть?» – «Не знаю, честное слово, не знаю. Спросите у Блока!» [20; 424–425]

Василий Иванович Немирович-Данченко:

Гумилев в то же время необыкновенно чутко относился к начинающим – именно в кучах навозу отыскивал жемчужные зерна. В слушателях особенно ценил оригинальность, хотя бы неловкую на первых порах, именно дорогую в каждом писателе. Он требовал от них упорной работы над собою.

– Над стихом надо изводиться, как пианисту над клавишами, чтобы усвоить технику. Это не одно вдохновение, но и трудная наука. Легче ювелиру выучиться чеканить драгоценные металлы… А ведь наш русский язык именно драгоценнейший из них. Нет в мире другого, равного ему – по красоте звука и по гармонии концепции [9; 575].

Леонид Ильич Борисов:

Он ходил из угла в угол мастерской художницы Кругликовой, внезапно, словно по команде, останавливался и, заложив руки за спину, спрашивал кого-либо из гостей хозяйки дома:

– А вот это откуда?

И цитировал две-три строчки, преимущественно французского поэта. Одну даму он поймал на популярнейшем четверостишии Пушкина, – дама птичьим голоском прощебетала:

– Это ваше, Николай Степанович?

И кокетливо заиграла кончиком языка, водя им по нижней губе своей, прищуривая глаза и потряхивая накладными, пронафталиненными кудряшками…

– Ужо, будет мое, – едва сдерживая смех, произнес Гумилев и подошел ко мне.

– Ну-с, юноша, что делаем?

– Стихи пишу, – не в тон вопроса ответил я, желая вот эту минуту в моей жзни превратить в нечто памятное всегда и всюду. – Хотите прочту?

– Это интересно! Пойдемте вон туда. Ну-с, слушаю…

Я читал минут десять, он внимательно слушал, затем невнимательно, бросил: «Молодец, четыре!» – и пошел к Волынскому, который делал ему какие-то знаки [12; 166–167].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Как-то я пришла к нему с букетом первой сирени. Я весной и летом постоянно ходила с цветами. Выходя из дома, я покупала у уличных мальчишек, будущих беспризорных, цветы и так и носила их с собой целый день, воображая, что я гуляю по саду, где цветет сирень, жасмин и черемуха.

Гумилеву очень нравилось мое «хождение с цветами», как он его называл. Он сам с удовольствием принимал участие в прогулках с черемухой или сиренью, в игре в цветущий сад и даже сочинил о наших прогулках с цветами строфу:

Снова идем мы садами
В сумерках летнего дня,
Снова твоими глазами
Смотрит весна на меня.

Но сегодня, хотя день солнечный и голубой – настоящий «прогульный день», по его выражению, он не желает выходить из дома.

– Нет, лучше позанимаемся, садитесь, слушайте и отвечайте.

Он берет из моих рук сирень и кладет ее передо мной на стол.

– Представьте себе, что вы еще никогда не видели сирени, не знаете ее запаха, даже не трогали ее, – что вы скажете о ней неизбитыми, нешаблонными словами?

И я как могу стараюсь описать сирень, ее влажную хрупкость и благоухание и двенадцатилепестковую звездочку, приносящую счастье.

Он внимательно выслушивает меня.

– Совсем неплохо. А теперь стихами то же самое или что

хотите о сирени, без лишних слов, ямбом. Не более трех строф. Не задумываясь. Даю вам пять минут.

Я зажмуриваюсь от напряжения и почти сразу говорю:

Прозрачный, светлый день,
Каких весной не мало,
И на столе сирень
И от сирени тень.

Но хочет Гумилев,
Чтобы без лишних слов
Я б ямбом написала
Об этой вот сирени
Не более трех строф
Стихотворенье.

Брови Гумилева удивленно поднимаются. В его раскосом взгляде – один глаз на меня, другой в сторону на сирень – вспыхивают искры.

– Хорошо. Даже очень. Вы действительно делаете мне честь, как ученица. Вы моя ученица номер первый. Гордость моей Студии. Предсказываю вам – вы скоро станете знаменитой. Очень скоро.

Сердце мое, вылетев из груди, бьется в моем горле, в моих ушах.

Не может быть! Неужели? Наконец! Наконец-то. Гумилев хвалит меня, и еще как!

Я вскакиваю и начинаю кружиться по кабинету. Гумилев недовольно смотрит на меня.

– Не кружитесь волчком, вы собьете меня с ног. Да перестаньте же!

Но я не перестаю. Я кружусь от восторга, захлестывающего меня.

– Вы скоро будете знаменитой, – повторяю я нараспев.

– Господи! – вздыхает Гумилев. – Как вас унять?

И вдруг он, подойдя ко мне, двумя руками берет меня за талию. Мне кажется, что он хочет кружиться и танцевать со мной. Но ноги мои уже не касаются пола. Я в воздухе. Он поднимает меня. И вот я уже сижу на шкафу, и он притворно строго говорит, грозя мне пальцем:

– Сидите тут тихо. Совсем тихо. Мне надо докончить перевод. Не мешайте мне [23; 80–82].

Вера Иосифовна Лурье:

Раз прочла ему стихотворение свое, он прослушал, ничего, только папироской попыхивал, а потом говорит: «Хорошо, что здесь хоть смысл есть, а то часто ничего и не понять». А затем переложил на прозу и осмеял. Было очень обидно! А другой раз говорит мне: «Меньше красивых слов – больше красивых мыслей» [17; 7].

Ида Моисеевна Наппельбаум:

Гумилев умел заметить, запомнить, оценить каждую находку, каждую удачу любого молодого поэта [19; 28].

Свойства ума и мышления

Андрей Яковлевич Левинсон:

Я не видел человека, природе которого было бы более чуждо сомнение, как совершенно, редкостно, чужд был ему и юмор. Ум его, догматический и упрямый, не ведал никакой двойственности [9; 553].

Ирина Владимировна Одоевцева:

«Самым умным» назвать Гумилева я не могу. Но был он, безусловно, очень умен, с какими-то иногда даже гениальными проблесками и, этого тоже нельзя скрыть, с провалами и непониманиями самых обыкновенных вещей и понятий.

Помню, как меня поразила его реплика, когда Мандельштам назвал одного из сотрудников «Всемирной литературы» вульгарным.

– Ты ошибаешься, Осип. Он не может быть вульгарным – он столбовой дворянин.

Я думала, что Гумилев шутит, но он убежденно добавил:

– Вульгарным может быть разночинец, а не дворянин, запомни.

Мандельштам обиженно фыркнул и покраснел. Сам он, понятно, дворянином не был.

Конечно, это могло быть только позой со стороны Гумилева, но Мандельштам насмешливо подмигнул мне и сказал, когда мы остались одни:

– Не без кретинизма ваш мэтр.

Необразованным Гумилева назвать никак нельзя было. Напротив. Он прочел огромное количество книг, и память у него была отличная [23; 73–74].

Ольга Людвиговна Делла-Вос-Кардовская. *В записи Л. В. Горнунга:*

Он поражал своей исключительной памятью и прекрасным знанием русской классической литературы. Вспоминается, например, как он однажды спорил с Анненским о каких-то словах в произведении Гоголя и цитировал на память всю вызвавшую разногласие фразу. Для проверки мы взяли том Гоголя, и оказалось, что Николай Степанович был прав [10; 190].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Он знал поэзию не только европейскую, но и китайскую, японскую, индусскую и персидскую.

Неправильно также, что он ограничивался изучением одной поэзии. <…>

Гумилев свободно, хотя и с ошибками – в них он не отдавал себе отчета, – говорил и писал по-французски. И читал даже стихи a livre ouvert[14] – трудных и сложных поэтов, как Heredia, Mallarmé, Rimbaud[15] – и переводил их, не задумываясь, очень точно.

С английским дело обстояло хуже, хотя Гумилев провел несколько месяцев в Англии и рассказывал мне, что на большом обеде у какого-то лорда он рассказывал о своих путешествиях по Африке. <…>

Я сомневаюсь, чтобы гости лорда что-нибудь поняли. Выговор у него был отчаянный, но читал он довольно бегло. Немецкого языка он не знал и жалел, что не знает. Он считал его лучшим, после русского, для стихов. Он иногда заставлял меня читать ему немецкие стихи – балладу Шиллера «Der Handschuh»[16] он особенно любил. Слушал он, непременно прислонясь к стене, сложив руки на животе – изображая прислугу Пашу, и, подражая ей, говорил, вздыхая: «Красиво! Непонятно и чувствительно! Если бы не лень, обучился бы».

Но думаю, что обучиться ему мешала не только лень, но и отсутствие способностей к языкам, как и ко многому другому [23; 74–75].

Сергей Константинович Маковский:

Мне нравилась его независимость и самоуверенное мужество. Чувствовалась сквозь гумилевскую гордыню необыкновенная его интуиция, быстрота, с какой он схватывал чужую мысль, новое для него разумение, все равно – будь то стилистическая тонкость или научное открытие, о каком прежде он ничего не знал, – тотчас усвоит и обратит в видение упрощенно-яркое и подыщет к нему слова, бьющие в цель, без обиняков [9; 364].

Собеседник, мечтатель, предсказатель

Анна Андреевна Гумилева:

Те вечера, когда Коля бывал дома (в Царском Селе, в 1910-е. – Сост.), он часто сидел с нами, читал свои произведения, а иногда много рассказывал, что всегда было очень интересно. Коля великолепно знал древнюю историю и, рассказывая что-нибудь, всегда приводил из нее примеры [9; 421].

Всеволод Александрович Рождественский:

Кругозор его интересов, да, пожалуй, и познаний в любимых им областях географии и истории, был поистине удивителен. Он любил обобщать свои впечатления от прочитанного или лично увиденного, выводить теории, иногда фантастические и спорные, отстаивать их с горячей убежденностью, а когда приходилось отступать перед неопровержимыми доводами, обращать все в шутку. В высшей степени был ему свойственен насмешливо-иронический тон, ради которого, впрочем, он не щадил и самого себя. Но делал это так тонко и лукаво, что оставалось впечатление его несомненной правоты [20; 414].

Сергей Константинович Маковский:

Он никогда не пояснял своих мыслей, а «изрекал» их и спорил как будто для того лишь, чтобы озадачить собеседника. Вообще было много детски-заносчивого, много какого-то мальчишеского озорства в его словесных «дерзаниях» (в критической прозе, в статьях это проявлялось куда меньше, несмотря на капризную остроту его литературных заметок) [9; 330].

Надежда Савельевна Войтинская:

Он не любил болтать, беседовать, все преподносил в виде готовых сентенций, поэтических образов. Дара легкой болтовни у него не было. У него была манера живописать. Он «исчезал» за своими впечатлениями, а не рассказывал [16; 100].

Анна Андреевна Гумилева:

Коля был очень увлекательным рассказчиком. Обычно вне своего литературного кружка он в обществе держал себя очень скромно, но если что-либо было ему интересно и по душе, то он преображался, загорались его большие глаза, и он начинал говорить с увлечением [9; 427].

Ольга Людвиговна Делла-Вос-Кардовская. *В записи Л. В. Горнунга:*

Бывая у нас, Николай Степанович много говорил о Париже, о вечерах у художницы Е. С. Кругликовой, о своей студенческой жизни. Помню, как он однажды очень серьезно рассказывал о своей попытке вместе с несколькими сорбоннскими студентами увидеть дьявола. Для этого нужно было пройти через ряд испытаний – читать каббалистические книги, ничего не есть в продолжение нескольких дней, а затем в назначенный вечер выпить какой-то напиток. После этого должен появиться дьявол, с которым можно было вступить в беседу. Все товарищи очень быстро бросили всю эту затею. Лишь один Николай Степанович проделал все до конца и действительно видел в полутемной комнате какую-то смутную фигуру. Нам эти рассказы казались очень забавными и чисто гимназическими [10; 192].

Всеволод Александрович Рождественский:

Чаще всего любил он вспоминать о своих африканских путешествиях, об удачных охотах в горах Абиссинии и порою, на канве этих впечатлений, импровизировал заведомо фантастические истории с острыми сюжетными неожиданностями, становясь вдохновенным сказочником, в повествованиях которого причудливо переплетались экзотика географии и истории, правда и явный вымысел [20; 425].

Анна Андреевна Гумилева:

Однажды у нас в имении на охоте, где оба брата, Димитрий и Коля, отличились меткой стрельбой, один из гостей сказал поэту, что с таким метким глазом не страшно было бы идти на охоту на слонов и львов, и задал Коле несколько вопросов насчет Абиссинии. Коля с жаром стал рассказывать о своих переживаниях в Африке, и так образно, что ясно можно было себе представить, как он с племянником и с тремя провожатыми, из которых один был «…карлик мне по пояс, голый и черный…», шли по лесу, где вряд ли ступала человеческая нога; ночь провели в лесу и долго искали более или менее удобного убежища и наконец нашли. «…И хороша была нора – В благоухающих цветах…» Рассказывал, что туземцы в Абиссинии очень суеверны; многого наслушался он за ночи, проведенные в лесу, как, например – если убитому леопарду не опалить немедленно усы, дух его будет преследовать охотника всюду [9; 427–428].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Гумилев, вспоминая свое прошлое, очень увлекался и каждый раз украшал его все новыми и новыми подробностями. Чем, кстати, его рассказы сильно отличались от рассказов Андрея Белого, тоже большого любителя «погружаться в свое прошлое».

Андрей Белый не менял в своих рассказах ни слова и даже делал паузы и повышал или понижал голос на тех же фразах, будто не рассказывал, а читал страницу за страницей, отпечатанные в его памяти. Гумилев же импровизировал, красноречиво и вдохновенно, передавая свои воспоминания в различных версиях [23; 115].

Надежда Александровна Тэффи *(урожд. Лохвицкая; 1872–1952), поэтесса, прозаик-юморист, мемуаристка:*

Беседы наши были забавны и довольно фантастичны. Задумали основать кружок «Островитян». «Островитяне» не должны были говорить о луне. Никогда. Луны не было. Луна просто вычеркивалась из существования. Не должны знать Надсона. Не должны знать «Синего Журнала». Не помню сейчас, чем все это было связано между собою, но нас занимало [9; 455–456].

Василий Иванович Немирович-Данченко:

В Гумилеве жил редкий у нас дар восторга и пафоса.

Он не только читателя, но и слушателя в длинные и скучные сумерки петербургской зимы уносил в головокружительную высь чарующей сказки. Часто музыка его стихов дополняла недосказанное их образами [9; 578–579].

Георгий Викторович Адамович:

Гумилев наделен был даром особой убедительности, правда, не столько логической, сколько внутренней, духовной, трудно поддающейся определению. Не случайно же он стал «мэтром», в сущности, без других к тому данных, кроме способности убеждать в своей правоте и даже непогрешимости [1; 341].

Всеволод Александрович Рождественский:

Помню его убежденные утверждения того, что Атлантида действительно существовала, что стоит только изобрести соответственные водолазные приспособления, и будут найдены на дне океана развалины пышных дворцов и памятников искусства погибшей цивилизации. Он даже говорил о том, что счел бы для себя честью первым опуститься на дно морское. Предвидения поэтов древности казались ему несомненным доказательством научной истины. И в пример приводил он

Шлимана, по нескольким строчкам «Илиады» обнаружившего остатки древней Трои.

Гумилев не был выдающимся рассказчиком (в речевом отношении), но слушать его всегда было интересно, потому что очень часто и весьма изобретательно сопоставлял он различные области знаний, говорил охотно о будущем, о возможностях науки, сближая с ней Поэзию, как один из вернейших путей постижения мира и человека [20; 414–415].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Так, он утверждал, что скоро удастся победить земное притяжение и станут возможными межпланетные полеты.

– А вокруг света можно будет облететь в восемьдесят часов, а то и того меньше. Я непременно слетаю на Венеру, – мечтал он вслух, – так лет через сорок. Я надеюсь, что я ее правильно описал. Помните:

На далекой звезде Венере
Солнце пламенней и золотистей,
На Венере, ах, на Венере
У деревьев синие листья.

Так, он предвидел новую войну с Германией и точно определял, что она произойдет через двадцать лет.

– Я, конечно, приму в ней участье, непременно пойду воевать. Сколько бы вы меня ни удерживали, пойду. Снова надену военную форму, крякну и сяду на коня, только меня и видели. И на этот раз мы побьем немцев! Побьем и раздавим!

Предсказывал он также возникновение тоталитарного строя в Европе.

– Вот, все теперь кричат: Свобода! Свобода! а в тайне сердца, сами того не понимая, жаждут одного – подпасть под неограниченную, деспотическую власть. Под каблук. Их идеал – с победно развевающимися красными флагами, с лозунгом «Свобода» стройными рядами – в тюрьму. Ну, и, конечно, достигнут своего идеала. И мы и другие народы. Только у нас деспотизм левый, а у них будет правый. Но ведь хрен редьки не слаще. А они непременно – вот увидите – тоже получат то, чего добиваются [23; 115].

Георгий Викторович Адамович:

Гумилев способен был с серьезным и важным видом говорить, что намерен уединиться, чтобы посвятить лет десять, а то и больше созданию поэмы, где с математической точностью,

на основании им одним полученных сведений, будут изложены грядущие судьбы вселенной, или что он готов отправиться во главе отряда добровольцев на завоевание Индии, если «Его Величество даст на эту экспедицию свое высочайшее согласие» [1; 341].

Вера Алексеевна Неведомская:

Гумилев говорил как-то о неминуемом столкновении белой расы с цветными. Ему представлялся в будущем упадок белой расы, тонувшей в материализме, и, как возмездие за это, восстание желтой и черной рас. Эти мысли были скорей порядка умственных выводов, а не предчувствий, но, помню, он сказал мне однажды:

«Я вижу иногда очень ясно картины и события вне круга нашей теперешней жизни; они относятся к каким-то давно прошедшим эпохам, и для меня дух этих старых времен гораздо ближе того, чем живет современный европеец. В нашем современном мире я чувствую себя гостем» [9; 446].

Вера Иосифовна Лурье:

Как-то в воскресный вечер собрались мы в нашей любимой проходной комнате, за четырехугольным столом, и Гумилев стал придумывать чудесный город. Помнится, одевались там в птичьи перья и цветы; театры отсутствовали вовсе, но зато были кафе разных стран, и каждое выдерживало стиль своего государства; были там и лавочки, в которых продавались предметы, вызывающие какие-нибудь воспоминания. Старикам и детям доступ в город строго воспрещался, и жили они в предместьях. А когда спросили Ник<олая> Степ<ановича>, какое там будет правление, он ответил, что, конечно, монархия, причем там была введена и смертная казнь. Убивать друг друга тоже разрешалось, но для равных условий всех граждан они получали одинаковое вооружение! [17; 9]

Политические взгляды

Сергей Абрамович Ауслендер:

Я всегда интересовался политикой, особенно в те годы после первой революции. Гумилеву это было чуждо, он никогда не читал газет. Но тут (осенью 1910 г. – Сост.) он разгорячился. Сидя со мной на пеньке и размахивая руками, он оживленно говорил, что мир приближается к каким-то невиданным приключениям, что мы должны принять в них участие, стрелять в кого-то, драться, будут катастрофы и прочее и прочее.

Он как-то неожиданно впал в этот не свойственный ему пророческий транс, но немного погодя опять успокоился [3; 201].

Георгий Владимирович Иванов:

Раньше о политических убеждениях Гумилева никто не слыхал. В советском Петербурге он стал даже незнакомым, даже явно большевикам открыто заявлять: «Я монархист». <…>

Гумилева уговаривали быть осторожнее. Он смеялся: «Большевики презирают перебежчиков и уважают саботажников. Я предпочитаю, чтобы меня уважали» [9; 469].

Александр Валентинович Амфитеатров *(1862–1938), прозаик, публицист, литературный и театральный критик:*

Мы не были политическими единомышленниками. Напротив. Мой демократический республиканизм был ему не по душе. Как-то раз я, шутя, напомнил ему, что Платон, в своей идеальной утопии государства, советовал изгнать поэтов из республики.

– Да поэты и сами не пошли бы к нему в республику, – гордо возразил Гумилев.

Он был монархист – и крепкий. Не крикливый, но и нисколько не скрывающийся. В последней книжке своих стихов, вышедшей уже под советским страхом, он не усомнился напечатать маленькую поэму о том, как он, путешествуя в Африке, посетил пророка-полубога Махди, и –

Я ему подарил пистолет
И портрет моего Государя [9; 564].

Ольга Николаевна Гильдебрандт-Арбенина *(1897–1980), художница, мемуаристка, возлюбленная и адресат лирики Гумилева:*

Он симпатично говорил о царской семье, величавой

и милостивой царице, но никогда не бранил существующую обстановку [20; 453].

Вячеслав Иванович Иванов *(1866–1942), поэт, филолог, философ, религиозный мыслитель, один из теоретиков символизма. В записи М. С. Альтмана:*

Что касается отношения Гумилева к революции, то фактически мне об этом ничего не известно. Зная его, полагаю, что ни к каким проектам, конституциям и вообще всей этой кадетской дипломатчине он способен не был и не мог, никакой наклонности не имел. Но в бой, если б понадобилось (и даже не понадобилось), идти или совершить какой-нибудь акт – на это он как раз. Ибо был он всегда безусловно храбр и рыцарски благороден. Был он чуть-чуть вызывающим, мог даже показаться наглым, но, повторяю, был вполне рыцарем[17].

Гилберт Кийт Честертон *(Gilbert Keith Chesterton; 1874–1936), английский христианский мыслитель, журналист и писатель:*

Дело происходило в доме Джулиет Дафф (в 1917 г. – Сост.), и среди гостей был майор Морис Беринг, который привел с собой какого-то русского в военной форме. Последний говорил без умолку, несмотря даже на попытки Беллока перебить его – что там какие-то бомбы! Он произносил непрерывный монолог по-французски, который нас всех захватил. В его речах было качество, присущее его нации, – качество, которое многие пытались определить и которое, попросту говоря, состоит в том, что русские обладают всеми возможными человеческими талантами, кроме здравого смысла. Он был аристократом, землевладельцем, офицером одного из блестящих полков царской армии – человеком, принадлежавшим во всех отношениях к старому режиму. Но было в нем и нечто такое, без чего нельзя стать большевиком, – нечто, что я замечал во всех русских, каких мне приходилось встречать. Скажу только, что, когда он вышел в дверь, мне показалось, что он вполне мог бы удалиться и через окно. Он не коммунист, но утопист, причем утопия его намного безумнее любого коммунизма. Его практическое предложение состояло в том, что только поэтов следует допускать к управлению миром. Он торжественно объявил нам, что и сам он поэт. Я был польщен его любезностью, когда он назначил меня, как собрата-поэта, абсолютным и самодержавным правителем Англии. Подобным образом Д'Аннунцио был возведен на итальянский, а Анатоль Франс – на французский престол. Я заметил на таком французском, который мог бы прервать столь щедрые излияния, что любому правительству необходимо иметь

idée generate и что идеи Франса и Д'Аннунцио полярно противоположны, что, скорее всего, пришлось бы не по душе любому французскому патриоту. Он же отмел все сомнения подобного рода – он уверен в том, что, если политикой будут заниматься поэты или, по крайней мере, писатели, они никогда не допустят ошибок и всегда смогут найти между собой общий язык. Короли, магнаты или народные толпы способны столкнуться в слепой ненависти, литераторы же поссориться не в состоянии [20; 301].

К., автор некролога:

Он не понимал, что такое историческое развитие. Он мог быть серьезно убежден, что средневековые рыцари погибли только потому, что их перебили, и что в один прекрасный день они могут вновь возродиться. Его бы нисколько не удивило, если бы вслед за большевиками в России воцарился римский папа. Он не любил советского строя, но совершенно конкретно, потому что негде было печатать стихов, приходилось самому готовить обед и очень трудно было достать бутылку красного вина. Не любил он большевиков еще потому, что они неблагородны. А в нем были, быть может, несколько отсталые понятия о благородстве, и в нем была прямота, смелость и решительность. <…> Я ясно представляю себе, что он молчал как вода, когда его в чека допрашивали о фамилиях, знакомых, адресах. Быть может, это его погубило [26; 117].

Юлиан Григорьевич Оксман *(1894–1970), филолог. Из дневника:*

Из Дома Литераторов мы вышли вместе – я рассказывал ему о том, что видел в 1919–1920 гг. на территории, занятой Деникиным, и о том, что слышал от людей, бежавших из Крыма, о Врангеле. Он слушал очень внимательно, хотя, как мне показалось, знал обо всем этом не хуже меня. Он явно был на стороне белых и не придавал значения их преступлениям и ошибкам [8; 559–561].

Дмитрий Дмитриевич Бушен *(1893–1993), художник. В записи С. Дедюлина:*

Он мне сказал тогда невероятно странную вещь: «Ну, большевики скоро кончатся. Я знаю, они будут только пять лет». А я ему ответил: «Николай Степанович, ну хорошо, пять лет. А когда пять лет пройдут, что будет? Кто же будет править Россией? Ведь никого нет». Знаете, что он мне ответил? – «Патриарх» [26; 121].

Склонности и пристрастия

Эрих Федорович Голлербах:

Он любил в жизни все красивое, жуткое, опасное, любил контрасты нежного и грубого, изысканного и простого. Персидские миниатюры и картины Фра Беато Анжелико нравились ему не меньше, чем охота на тигров. Если не ошибаюсь, единственное, к чему он был совершенно равнодушен, это – музыка. Он ее не любил и не понимал, – не было «уха» [21; 16–17].

Вера Иосифовна Лурье:

Характерна любовь Гумилева к музеям и картинам. У него были интересные рисунки в стиле египетских или этрусских фресок. Мне пришлось видеть книгу стихов Гумилева, написанную им от руки с собственными его рисунками; туда вошли «Цыгане», «Заблудившийся трамвай» и еще кое-что из последних произведений Н<иколая> С<тепановича> [17; 9].

Надежда Савельевна Войтинская:

Он любил экзотику. Я экзотики не любила, и он находил это непростительным и диким. Он подарил мне живую большую зеленую ящерицу и уверял меня, что она приносит счастье [16; 101].

Николай Корнеевич Чуковский:

На семинарах Николая Степановича я хорошо изучил его вкусы и литературные мнения. Для них прежде всего была характерна галломания. На семинаре он постоянно твердил имена Ронсара, Франсуа Вийона, Расина, Андре Шенье, Теофиля Готье, Леконта де Лиля, Эредиа, Бодлера, Рембо, Маллармэ, Гийома, Аполлинера. Казалось, самый звук этих имен доставлял ему наслаждение. Из русских классиков он признавал только Державина, Пушкина, Баратынского и Тютчева. <…>

Из русских поэтов XX века он полностью принимал одного только Иннокентия Анненского и всегда ставил его на самое первое место. К Валерию Брюсову – несомненному своему учителю – он относился как к явлению почтенному, но смешноватому, устаревшему, вышедшему из моды. Ценил он отчасти и Сологуба, но обвинял его в неточном употреблении слов. Бунина он не признавал поэтом, Бальмонта и Северянина презирал. К Маяковскому относился, разумеется, совершенно враждебно, и из футуристов с некоторым уважением говорил

только о Хлебникове.

Прозы он не любил никакой и всю ее считал как бы чем-то низшим в отношении поэзии, – так сказать, недоделанной поэзией. Русской же прозы он особенно терпеть не мог. Имен Льва Толстого и Чехова он не произносил никогда, о Тургеневе говорил с гадливостью, как о Надсоне. С некоторым уважением отзывался он только об «Огненном ангеле» Брюсова и повестях Сергея Ауслендера. Само собой разумеется, что всю прозу Горького он считал находящейся вне литературы. А стихи Горького очень его смешили. Помню, он не раз говорил нам на семинаре, что самая плохая строчка во всей мировой поэзии – строчка Горького из «Песни о соколе», состоящая только из односложных слов:

Уж влез и лег там
[29; 41–42].

Михаил Федорович Ларионов:

Самой большой его страстью была восточная поэзия, и он собирал все, что этого касается [13; 102].

Эрих Федорович Голлербах:

Увлекался наркотиками. Однажды, попросил у меня трубку для курения опиума, потом раздобыл другую, «более удобную». Отравлялся дымом блаженного зелья. Многие смеялись над этими его «экспериментами» [21; 17].

Павел Николаевич Лукницкий. *Из дневника 1926 г.:*

Я говорю, вспоминая сообщения Зубовой, что благородство Николая Степановича и тут видно: он сам курил опиум, старался забыться, а Зубову в то же время пытался отучить от курения опиума, доказывая ей, что это может погубить человека.

АА (Ахматова. – *Сост.*) по этому поводу сказала, что при ней Николай Степанович никогда, ни разу даже не упоминал ни об опиуме, ни о прочих таких слабостях и что, если б АА сделала бы что-нибудь такое, Николай Степанович немедленно и навсегда рассорился бы с нею. А между тем АА уверена, что еще когда Николай Степанович был с нею, он прибегал к этим снадобьям. <…>

АА задумчиво стала пояснять: «Жизнь была настолько тяжела, что Николаю Степановичу так трудно было, что вполне понятно его желание забыться…» [16; 163]

Юрий Павлович Анненков:

В том же году (1919 г. – Сост.) в Доме Искусств, на Мойке, поздним вечером Гумилев, говоря о «тяжелой бессмыслице революции», предложил мне «уйти в мир сновидений».

– У нашего Бориса (Б. Каплун), – сказал Гумилев, – имеется банка с эфиром, конфискованная у какого-то черного биржевика. Пойдем подышать снами?

Я был удивлен, но не отказался. От Мойки до площади Зимнего дворца было пять минут ходьбы. Мы поднялись в квартиру Каплуна, где встретили также очень миловидную девушку, имя которой я запамятовал. Гумилев рассказал Каплуну о цели нашего позднего прихода. Каплун улыбнулся:

– А почему бы и нет? Понюхаем!

Девушка тоже согласилась.

Каплун принес из другой комнаты четыре маленьких флакончика, наполненных эфиром. Девушка села в вольтеровское кресло, Гумилев прилег на турецкую оттоманку; Каплун – в кресло около письменного стола; я сел на диван чиппендалевского стиля: мебель в кабинете председателя Петросовета была довольно сборная. Все поднесли флакончик к носу. Я – тоже, но «уход в сновидения» меня не привлекал: мне хотелось только увидеть, как это произойдет с другими, и я держал флакончик так же, как другие, но твердо заткнув горлышко пальцем.

Раньше всех и не сказав ни слова, уснула девушка, уронив флакон на пол. Каплун, еще почти вполне трезвый, и я уложили девушку на диван.

Гумилев не двигался. Каплун закрыл свой флакончик, сказал, что хочет «заснуть нормальным образом», и, пристально взглянув на Гумилева, пожал мне руку и вышел из кабинета, сказав, что мы можем остаться в нем до утра.

Гумилев лежал с закрытыми глазами, но через несколько минут прошептал, иронически улыбаясь:

– Начинаю грезить… вдыхаю эфир…

Вскоре он действительно стал впадать в бред и произносить какие-то непонятные слова, или, вернее, сочетания букв. Мне стало не по себе, и, не тревожа Гумилева, я спустился по лестнице и вышел на площадь, тем более что кабинет Каплуна начал уже заполняться эфирным запахом [9; 523–524].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Гумилев очень любил сладкое. Он мог «ликвидировать» полфунта изюма или банку меда за один вечер, весь месячный академический паек.

– Я не только лакомка. Я едок-объедало, – с гордостью

говорил он. – Я могу один съесть целого гуся. <…>

Аппетит у него действительно был большой. Когда через год (в 1920 г. – *Сост.*) открылись «нелегальные» столовые, мне часто приходилось присутствовать при его «пантагрюэлевских трапезах».

– Приглашаю вас, – говорил мне Гумилев, выходя из Студии, – на пантагрюэлевскую трапезу, – и мы шли в маленькую темную квартиру на Фурштадтской, ничем не напоминавшую ресторан.

В двух комнатах, спальне и столовой, стояли столы, покрытые пестрой клеенкой. Вид широкой кровати со взбитыми подушками, по-видимому, не портил аппетита посетителей – в спальне обедающих бывало больше, чем в соседней столовой.

Гумилев обыкновенно усаживался в столовой, в конце стола.

Усевшись, он долго и основательно изучал меню, написанное на клочке оберточной бумаги, потом, подозвав хозяйку, заказывал ей:

– Борщ. Пирог с капустой. Свиную отбивную в сухарях и блинчики с вареньем. С клубничным вареньем [23; 75].

Ольга Николаевна Гильдебрандт-Арбенина:

Я как-то спросила у Гумилева, нравились ли ему когда-нибудь мальчики. Он чуть не с возмущением сказал: «Ну, конечно, нет!» (ведь он был крайне мужского типа и вкусов). Я спросила: «Но, если все же…» Подумав, он ответил: «Ну, разве что Никс (Николай Бальмонт, сын Константина Бальмонта. – Сост.). И то, конечно, нет!» – Никса когда-то принимали за моего брата. Я была удовлетворена [20; 454].

Николай Степанович Гумилев. *В записи О. А. Мочаловой:*

Говорил, что любит синий цвет, обстановка в его тверском имении – синей обивки [22; 280].

Жилище

1903. Царское Село

Вера Константиновна Лукницкая *(р. 1927), литератор, вдова П. Н. Лукницкого, биограф и публикатор Гумилева:*

В Царском Селе Гумилевы сняли квартиру – на углу Оранжерейной и Средней улиц, в доме Полубояринова (сейчас Средняя улица называется улицей Коммунаров, а Оранжерейная – Карла Маркса). Одну из комнат Николай, к удивлению родных и ужасу хозяев, превратил в «морское дно» – выкрасил стены под цвет морской воды, нарисовал на них русалок, рыб, разных морских чудищ, подводные растения, посреди комнаты устроил фонтан, обложил его диковинными раковинами и камнями [16; 24–25].

1910–1911. Царское Село. Малая ул., 15

Павел Николаевич Лукницкий. *Из дневника 1925 г.:*

Наконец еще издали АА (Ахматова. – Сост.) показала: «А вот мы и дошли… Видите – зеленый домик с той стороны? Это дом Гумилевых…» Я увидел 2-этажный, в 3 окна вверху и в 5 окон внизу, хорошенький, деревянный домик с небольшим палисадником, из которого поднималось высоко одно только большое, теперь еще голое дерево, несколько других, маленьких и чахлых деревьев не смели протянуть свои ветви даже к окнам 2-го этажа. Вошли во двор. Мимо окон кухни и ванной обошли дом с другой стороны. Крошечный садик. В него выходит большое окно столовой, а за ним – окно комнаты Николая Степановича… <…>

АА рассказала: 1-е окно (со стороны, противоположной калитке) было окном ее комнаты. Следующее окно – библиотеки. 3-е – среднее – окно фальшивое, было раньше, осталось им и теперь. Два других окна – окна гостиной. Во 2-м этаже жил Лева. <…>

АА: «У Коли желтая комната. Столик. За этим столиком очень много стихов написано. Кушетка, тоже желтая, обитая. Часто спал в библиотеке на тахте, а я на кушетке у себя. Стол мой, 4 кожаных кресла были у меня в комнате. Все из Слепнева привезла, красного дерева. Кресло – карельской березы.

Кабинет – большая комната, совсем заброшенная

и нелюбимая. Это называлось „Абиссинская комната“. Вся завешана абиссинскими картинами была. Шкуры везде были развешаны».

Комната АА ярко-синяя, шелковая обивка, сукно на полу, какой-то зверь у кушетки лежал (выдра?).

Все это до осени 15 года. А с весны 16-го все было иначе. Комнаты АА и Николая Степановича сданы родственнице (Миштофт). АА переехала в кабинет, а Николай Степанович жил наверху в маленькой комнате. <…>

Когда жили в Царском Селе, Николай Степанович ездил в город, почти каждый раз привозил 1–2 книжечки и говорил, что хочет иметь в своей библиотеке все русские стихи. Не мог равнодушно видеть их у букинистов».

<…> Полки со стихами. На полке – избранные модернисты (Сологуб, Брюсов и др.). Тут же стояли книжки Ахматовой и Гумилева.

АА, улыбнувшись: «Когда я на Колю сердилась, я вынимала его книги с этой полки и ставила на другую, а на других были сотни книг – из тех, которые присылались в „Аполлон“ для отзыва, и т. п. – всякой дребедени».

Узкие и высокие полки, на которых стояли Брокгауз и Эфрон и классики.

Диваны, которые Николай Степанович называл «тахтами». Над высоким диваном висел портрет Жореса (?).

Стол круглый, коричневый. Обои – коричневые и занавески коричневые на окнах… Полки – светлые, полированные… «Кресло там было кожаное, огромное… два, кажется, кресла было, кажется, я там одно пририсовала от своих щедрот…» [16; 120–122]

Сергей Константинович Маковский:

Молодые занимали четыре комнаты – в нижнем. Чтобы попасть на их половину, надо было пройти довольно большую пустынную гостиную (с окнами на улицу и на двор), где никто не засиживался. Первая комната, библиотека Гумилева, была полна книг, стоящих на полках и всюду набросанных. Тут же – широкий диван, на котором он спал. Рядом в темно-синей комнате стояла кушетка Ахматовой. В третьей, выходившей окнами во двор, висели полотна Александры Экстер, подарки ее Гумилеву. В этой комнате стояла мебель стиль-модерн, в остальных – старосветская мебель красного дерева. <…> Четвертая комната, окнами тоже во двор, служила Гумилеву рабочим кабинетом: мне запомнился поместительный письменный стол и стены, сплошь покрытые «абиссинскими

картинами», среди которых были навешаны широкие браслеты слоновой кости [9; 375–376].

Анна Андреевна Гумилева:

После своего второго путешествия в Африку Коля внес в дом много экзотики, которая ему всегда нравилась. Свои комнаты он отделал по своему вкусу и очень оригинально.

Вспоминается мне наша чудная библиотека, между гостиной и Колиной комнатой. В библиотеке вдоль стен были устроены полки, снизу доверху наполненные книгами. В библиотеке во время чтения было принято говорить шепотом. Для поэта библиотека была святая святых, и он не раз повторял, что надо держать себя в ней как в настоящей библиотеке. Посредине находился большой круглый стол, за которым читающие чинно сидели [9; 422–423].

Анна Андреевна Гумилева:

(В 1913 г. – Сост.) Царскосельский дом обогатился чудным экземпляром – большой стоячей черной пантерой. Эту огромную пантеру, черную, как ночь, с оскаленными зубами, поставили в нишу между столовой и гостиной, и ее хищный вид производил на многих прямо жуткое впечатление. Коля же всегда ею любовался [9; 427].

Слепнево

Сергей Константинович Маковский:

Слепнево никакими деревенскими красотами не отличалось. Скромная усадьба: дом деревянный обычного типа во вкусе бесстильных построек конца прошлого века. Терраса садового фасада выходила на круглую поляну, посреди рос высокий дуб… «Единственного в этом парке дуба…» – писала Ахматова. Старый парк был окружен земляным валом. По боковой стороне его шла дорога. В одном направлении вела она в Борисково Кузьминых-Караваевых, в другом – в Подобино к Неведомским. За дорогой, отдельно от парка, огород и фруктовый сад [9; 370].

Петроград, ул. Преображенская, 5

Всеволод Александрович Рождественский:

Как сейчас вижу эту комнату на Преображенской ул. (ныне ул. Радищева) – большую и неуютную. Посередине квадратный

стол, против него полка с книгами, с другой стороны широкий и низкий диван, а над ним распластанная на стене шкура леопарда – охотничий трофей неутомимого путешественника. Во всей обстановке чувствуется, что это жилье временное, что хозяин готов каждую минуту сняться с места для дальних путей [20; 422].

Ольга Николаевна Гильдебрандт-Арбенина:

Я хорошо помню квартиру Гумилева, проходную столовую и кухню (парадный ход был закрыт, – на ул. Радищева), на кухне – увы! – водились тараканы, он их панически боялся (мой отец, по словам мамы, панически боялся пауков; а я – только змей). Но мы там только проходили, а в большой «летней» комнате стоял мольберт с портретом Гумилева работы Шведе – удачный – с темным, почти коричневым лицом, среди скал (я думаю, Абиссиния), с красным томиком в его красивой руке. Там было 2 окна и зеленый диван около дверей.

Я не особенно помню, где у него (в обеих комнатах) были книги, но в передней (между комнатами) стояло кресло, и он часто (в конце зимы, и потом осенью) топил печку [20; 451].

Дориана Филипповна Слепян:

Однажды Николай Степанович, гуляя со мной, уговорил меня зайти к нему домой. Жил он тогда на Преображенской улице. Дверь он отворил своим ключом и через захламленную прихожую мы прошли в его комнату, в которой он, по-видимому, спал и работал.

Меня удивила ее обстановка: сборная мебель… Из-за ширмы виднелась никелированная кровать мещанского вида, а над ней – на стене, резко контрастирующая, распластанная шкура леопарда. На старинном комоде красного дерева стояло много интереснейших, уникальных вещей – реликвий, вывезенных им вместе со шкурой леопарда из его африканских путешествий. Я в тот вечер с особенным восхищением слушала его увлекательные рассказы о каждой вещи и о его приключениях. Рассказывал он очень ярко, образно, рисуясь и несколько хвастливо… [12; 198]

Георгий Владимирович Иванов:

В своей квартире, на Преображенской, Гумилев сидел по большей части в передней. По советским временам парадная была закрыта, и из передней вышел уютный маленький кабинет. Там над диваном висела картина тридцатых годов, изображавшая семью Гумилевых в гостиной. Картинка была очень забавна, особенно мил был какой-то дядюшка, томно стоявший за роялем.

Он был без ног – художник забыл их нарисовать. Гумилев охотно рассказывал историю всех изображенных.

Гумилев любил там сидеть у круглой железной печки, вороша угли игрушечной саблей своего сына. Тут же на полке стоял большой детский барабан.

– Не могу отвыкнуть, – шутил Гумилев, – человек военный, играю на нем по вечерам.

В квартире водилась масса крыс.

– Что вы, что вы, – говорил Гумилев, когда ему давали советы, как от крыс избавиться, – я, напротив, их развожу на случай голода. Чтобы их приручить, я даже иногда приятельски здороваюсь со старшей крысой за лапу [9; 470].

1921. Комната в Доме искусств в Петрограде

Ирина Владимировна Одоевцева:

Гумилев решил перебраться в Дом искусств. В бывшую баню Елисеевых, роскошно отделанную мрамором. С потолком, расписанным амурами и богинями. Состояла она из двух комнат. У Гумилева был свой собственный «банный» кабинет.

– Я здесь чувствую себя древним римлянином. Утром, завернувшись в простыню, хожу босиком по мраморному полу и философствую, – шутил он.

Жить в Доме искусств было удобно. Здесь Гумилев читал лекции, здесь же вместе с Аней и питался в столовой Дома искусств [23; 77].

Ирина Владимировна Одоевцева:

В предбаннике, разрисованном в помпейском стиле, стояла статуя Родена «Поцелуй», в свое время сосланная сюда тогдашней целомудренной владелицей елисеевских хором за «непристойность» и так и забытая здесь новыми хозяевами [23; 139].

Муж

Анна Андреевна Ахматова. *В записи П. Н. Лукницкого:*

Николай Степанович всегда был холост. Я не представляю себе его женатым [16; 162].

Николай Степанович Гумилев. *В записи О. А. Мочаловой:*

Никогда не ношу обручального кольца. Это – сковы… [22; 281]

Ирина Владимировна Одоевцева:

Гумилев не был создан для семейной жизни. Он и сам сознавал это и часто повторял:

– Проводить время с женой так же скучно, как есть отварную картошку без масла [23; 77].

Родные и близкие

Гумилевы

Орест Николаевич Высотский *(1913–1992), внебрачный сын Н. С. Гумилева и О. Н. Высотской, биограф поэта:*

Чтобы разобраться в происхождении Гумилева, пришлось обратиться в Рязанский государственный архив, размещенный в кремле. Здесь и отыскали толстую книгу с пожелтевшими шершавыми листами, исписанными поблекшими от времени чернилами мелким, тонким почерком. В книгу вписаны все крещенные в Христорождественской церкви села Желудева в далеком 1836 году. А вот и нужная нам запись: «Двадцать осьмого июля у дьячка Якова Федотова и его законной жены Матрены Григорьевой родился сын Стефан, крещен он был второго августа священником Алексеем Васильевым Городновским и диаконом Димитрием Васильевым, восприемники: Рязанский цеховой Иуда Артамонов и помещика Михаила Иванова Смольянинцева дочь, девица Александра Михайловна». Ни фамилии родителей Стефана, ни их возраста не указано.

<…> Священником Христорождественской церкви села Желудева Спасского уезда с 1790 года тридцать лет служил Григорий Прокопьевич Гумилев. Были у него сын Федор, родившийся в 1797 году, и дочь Матрена, 1800 года рождения. Федор Григорьевич закончил духовную семинарию в Рязани, женился на Февронии Ивановне и имел от нее двух сыновей: Николая и Сергея, впоследствии ставших преподавателями семинарии. Дочь, Матрену Григорьевну, выдали замуж за дьячка Христорождественской церкви Якова Федотовича, сына дьякона. Яков Федотович родился в 1790 году, в декабре 1813 года был определен на место дьячка. В архивных документах 1833 года он назван по имени и отчеству, но без фамилии, в записи 1845 года он назван Яковом Федотовичем Гумилевым, а в записи 1851 года – Яковом Федотовичем Пановым.

В 1820 году Григорий Прокопьевич умер, и приход по наследству получил его сын, Федор Григорьевич, шурин дьячка Якова Федотовича. Скончался отец Федор в 1835 году, умер к тому времени и дьякон Федот Панов.

У Якова Федотовича и Матрены Григорьевны было не шестеро детей, как сообщают некоторые биографы, а семеро. Старший был сын Василий, он родился в 1820 году, в 13 лет поступил в Скопинское уездное училище, но дальнейшая его судьба неизвестна. Второй сын, Александр, который был на три

года моложе брата, по окончании духовной семинарии стал священником, с 1844 года был в ней преподавателем. Третьим ребенком была Прасковья, за ней – Григорий, Александра и сын Стефан, ставший отцом Николая Гумилева. Последним ребенком была Пелагея, она родилась, когда отцу шел 52-й год, а матери – 42-й.

Живя в Рязани, священник Александр Яковлевич воспитывал младшего брата Стефана, пока тот учился в семинарии. У самого Александра было трое детей: Александр, Людмила и Софья.

Таким образом, нет сомнения, что Яков Федотович и Матрена Григорьевна – родные дед и бабушка Николая Степановича, священники Николай и Сергей – его дяди, а Александр, Людмила и Софья – двоюродные брат и сестры [9; 13–14].

Львовы

Орест Николаевич Высотский:

Предки Николая Степановича Гумилева по женской линии все были мелкопоместные дворяне, мужчины служили в армии и участвовали в войнах. В России фамилия эта распространена широко: были князья Львовы, были Львовы – ученые, академики, писатели, архитекторы, революционеры и реакционеры. Вероятно, в отдаленные времена у многих из них имелись общие корни, но роды давно уже разделились и обособились. <…>

В начале XVIII века в селе Васильевском Старицкого уезда Тверской губернии жил дворянин Василий Васильевич Львов. Поместье было крошечное, Львов владел всего-навсего 32 крепостными мужиками. Сын его Лев в 90-х годах женился на Анне Ивановне, дочери помещика Ивана Федоровича Милюкова, в приданое за ней дано было сельцо Слепнево Бежецкого уезда Тверской губернии, в котором, как значится в документе 1842 года, «движимого имения находится… шестьдесят четыре мужеска полу душ».

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что прадедом и прабабушкой поэта Гумилева со стороны матери были Лев Васильевич и Анна Ивановна Львовы.

Лев Васильевич родился в 1764 году. 1 мая 1770 года шестилетним ребенком, провожаемый слезами матери, няньки и прочих домочадцев, был увезен из родительского дома и отдан в Сухопутный шляхетский кадетский корпус.

Желая содействовать правильному воспитанию в русском обществе, Екатерина Великая лучшим для этого средством считала воспитать «новую породу или новых отцов и матерей», которая должна была вырасти в воспитательных училищах под надзором опытных педагогов, в разобщении с семьей и обществом, дабы уберечь молодежь от вредного влияния окружающей среды. Разумеется, такому воспитанию подлежали только дети дворян, и с 1764 года в России были учреждены кадетские корпуса. Целых пятнадцать лет юного Львова муштровали в таком корпусе, и наконец в феврале 1785 года он был направлен в артиллерийский полк в чине поручика.

Через два года возобновилась война с Турцией, и молодой офицер уехал в действующую армию. Он участвовал в штурме Очакова и за проявленную храбрость был произведен в капитаны. Он отличился и при взятии крепости Измаил. Армией командовал Суворов. Вполне возможно, что Лев Васильевич видел фельдмаршала, а может быть, даже говорил с ним.

С окончанием войны Львов был уволен от службы в чине секунд-майора и через несколько лет женился на Анне Ивановне Милюковой, поселившись в Слепневе, ставшем с тех пор родовым имением Львовых. Но Лев Васильевич не ушел в отставку, а целых семнадцать лет, до апреля 1808 года, служил пятисотенным начальником в подвижном земском войске, за что был награжден золотой, на Владимирской ленте, медалью. Он был избран судьей Бежецкого уездного суда, оставался в этой должности с 1809 по 1812 год. Умер Лев Васильевич 10 января 1824 года, оставив вдову и двух сыновей.

Старший, Константин, родился в 1803 году, был мичманом на флоте, но умер, не прожив и сорока лет, в 1842 году.

Младший, Иван, родной дед поэта Гумилева со стороны матери, родился в Слепневе 6 октября 1806 года. Четырнадцатилетним подростком его отдали в морской кадетский корпус. Трудно сказать, почему уроженцы далеких от моря губерний стали моряками.

В мае 1824 года Иван Львович был выпущен из кадетского корпуса гардемарином, а в марте 1827 года произведен в мичманы и направлен в третий флотский экипаж в Кронштадт. Плавал он на парусных корветах и фрегатах, пять раз бывал в дальних походах, «кампаниях», как тогда говорили, длившихся по полгода.

В 1828 году опять началась война с Турцией. Поводом на этот раз было восстание в Греции против турецкого ига, и Россия пришла на помощь порабощенным единоверцам. Мичман Львов на корабле с моря участвовал в сражениях у крепостей Анапа и Варна. В следующем году под стенами крепости Пендраклия принял бой, в котором был сожжен 60-пушечный турецкий корабль, а возле крепости Акчесар потоплен 26-пушечный вражеский корвет. Затем Львов принимал участие в блокаде и взятии городов Месемерии и Мидии.

За храбрость и отличие в боях Иван Львов был награжден орденом Святой Анны 3-й степени с бантом.

По мирному договору, заключенному с Турцией в 1829 году, Россия приобрела левый берег нижнего Дуная, а княжества Валахия, Молдавия и Сербия освободились от турецкого ига и стали под покровительство России.

За участие в войне Иван Львович получил серебряную медаль на Георгиевской ленте и 14 февраля 1834 года был уволен со службы в чине лейтенанта.

Проведя молодость в морских походах и сражениях, Иван Львович, как когда-то его отец, как множество таких же мелкопоместных дворян, поселился в своем родовом Слепневе.

Имение было маленькое, в деревушке насчитывалось не больше сорока изб с ригами, амбарами, хлевами да барский бревенчатый дом с мезонином среди берез и нескольких дубов; и тут же маленький пруд, густо покрытый ряской, с желтыми кувшинками и водяными лилиями.

Вскоре по возвращении домой Иван Львович женился на Юлии Яковлевне Викторовой, дочери помещика Курской губернии, девушке, лет на 16 моложе Львова. Но прежде чем говорить об этой новой семье, надо сказать еще об одном прадеде Гумилева со стороны матери – о Якове Алексеевиче Викторове.

Молодой офицер Викторов участвовал в Аустерлицком сражении, был тяжело ранен и вынесен на руках своим верным денщиком Павликом, который и привез барина в родовое имение Викторовку Старо-Оскольского уезда.

Оправившись от ранения, Яков Алексеевич не вернулся на службу, а остался в своем имении до самой смерти. Он рано овдовел и после замужества дочери жил со своими внучками – Агатой и Аней Львовыми. Старшая, Агата, вела домашнее хозяйство, а на обязанности Ани лежало чтение вслух газет, причем дедушка требовал, чтобы она читала честно – все, от доски до доски. Он имел хорошую пенсию, за которой раз в три месяца ездил в Старый Оскол. Иногда во двор усадьбы заезжали венгерцы в расшитых черными шнурами безрукавках и мягких сапогах, они продавали пряности, духи, пудру, даже браслеты, перстни и дорогие меха. Дедушка покупал все, что хотелось внучкам, и обязательно шелковой материи на «смертный» халатик для себя, причем выбирал самые яркие цвета, так как зрение у него было испорчено.

Мало-помалу он впал в детство, и когда его спрашивали, сколько ему лет, всегда отвечал: «Без двух девяносто», хотя было уже, вероятно, больше ста. Павлик, такой же старый, как и его барин, все время сидел в людской на печке, и когда зашедший туда Яков Алексеевич спрашивал: «А что, Павлик, какая нонче погода?» – неизменно отвечал: «Поземная поперла», хотя на дворе светило солнце.

Дожив до глубокой старости, Яков Алексеевич интересовался решительно всем, но особенно много думал о собственной смерти. У него было множество «смертных» халатов, которым время от времени он делал смотр, примерял на себя или посылал халатик в подарок соседу-покойнику, а то и больному. Гроб он тоже велел для себя сделать заранее и примерялся, удобно ли в нем будет лежать. Однажды ему захотелось услышать, как его станут отпевать, и он страшно обиделся, когда священник отказал ему в этом.

– Вот, – говорил он, всхлипывая, – до чего я дожил, и панихиду по мне не хотят петь.

Пришлось, чтобы его успокоить, отпеть умершего в это время одного из дворовых, тоже Якова. Отпевание было очень торжественное, со свечами и певчими, чувствительные бабы плакали в голос, и дедушка остался очень доволен.

После смерти Якова Алексеевича внучки продали доставшееся им в наследство имение, отложив деньги на будущие свадьбы.

Но возвратимся к рассказу об Иване Львовиче Львове. После военной службы он еще несколько лет служил в Москве директором какого-то училища, как о том сообщает А. С. Сверчкова, и вышел в отставку в чине коллежского асессора.

Был Иван Васильевич высокий, худощавый мужчина с тонкими чертами лица и слегка вьющимися волосами, по натуре очень добрый, но страшно вспыльчивый. Он мог раскричаться из-за пустяка, хлопнуть дверью, а через полчаса как ни в чем не бывало улыбаться и разговаривать. В семье со смехом вспоминали, как, собираясь в пасхальную ночь к заутрене в Градницы, он так горячился и торопил всех, что дочь Агата впопыхах надела новое платье наизнанку и обнаружила ошибку, только приехав в церковь. По вечерам, усевшись в мягкое кресло, любил Иван Васильевич вспоминать о былых походах и морских сражениях. В его кабинете по стенам висели карты с нанесенными на них пунктирами его походов, в шкафу стояли книги с лоциями морей и океанов, описанием боевых кораблей и дальних плаваний.

Как пишет Сверчкова, Ивана Львовича очень любили за его доброту и справедливость. Когда он скончался, крестьяне все восемь верст до Градницы несли гроб на руках, не позволяя поставить на катафалк.

После кончины мужа Юлия Яковлевна осталась хозяйкой имения. Она была тихая старушка, любила кутаться в большую шаль, вечерами, сидя у лампы, вязала из шерсти носки и варежки, по воскресеньям на паре лошадей ездила к обедне в Градницы. В доме, в людской, постоянно жили прохожие, нищие или просто богомольцы, идущие к святым местам. Хотя после отмены крепостного права вести хозяйство стало трудно – в некоторых усадьбах были волнения крестьян, даже поджоги, – но в Слепневе все обошлось спокойно. В 1880 году Юлия Яковлевна тихо скончалась.

У Львовых было пятеро детей: два сына и три дочери [9; 15–21].

Отец
Степан Яковлевич Гумилев

Орест Николаевич Высотский:

Степан Яковлевич в 1850 году поступил в Рязанскую духовную семинарию и «по окончании полного курса среднего отделения вследствие его прошения для продолжения ученья в светском учебном заведении, при согласии его родителей, был уволен из училищного ведомства». В 1856 году двадцатилетний семинарист Гумилев поступил на медицинский факультет Московского университета. Выходец из бедной семьи, Гумилев старательно учился и получил право на государственное содержание, то есть бесплатное обучение и стипендию.

В это время в Желудеве скончался его отец, и студенту пришлось помогать матери деньгами. Продолжая учение, надо было найти заработок. По рекомендации университетского товарища Степан Яковлевич получил место репетитора в семье члена губернского суда Некрасова и начал давать уроки его дочери за стол и комнату. Для получения прав на репетиторство требовалось выдержать экзамен; в 1858 году Гумилев был аттестован на звание школьного учителя. <…>

10 июня 1861 года Гумилев окончил полный курс университета, получил звание лекаря и уездного врача и был определен на службу младшим врачом во флотский экипаж. Скромно отпраздновав свадьбу, молодая чета уже 30 августа поселилась в Кронштадте.

Началась новая жизнь. Корабельный врач плавал то на фрегате «Пересвет», то на корабле «Император Николай I», то на «Князе Пожарском», то на «Варяге». <…>

Пять лет спустя Степан Яковлевич проводил отпуск с дочерью в Москве, куда приехал его давний приятель, капитан первого ранга Лев Иванович Львов с женой и младшей сестрой Анной Ивановной. Гумилев посватался к девушке, предложение было принято, и 6 октября 1876 года они обвенчались в селе Градницы [9; 24–27].

Анна Андреевна Гумилева:

Будучи совсем молодым, С. Я. женился на болезненной девушке, которая скоро скончалась, оставив ему трехлетнюю девочку Александру. Вторым браком С. Я. женился на сестре адмирала Л. И. Львова, Анне Ивановне Львовой. Хотя разница лет была и большая – С. Я. было 45 лет, а А. И. 22 года, – но брак был

счастливый. После свадьбы молодые поселились в Кронштадте. Позднее, когда С. Я. вышел в отставку, семья Гумилевых переехала в Царское Село, где Коля и его брат провели свое раннее детство [9; 414].

Орест Николаевич Высотский:

Степан Яковлевич, прослужив на флоте 26 лет, был награжден двумя орденами Святого Станислава, орденом Святой Анны и вышел в отставку в 1887 году в чине статского советника. Он часто болел, не терпел в доме шума, смеха, суеты. Иногда по вечерам собирались сослуживцы, допоздна играли в преферанс или винт, но это не прибавляло в доме веселья [9; 28].

Ольга Людвиговна Делла-Вос-Кардовская. *В записи Л. В. Горнунга:*

Отца Николая Степановича мы не знали. В течение многих лет он болел какой-то хронической болезнью и был прикован к постели. С этим мирились как с неизбежностью. Он лежал в отдельной комнате, и когда из нее выходили, то говорили совершенно спокойно, стараясь поддерживать в семье бодрый, жизнерадостный дух. Однако присутствие тяжелобольного в семье Гумилевых чувствовалось постоянно.

Судьба сына, видимо, крайне волновала родителей, так как между ними на этот счет очень часто происходили длительные споры. Отец хотел, чтобы сын прежде всего закончил университет и затем избрал себе какой-либо вид научной деятельности. Литературное поприще казалось ему недостаточно серьезным и мало обеспеченным. Ему не нравилось также, что сын, не получив необходимого русского образования, уехал учиться в Сорбонну и хочет стать поэтом [10; 188–190].

Ольга Николаевна Гильдебрандт-Арбенина:

Он всегда очень почтительно говорил о своей матери (редко, правда, мы говорили), но как-то вспомнил о легкомыслии своего отца, который как-то советовал ему и старшему брату Дмитрию не очень строго смотреть на хорошенькие лица, потому что «иногда дурнушка окажется очень приятной» (слов, точно, не помню) [20; 457].

Анна Андреевна Гумилева:

Ранней весной 1910 года С. Я. (Гумилев, отец. – Сост.) скончался. После его смерти жизнь в семье Гумилевых сильно изменилась даже внешне. Отцовский кабинет перешел Коле, и он в нем все переставил по-своему. Как часто добрые по существу

люди бывают подчас неделикатны и даже эгоистичны! Помню, не прошло и семи дней, как пришла ко мне в комнату расстроенная А. И. (Анна Ивановна, мать. – Сост.) и жаловалась на Колину нечуткость. «Не успели отца похоронить, – говорила она, – как Коля стал устраиваться в его кабинете. Я его прошу подождать хоть две недели, мне же это слишком тяжело! А он мне отвечает: я тебя, мамочка, понимаю, но не могу же я постоянно работать в гостиной, где мне мешают. Дмитрий и Аня так часто и надолго приезжают, что мне всегда приходится уступать им свой кабинет». Без ведома А. И. я сейчас же пошла убеждать Колю повременить, но мои доводы на него не подействовали, он только посмеялся над моей сентиментальностью [9; 420].

Мать
Анна Ивановна Гумилева

Орест Николаевич Высотский:

Анне Ивановне было 22 года. Трудно сказать, что побудило богатую и красивую девушку выйти за корабельного врача, сорокадвухлетнего вдовца, имевшего семилетнюю дочь. В самом деле, Анна Ивановна была хороша собой: стройная, с красивым овалом лица и большими серыми глазами. Такой она выглядит на большом овальном портрете, сохранившемся в семейном архиве.

Получив только домашнее воспитание с гувернанткой, Анна Ивановна свободно говорила по-французски, много читала, любила романы Жорж Санд. Она была совершенно лишена кокетства, не ездила на балы, всегда оставалась спокойна, выдержанна, уравновешенна. В семье она была последним ребенком, при ее рождении Льву Ивановичу шел 49-й год, матери было 40. Может быть, это сказалось и на характере дочери.

Выйдя замуж за Степана Яковлевича, она вся погрузилась в домашнее хозяйство, заботясь о детях и муже, страдавшем от ревматизма, полученного в многочисленных плаваниях. Анна Ивановна убеждала всех, и в первую очередь себя, что прожила жизнь счастливо, и в семье все хорошо [9; 27].

Анна Андреевна Гумилева:

Анна Ивановна, мать поэта, была родом из старинной дворянской семьи. Родители ее были богатые помещики. Свое детство, юность и молодость А. И. провела в родовом гнезде Слепневе Тверской губ. А. И. была хороша собой – высокого роста, худощавая, с красивым овалом лица, правильными чертами и большими добрыми глазами; очень хорошо воспитанная и очень начитанная. Характера приятного; всегда всем довольная, уравновешенная, спокойная. Спокойствие и выдержанность перешли и к сыновьям, в особенности к Коле. Вскоре после выхода замуж А. И. почувствовала себя матерью, и ожидание ребенка преисполнило ее чувством радости. Ее мечтой было иметь первым ребенком сына, а потом девочку. Желание ее наполовину исполнилось, родился сын Димитрий. Через полтора года Бог дал ей и второго ребенка. Мечтая о девочке, А. И. приготовила все приданое для малютки в розовых тонах, но на этот раз ее ожидание было обмануто – родился второй сын Николай, будущий поэт [9; 414–415].

Ольга Людвиговна Делла-Вос-Кардовская. *В записи Л. В. Горнунга:*

Это была умная и чуткая женщина, гордившаяся литературными опытами сына. Она много рассказывала нам о нем и показывала его стихи. По-видимому, между матерью и сыном была большая дружба [10; 188].

Анна Андреевна Гумилева:

Когда по вечерам вся семья оставалась дома, после обеда мать любила брать сыновей под руку и ходить взад и вперед по гостиной; тут сыновья очень трогательно оспаривали друг у друга, кто возьмет мамочку под руку, а кто обнимет. Обычно после долгого торга мать, улыбаясь, сама разрешала спор – одного возьмет под руку, а другого обнимет, и все трое маршировали по комнате, весело разговаривая. Но редко приходилось нам проводить вечера «уютным кустиком», как говорил Коля; обыкновенно кто-нибудь нарушал нашу семейную идиллию [9; 422].

Первая жена Анна Андреевна Ахматова (1910–1918)

Николай Степанович Гумилев. *В записи О. А. Мочаловой:*

Она такой значительный человек, что нельзя относиться к ней только как к женщине… [22; 280]

Анна Андреевна Гумилева:

А. А. Ахматова была высокая, стройная, тоненькая и очень гибкая, с большими синими, грустными глазами, со смуглым цветом лица. Она держалась в стороне от семьи. Поздно вставала, являлась к завтраку около часа, последняя, и, войдя в столовую, говорила: «Здравствуйте все!» За столом большею частью была отсутствующей, потом исчезала в свою комнату, вечерами либо писала у себя, либо уезжала в Петербург [9; 421].

Сергей Константинович Маковский:

Трещина в их любви обозначилась с первого года брака. Они были слишком «разные». В плане поэтическом, может быть, только дополняли друг друга, но в жизни… С отрочества Гумилев мнил себя «конквистадором». После поездки в Африку пышным цветом расцвели его экзотические восторги, и так хотелось ему увлечь жену мечтой о далеком волшебстве мира, о красоте пустынь под небом южного полушария с созвездием Креста и о первобытном человеке, божественно-сильном, неистертом так называемой цивилизацией, живущем в согласии с природой и ее тайнами. От Анны Андреевны он требовал поклонения себе и покорности, не допуская мысли, что она существо самостоятельное и равноправное. Любил ее, но не сумел понять. Она была мнительно-горда и умна, умнее его; не смешивала личной жизни с поэтическим бредом. При внешней хрупкости была сильна волей, здравым смыслом и трудолюбием. Коса нашла на камень [9; 375].

Николай Степанович Гумилев. *Из письма А. А. Ахматовой. Одесса, 9 апреля 1913 г.:*

Милая Аня, я знаю, ты не любишь и не хочешь понять это, но мне не только радостно, а и прямо необходимо по мере того, как ты углубляешься для меня как женщина, укреплять и выдвигать в себе мужчину; я никогда бы не смог догадаться, что от счастья и славы безнадежно дряхлеют сердца, но ведь и ты никогда бы не смогла заняться исследованием страны Галла

и понять, увидя луну, что она алмазный щит богини <…> Паллады. <…>

Целуй от меня Львеца (забавно, я первый раз пишу его имя) и учи его говорить «папа» [6; 284].

Анна Андреевна Ахматова:

Вернувшись в Царское Село, Коля написал мне два акростиха (они в моем альбоме) – «Ангел лег у края небосклона» и «Аддис-Абеба – город роз». В те же дни он сочинил за моим столиком «Из города Киева» – полушутка, полустрашная правда [4; 135].

Сергей Константинович Маковский:

Гумилев был еще «одержим» впечатлениями от Сахары и подтропического леса; с ребяческой гордостью показывал он свои «трофеи», вывезенные из «колдовской» страны: слоновые клыки, пятнистые шкуры гепардов и картины-иконы на кустарных тканях, некое подобие большеголовых романских примитивов. Только и говорил он об опасных охотах, о темнокожих колдунах, о крокодилах и бегемотах – там, в Африке, доисторической родине человечества, что висит «исполинской грушей» на дереве древней Евразии.

Анну Андреевну не очень увлекала эта экзотическая бутафория. На жизнь она смотрела проще и глубже. К тому же во время отсутствия мужа она сама выработалась в поэта вдохновенно-законченного, хоть и по-женски ограниченного собой, своею болью. Гумилев должен был признать право ее на звание поэта, но продолжал раздражаться все больше ее равнодушием к его конквистадорству. Никакой блеск собственных его рифм и метафор не помог убедить ее, что нельзя вить семейное гнездо, когда на очереди высокие поэтические задачи. Помощница нужна ему, нужен оруженосец, спутник верный, любовь самоотреченная нужна, а не женская, ревнивая, к себе самой обращенная воля. Что делать? Он даже готов покаяться, обуздать свой нрав, только бы чувствовать ее частью самого себя, воплощенной грезой своей… Но она безучастна, хотя еще любит его – чужда ему в завоеванной им славе [9; 376].

Ирина Владимировна Одоевцева:

– Анна Андреевна, – говорил мне Гумилев, – почему-то всегда старалась казаться несчастной, нелюбимой. А на самом деле – Господи! – как она меня терзала и как издевалась надо мной. Она была дьявольски горда, горда до самоуничижения. Но до чего прелестна, и до чего я был в нее влюблен!

Я уверена, что Ахматова была главной любовью Гумилева

и что он до самой своей смерти – несмотря на свои многочисленные увлечения – не разлюбил ее.

Уверенность моя основана на его рассказах о ней и, главное, на том, как он говорил о ней. Не только его голос, но даже выражение его лица менялось, когда он произносил ее имя. Я постоянно расспрашивала Гумилева об Ахматовой и задавала ему самые нелепые вопросы, вроде: любила ли она халву? Как она причесывалась еще гимназисткой? Хорошо ли она танцевала? Была ли у нее собственная собака? И даже: что вы подарили ей на Рождество в первый год свадьбы?

Он смеялся над моим неугомонным любопытством, но охотно отвечал, «погружался в прошлое». А о том, что он подарил Ахматовой на Рождество в первый год, рассказал даже очень подробно:

– Я купил у Александра на Невском большую коробку, обтянутую материей в цветы, и наполнил ее доверху, положил в нее шесть пар шелковых чулок, флакон духов «Коти», два фунта шоколада Крафта, черепаховый гребень с шишками – я знал, что она о нем давно мечтает – и томик «Les amours jaunes»[18] Тристана Корбьера.

Как она обрадовалась! Она прыгала по комнате от радости. Ведь у нее в семье ее не особенно-то баловали.

Когда я женился на Анне Андреевне (он почти всегда называл Ахматову Анна Андреевна, а не Аня), я выдал ей личный вид на жительство и положил в банк на ее имя две тысячи рублей, – продолжает он с плохо скрытым сознанием своего великодушия. – Я хотел, чтобы она чувствовала себя независимой и вполне обеспеченной [23; 295–296].

Надежда Александровна Тэффи:

Ахматова всегда кашляла, всегда нервничала и всегда чем-то мучилась.

Жили Гумилевы в Царском Селе в нестерпимо холодной квартире.

– Все кости ноют, – говорила Ахматова.

У них было всегда темно и неуютно и почему-то всегда беспокойно. Гумилев все куда-то уезжал, или собирался уезжать, или только что откуда-то вернулся. И чувствовалось, что в этом своем быту они живут как-то «пока» [9; 455].

Ирина Владимировна Одоевцева:

– Сколько лет прошло, а я и сейчас чувствую обиду и боль. До чего это несправедливо и подло. Да, конечно, были стихи, которые я не хотел, чтобы она печатала, и довольно много.

Хотя бы вот:

Муж хлестал меня узорчатым
Вдвое сложенным ремнем…

Ведь я, подумайте, из-за этих строк прослыл садистом. Про меня пустили слух, что я, надев фрак (а у меня и фрака тогда еще не было) и цилиндр (цилиндр у меня, правда, был), хлещу узорчатым вдвое сложенным ремнем не только свою жену – Ахматову, но и своих молодых поклонниц, предварительно раздев их догола.

Я не выдерживаю и хохочу, представляя себе эту нелепую картину.

Он круто останавливается.

– Смеетесь? А мне, поверьте, совсем не до смеха было. Я старался убедить ее, что таких выдумок нельзя печатать, что это неприлично – дурной вкус и дурной тон. И не следует писать все время о своих вымышленных любовных похождениях и бессердечных любовниках. Ведь читатели все принимают за правду и создают биографию поэта по его стихам. Верят стихам, а не фактам. И верят ей, когда она сознается, что

Боль я знаю нестерпимую –
Стыд обратного пути.
Страшно, страшно к нелюбимому,
Страшно к тихому войти…

то есть ко мне, к мужу, нелюбимому, тихому, хлещущему ее узорчатым ремнем. Но я ничего не мог поделать с ее украинским упрямством. Я только старался не заводить споров с ней при свидетелях. А она, напротив, жаловалась на меня многим, что я почему-то придираюсь к ее стихам.

Он проводит рукой по лбу.

– Никто не знает, как мне бывало тяжело и грустно. Ведь, кроме поэзии, между нами почти ничего не было общего. Даже Левушка не сблизил нас. Мы и из-за него ссорились. Вот хотя бы: Левушку – ему было четыре года – кто-то, кажется Мандельштам, научил идиотской фразе: «Мой папа поэт, а моя мама истеричка». И Левушка однажды, когда у нас в Царском собрался Цех поэтов, вошел в гостиную и звонко прокричал: «Мой папа поэт, а моя мама истеричка!» Я рассердился, а Анна Андреевна пришла в восторг и стала его целовать: «Умница Левушка! Ты прав. Твоя мама истеричка». Она потом постоянно спрашивала его: «Скажи,

Левушка, кто твоя мама?» – и давала ему конфету, если он отвечал: «Моя мама истеричка».

Она не только в жизни, но и в стихах постоянно жаловалась на жар, бред, одышку, бессонницу и даже на чахотку, хотя отличалась завидным здоровьем и аппетитом, и плавала как рыба, что при слабых легких никак невозможно, и спала как сурок – пушками не разбудишь [23; 302–303].

Николай Степанович Гумилев. *В записи по памяти И. В. Одоевцевой:*

Главное не объясняться. Никаких «я тебя», «ты меня», которые так любят женщины. Запомните это правило. Оно вам пригодится в жизни – никаких «выяснений отношений», в особенности любовных. Ах, если бы Ахматова не говорила с первого же года: «Николай, нам надо объясниться…» На это я неизменно отвечал: «Оставь меня в покое, мать моя!..» [23; 79]

Павел Николаевич Лукницкий. *Из дневника:*

Я: «В каком году вы отошли „физически“ от Николая Степановича?»

АА (Ахматова. – *Сост.*) ответила, что близки они были ведь очень недолго. «До 14 года – вот так приблизительно» [16; 162].

Ольга Николаевна Гильдебрандт-Арбенина:

Единственно, что они условились с Ахматовой сказать друг другу о своей первой измене. «Представьте себе, она изменила первая», – сказал он без всякой злости [20; 452].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Панихида по Гумилеву в часовне на Невском.

О панихиде нигде не объявляли. И все-таки часовня переполнена. Женщин гораздо больше, чем мужчин.

Хорошенькая заплаканная Аня беспомощно всхлипывает, прижимая платок к губам, и не переставая шепчет: «Коля, Коля, Коля, Коля. Ах, Коля!» Ее поддерживают под руки, ее окружают.

Ахматова стоит у стены. Одна. Молча. Но мне кажется, что вдова Гумилева не эта хорошенькая, всхлипывающая, закутанная во вдовий креп девочка, а она – Ахматова [23; 306].

Вторая жена Анна Николаевна Энгельгардт (1919–1921)

Орест Николаевич Высотский:

Анна Николаевна была девятью годами моложе Гумилева. Она происходила из семьи ученых и литераторов. Ее дед, Александр Николаевич Энгельгардт, профессор Петербургского лесного института, народник и аграрник, был автором знаменитых «Писем из деревни». Отец, Николай Александрович, составил «Историю литературы XIX века» и сочинял исторические романы. Мать Ани первым браком была за поэтом Бальмонтом, от которого у нее был сын.

Анна Николаевна окончила частную гимназию Лохвицкой-Сколон, ничем серьезно не увлекалась, ее не интересовала постоянно звучавшая в доме музыка, зато читала она много, хотя бессистемно. Нравились ей романы Пшибышевского и д'Аннунцио, скандальный «Санин» М. Арцыбашева кружил голову и пугал своей декадентской пряностью. Была Аня непосредственна, не по летам наивна, по-детски доверчива и неожиданно обидчива.

Может быть, эти черты характера сложились под влиянием обстановки, царившей в семье. У отца было тяжелое нервное заболевание, и когда наступал период депрессии, он по неделям не покидал своего кабинета, жестоко страдая. А мать без всякого повода ревновала мужа, в доме происходили дикие скандалы с истерическими криками. Сводный брат, студент университета, был нервным, неуравновешенным и кончил свои дни шизофреником.

У Ани были подруги, но ни с кем не было близости; больше она дружила с Лилей Брик. Все они были поголовно заражены декадентством [9; 230].

Александр Николаевич Энгельгардт, *брат А. Н. Энгельгардт:*

Сестра Аня, закончив гимназию, окончила также курсы сестер милосердия и стала работать в военном госпитале, находившемся на нашей же улице. Она очень похорошела, и ей очень шел костюм сестры милосердия с красным крестом на груди. Она любила гулять в Летнем саду или в этом костюме, или в черном пальто и шляпке, с томиком стихов Анны Ахматовой в руках, привлекая взоры молодых людей. Она тогда еще не знала, что в будущем ее будут называть соседи в Доме искусств: «Анна

вторая» [16; 207].

Юлиан Григорьевич Оксман:

В. М. Жирмунский очень убедительно рассказывал <…> о том, что роман Гумилева с А. Н. Энгельгардт начался до отъезда за границу, примерно ранней осенью 1917 г. Он познакомил Гумилева и Анну Ник. на своем докладе в Пушкин<ском> Общ<естве> о Брюсове и «Египет<ских> ночах» (ведь нетрудно установить эту дату). На этом докладе якобы была и А. А. Ахматова с Шилейко.

Анна Ник. – была глупа и капризна. Ее мать была первым браком замужем за Бальмонтом.

Значит, Гумилев спешил вернуться в феврале 1918 г. не к Анне Андр., а к А. Н. Энг<ельгардт> [13; 175].

Всеволод Александрович Рождественский:

В начале зимы 1920 года Гумилев женился на А. Н. Энгельгардт, миловидной, но очень недалекой девушке, мало интересовавшейся основным делом его жизни. Он был подчеркнуто внимателен к ней, всюду водил ее с собой и боялся только ее неожиданных и действительно иногда ставящих в тупик суждений. «Ты, Аня, лучше помолчи! Когда ты молчишь, ты становишься вдвое красивее». Жил он теперь в «Доме искусств». Здесь ему было суждено стать счастливым отцом. Я как-то постучал к нему в комнату. Он открыл дверь и еще на пороге сказал каким-то особо торжественным голосом: «Поздравь меня. У меня родилась дочь». И добавил: «Я хочу назвать ее Еленой в честь самой красивой женщины на земле, из-за которой греки осаждали Трою» [20; 424–425].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Аня Энгельгардт приезжала раз в год на несколько дней к мужу – рассеяться и подышать петербургским воздухом.

«Рассеяться» ей, бедной, действительно было необходимо. Она жила в Бежецке у матери и тетки Гумилева, вместе с дочкой Леночкой и Левой, сыном Гумилева и Ахматовой.

Гумилев не раз вспоминал при мне, как она в ответ на его вопрос – хочет ли она стать его женой? – упала на колени и всхлипнула: «Я не достойна такого счастья!»

Жизнь в Бежецке назвать «счастьем» никак нельзя было. Скорее уж там: «Было горе. Будет горе. Горю нет конца».

Аня Энгельгардт казалась четырнадцатилетней девочкой не только по внешности, но и по развитию.

Очень хорошенькой девочкой, с большими темными глазами

и тонкими, прелестными веками. Я никогда ни у кого больше не видела таких век.

В то июльское воскресенье 1920 года, когда она открыла мне кухонную дверь, я, хотя и знала, что к Гумилеву на три дня приехала его жена, все же решила, что эта стриженая девочка-ломака в белой матроске, в сандалиях и коротких чулках никак не может быть женой и матерью [23; 76].

Александр Николаевич Энгельгардт:

Она была страшно нервна, она во всем переоценивала себя, не способна была к настоящему труду, заражена была эдаким декадентством того времени, считая, что ее ждет какая-то особая судьба в искусстве, в котором она не могла себя проявить, так как была страшно обидчива, переоценивая себя, и не способна была переносить замечания в свой адрес. Все кончалось ее ссорами и обидами и отходом от нее окружавших ее людей. А в заключение – одиночество и ужасная смерть. <…>

Откровенно скажу, что Николай Степанович ошибся, избрав мою сестру. Он прельстился ее внешностью, но не учел, не узнал ее внутреннего содержания, которое передалось и его дочери Лене.

Мама всегда говорила, что Аня характером вышла в сестру отца: Веру Александровну Энгельгардт, которая обладала крайне тяжелым характером, и сестра очень походила на нее [20; 377–378].

Юлиан Григорьевич Оксман:

Анна Ахматова рассказывала: «Второй брак его тоже не был удачен. Он вообразил, будто Анна Ник. воск, а она оказалась – танк… Вы ее видели?»

Я сказал, что видел: очень хорошенькая, с кротким нежным личиком и розовой ленточкой вокруг лба.

– Да-да, все верно, нежное личико, розовая ленточка, а сама танк. Ник. Степанович прожил с ней какие-нибудь три месяца и отправил к своим родным. Ей это не понравилось, она потребовала, чтобы он вернул ее. Он ее вернул – и сам сразу уехал в Крым. Она очень недобрая, сварливая женщина, а он-то рассчитывал, наконец, на послушание и покорность…

<Ахматова>: «У меня в молодости был трудный характер. Я очень отстаивала свою внутреннюю независимость и была очень избалована. Но даже свекровь моя ставила меня потом в пример Анне Николаевне. Это был поспешный брак. Коля был очень уязвлен, когда я его оставила, и женился как-то наспех, нарочно, назло. Он думал, что женится на простенькой девочке, что она –

воск, что из нее можно будет человека вылепить. А она железобетонная. Из нее не только нельзя лепить – на ней зарубки, царапины нельзя провести [13; 175].

Со слов Александры Степановны Сверчковой:

Ася была мелочна, глупа, жадна и капризна. Во время голода 1920–21 гг. он прислал ее вместе с дочкой Леночкой в Бежецк и стал высылать миллионы на содержание жены и дочери, но Ася капризничала, требовала разнообразия в столе, а взять было нечего: картофель и молочные продукты, даже мясо с трудом можно было достать. Ася плакала, впадала в истерику, в то время как Леночка, стуча кулачком в дверь, требовала «каки», т. е. картофеля. Своими капризами Ася причинила Анне Ивановне много неприятностей и даже болезней. Чтобы получить от мужа лишние деньги, она писала ему, будто бы брала у Александры Степановны в долг и теперь по ее «неотступной» просьбе должна ей возвратить. Выяснилось, что все это выдумки, и Николай Степанович взял ее обратно в С<анкт>-П<етербург>.

Там она устроилась играть пажей в каком-то театре и танцевать [22; 237–238].

Вера Иосифовна Лурье:

Во время ареста Гумилева и после его расстрела ее приводили ко мне на квартиру. Она мечтала о сцене, произносила длинные монологи из каких-то пьес, мы старались ее всячески развлекать, но у меня осталось впечатление, что горя своего она полностью не сознавала [9; 560].

Со слов Александры Степановны Сверчковой:

«Знаешь, Шура, – сказала она в 1924 году Александре Степановне, приезжавшей туда на курсы, – когда я узнала о трагической смерти Коли, я даже плохо танцевала» [22; 238].

Ирина Владимировна Одоевцева:

То, что я ученица ее мужа, она никогда не забывала. И это иногда выражалось очень забавно.

Так, уже после расстрела Гумилева она, во время одного из моих особенно удачных выступлений, сказала:

– И все-таки я отношусь к Одоевцевой как королева. Ведь я вдова Гумилева, а она только его ученица [23; 77].

Сын Лев и дочь Елена

Павел Николаевич Лукницкий. *Из дневника:*

АА (Ахматова. – Сост.) и Николай Степанович находились тогда в Ц. С. (Царском Селе. – Сост.). АА проснулась очень рано, почувствовала толчки. Подождала немного. Еще толчки. Тогда АА заплела косы и разбудила Николая Степановича: «Кажется, надо ехать в Петербург». С вокзала в родильный дом шли пешком, потому что Николай Степанович так растерялся, что забыл, что можно взять извозчика или сесть в трамвай. В 10 ч. утра были уже в родильном доме на Васильевском острове.

А вечером Николай Степанович пропал. Пропал на всю ночь. На следующий день все приходят к АА с поздравлениями. АА узнает, что Николай Степанович дома не ночевал. Потом наконец приходит и Николай Степанович, с «лжесвидетелем». Поздравляет. Очень смущен [16; 136].

Сергей Константинович Маковский:

От его троюродного брата Д. В. Кузьмина-Караваева (в священстве отца Дмитрия) я слышал довольно жуткий рассказ об этой ночи. Будто бы Гумилев, настаивая на своем презрении к «брачным узам», кутил до утра с троюродным братом, шатаясь по разным веселым учреждениям, ни разу не справился о жене по телефону, пил в обществе каких-то девиц. По словам отца Дмитрия, все это имело вид неумно-самолюбивой позы, было желанием не быть «как все»… [9; 377]

Валерия Сергеевна Срезневская:

Знаю, как он звонил в клинику, где лежала Аня (самую лучшую тогда клинику профессора Отто, очень дорогую и очень хорошо обставленную, на Васильевском острове). Затем, по окончании всей этой эпопеи, заехал за матерью своего сына и привез их обоих в Царское Село к счастливой бабушке. <…>

Не думаю, что тогда водились чудаки-отцы, катающие колясочку с сыном, – для этого были опытные няни. И Коля был как все отцы, навещал своего сына всякий раз, когда это было возможно, и, конечно, был не хуже, если не лучше многих образцовых отцов [22; 242].

Анна Андреевна Гумилева:

Маленький Левушка был радостью Коли. Он искренне любил детей и всегда мечтал о большой семье. <…> Коля был нежным и заботливым отцом. Всегда, придя домой, он прежде всего

поднимался наверх, в детскую, и возился с младенцем. <…>

Когда Левушке было 7–8 лет, он любил с ним играть, и любимой игрой была, конечно, война. Коля с бумерангом изображал африканских вождей. Становился в разные позы и увлекался игрой почти наравне с сыном. Богатая фантазия отца передалась и Левушке. Их игры часто были очень оригинальны. Любил Коля и читать сыну и сам много ему декламировал. Ему хотелось с ранних лет развить в сыне вкус к литературе и стихам. Помню, как Левушка мне часто декламировал наизусть «Мика», которого выучил, играя с отцом. Все это происходило уже в Петербурге, когда мы жили вместе. Часто к нам приходили мои племянники и дети Чудовского. Вся детвора всегда льнула к доброму дяде Коле (так они его называли), и для каждого из них он находил ласковое слово. Помню, как он хлопотал и суетился, украшая елку, когда уже ничего не было и все доставалось с невероятными усилиями. Но он все же достал тогда детские книги, которыми награждал всю детвору. Удалось ему достать и красивую пышную елку. И веселились же дети, а смотря на них, и взрослые, в особенности сам Коля! [9; 423, 430]

Владислав Фелицианович Ходасевич:

(В 1918 году.) Когда Гумилев меня провожал в передней, из боковой двери выскочил тощенький, бледный мальчик, такой же длиннолицый, как Гумилев, в запачканной косоворотке и в валенках. На голове у него была уланская каска, он размахивал игрушечной сабелькой и что-то кричал. Гумилев тотчас отослал его – тоном короля, отсылающего дофина к его гувернерам. Чувствовалось, однако, что в сырой и промозглой квартире нет никого, кроме Гумилева и его сына [9; 539].

Николай Корнеевич Чуковский:

Не могу сейчас сообразить, было ли это рождество девятнадцатого или двадцатого года. Меня и сестру мою Лиду пригласили на елку к сыну Николая Степановича Леве. На этот раз в комнате было тепло, сверкала разукрашенная елка, в камине пылали настоящие дрова. Никого из гостей, бывших в этот вечер, я не запомнил. Вокруг елки бегал и прыгал семилетний Лева, сын Гумилева и Ахматовой, нисколько меня, пятнадцатилетнего балбеса, не интересовавший. Николай Степанович поглядывал на него с нежностью и торжественно сказал о нем:

– Это мой Гумильвенок! [29; 30]

Ирина Владимировна Одоевцева:

Мы уселись в кабинете перед камином. Он очень доволен своей поездкой и рассказывает мне о ней.

– Как быстро растут дети. Леночка уже большая девочка, бегает, шумит и капризничает. Она и Левушка, как две капли воды, похожи на меня. Они оба разноглазые.

«Разноглазые», то есть косые. Меня это скорее огорчало. Особенно Леночка. Бедная Леночка! А ее мать такая хорошенькая.

– Левушка очень милый и умный мальчик, а Леночка капризна. Знаете, мне иногда трудно поверить, что это мои дети, что я их отец. Отец – как-то совсем не приложимо ко мне. Совсем не подходит. Я хотел бы вернуться в детство [23; 57–58].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Весной 1921 года обнаружилось, что Анна Николаевна, как он подчеркнуто официально звал свою жену, почему-то не может продолжать жить в Бежецке и должна приехать в Петербург.

<…> Вместе с Аней приехала и Леночка.

– Можно с ума сойти, хотя я очень люблю свою дочку, – жаловался Гумилев. – Мне для работы необходим покой. Да и Анна Николаевна устает от хозяйства и возни с Леночкой.

<…> И тут Гумилев принял свое «соломоново решение». Он отдал Леночку в один из детдомов.

Этим детдомом, или, по-старому, приютом, заведовала жена Лозинского, его хорошая знакомая. Гумилев отправился к ней и стал ее расспрашивать, как живется детям в детдоме.

– Прекрасно. Уход, и пища, и помещение – все выше похвал, – ответила она. Она была одной из тех возвышенно настроенных интеллигенток-энтузиасток, всей душой преданных своему делу, – их было немало в начале революции. Гумилев улыбался.

– Я очень рад, что детям у вас хорошо. Я собираюсь привести вам мою дочку – Леночку.

– Леночку? Вы шутите, Николай Степанович? Вы хотите отдать Леночку в детдом? Я правильно поняла?

– Совершенно правильно. Я хочу отдать Леночку вам.

Она всплеснула руками:

– Но это невозможно. Господи!..

– Почему? Вы ведь сами сейчас говорили, что детям у вас прекрасно.

– Да, но каким детям? Найденным на улице, детям пьяниц, воров, проституток. Мы стараемся для них все сделать. Но Леночка ведь ваша дочь.

– Ну и что из этого? Она такая же, как и остальные. Я уверен, что ей будет очень хорошо у вас.

– Николай Степанович, не делайте этого! Я сама мать, – взмолилась она. – Заклинаю вас!

Но Гумилев только упрямо покачал головой:

– Я уже принял решение. Завтра же я привезу вам Леночку.

И на следующий день дочь Гумилева оказалась в детдоме.

Передавая мне этот разговор, Гумилев недоумевал.

– Как глубоки буржуазные предрассудки. Раз детям хорошо в детдоме, то и Леночке там будет хорошо. Смешно не пользоваться немногими удобствами, предоставленными нам. Тогда и хлеб и сахар по карточке брать нельзя – от большевиков.

Был ли Гумилев таким эгоистом? Таким бессердечным, жестоким, каким казался?

Нет, конечно, нет!

Он был добр, великодушен, даже чувствителен. И свою дочку Леночку очень любил. Он уже мечтал, как он будет с ней гулять и читать ей стихи, когда она подрастет.

– Она будет – я уверен – умненькая, хорошенькая и милая. А когда она влюбится и захочет выходить замуж, – говорил он со смехом, – я непременно буду ее ревновать и мучиться, как будто она мне изменила. Да, отцы ведь всегда ревнуют своих дочерей – так уж мир устроен [23; 77–78].

Донжуанский список

Лидия Аренс

Павел Николаевич Лукницкий. *Из дневника:*

14.11.1925. АА (Ахматова. – Сост.) много говорила сегодня об отношениях Николая Степановича к ней и о романах Николая Степановича с женщинами. Так, говорила о его романе с Лидой Аренс. В 1908 году, весной, вернувшись из Парижа и побывав по пути в Севастополе, у АА (где они отдали друг другу подарки и решили не переписываться и не встречаться), Николай Степанович в Царском Селе познакомился с Аренсами (то есть знакомство могло быть и раньше, но – сблизился). Зоя была неудачно влюблена в Николая Степановича, приходила даже со своей матерью в дом Гумилевых. Николай Степанович был к ней безразличен до того, что раз, во время ее посещения, вышел в соседнюю комнату, сел в кресло и заснул. Вера Аренс, тихая и прелестная, «как ангел», пользовалась большими симпатиями Николая Степановича. А Лида Аренс увлеклась Николаем Степановичем, и был роман; дело кончилось скандалом в семье Аренсов, так как Лида даже оставила дом и поселилась отдельно. Кажется, ее отец так и умер, не примирившись с ней, а мать примирилась чуть ли не в восемнадцатом году только.

АА не знает точно времени романа, но это – 1908 год, во всяком случае.

АА предполагает, что стихи «Сегодня ты придешь ко мне» и «Не медной музыкой фанфар» обращены к Лиде Аренс. <…>

В августе 1908 года АА приезжала и помнит, что Николай Степанович был с ней чрезвычайно мил, любезен, говорил ей о своей влюбленности и т. д.

АА сказала мне, что, кажется, думала о том, что этот роман с Лидой был в самом разгаре его признаний ей.

АА наверняка знает, что в 1903–1905 годах у Николая Степановича никаких романов ни с кем не было, что влюбленность его отдаляла его от романов [16; 64].

Елизавета Дмитриева (Черубина де Габриак)

Иоганнес фон Гюнтер *(Johannes von Guenther; 1886–1973), немецкий поэт, прозаик, драматург, переводчик. Из письма С. К. Маковскому:*

Она была среднего роста и достаточно полна. Большая голова и лицо бледное и некрасивое. Казалась, однако, очень обаятельной, когда делала шуточные замечания. И делала она их часто и была не только насмешлива, а владела хорошей дозой здорового юмора. В разговоре она бывала очень забавной [9; 412].

Елизавета Ивановна Дмитриева *(Черубина де Габриак, в замуж. Васильева; 1887–1928), поэтесса:*

…В первый раз я увидела Н. С. в июле 1907 года в Париже в мастерской художника Себастьяна Гуревича, который писал мой портрет. Он был еще совсем мальчик, бледное, мрачное лицо, шепелявый говор, в руках он держал небольшую змейку из голубого бисера. Она меня больше всего поразила. Мы говорили о Царском Селе, Н. С. читал стихи (из «Романтических цветов»). Стихи мне очень понравились. Через несколько дней мы опять все втроем были в ночном кафе, я первый раз в моей жизни. Маленькая цветочница продавала большие букеты пушистых гвоздик, Н. С. купил для меня такой букет, а уже поздно ночью мы все втроем ходили вокруг Люксембургского сада, и Н. С. говорил о Пресвятой Деве. Вот и все. Больше я его не видела. Но запомнила, запомнил и он.

Весной уже 1909 года в Петербурге я была в большой компании на какой-то художественной лекции в Академии художеств; был Максимилиан Александрович Волошин, который казался тогда для меня недосягаемым идеалом во всем. Ко мне он был очень мил. На этой лекции меня познакомили с Н. С., но мы вспомнили друг друга. Это был значительный вечер моей жизни. Мы все поехали ужинать в «Вену», мы много говорили с Н. С. – об Африке, почти в полусловах понимая друг друга, обо львах и крокодилах. Я помню, я тогда сказала очень серьезно, потому что я ведь никогда не улыбалась: «Не надо убивать крокодилов». Николай Степанович отвел в сторону М. А. и спросил: «Она всегда так говорит?» – «Да, всегда», – ответил М. А.

Я пишу об этом подробно, потому что эта маленькая глупая фраза повернула ко мне целиком Н. С. Он поехал меня провожать, и тут же сразу мы оба с беспощадной ясностью поняли, что это

«встреча», и не нам ей противиться. Это была молодая, звонкая страсть. «Не смущаясь и не кроясь, я смотрю в глаза людей, я нашел себе подругу из породы лебедей», – писал Н. С. в альбоме, подаренном мне.

Мы стали часто встречаться, все дни мы были вместе и друг для друга. Писали стихи, ездили на «Башню» и возвращались на рассвете по просыпающемуся серо-розовому городу. Много раз просил меня Н. С. выйти за него замуж, никогда не соглашалась я на это; в это время я была невестой другого, была связана жалостью к большой, непонятной мне любви. В «будни своей жизни» не хотела я вводить Н. С.

Те минуты, которые я была с ним, я ни о чем не помнила, а потом плакала у себя дома, металась, не знала. Всей моей жизни не покрывал Н. С., и еще: в нем была железная воля, желание даже в ласке подчинить, а во мне было упрямство – желание мучить. Воистину он больше любил меня, чем я его. Он знал, что я не его невеста, видел даже моего жениха. Ревновал. Ломал мне пальцы, а потом плакал и целовал край платья. В мае мы вместе поехали в Коктебель.

Все путешествие туда я помню, как дымно-розовый закат, и мы вместе у окна вагона. Я звала его «Гумми», не любила имени «Николай», а он меня, как зовут дома, «Лиля» – «имя похоже на серебристый колокольчик», – как говорил он.

В Коктебеле все изменилось. Здесь началось то, в чем больше всего виновата я перед Н. С.

Судьбе было угодно свести нас всех троих вместе, его, меня и М. А. – потому что самая большая моя в жизни любовь, самая недосягаемая – это был М. А. Если Н. С. был для меня цветение весны, «мальчик» (мы были ровесники, но он всегда казался мне младше), то М. А. для меня был где-то вдали, кто-то никак не могущий обратить свои взоры на меня, маленькую и молчаливую.

Была одна черта, которую я очень не любила в Н. С., – его неблагожелательное отношение к чужому творчеству; он всегда бранил, над всеми смеялся, – мне хотелось, чтобы он тогда уже был «отважным корсаром», но тогда он еще не был таким.

Он писал тогда «Капитанов», они посвящались мне. Вместе каждую строчку обдумывали мы. Но он ненавидел М. А., мне это было больно очень, здесь уже неотвратимостью рока встал в самом сердце образ М. А.

То, что девочке казалось чудом, совершилось. Я узнала, что М. А. любит меня, любит уже давно; к нему я рванулась вся, от него я не скрывала ничего. Он мне грустно сказал: «Выбирай сама. Но если ты уйдешь к Гумилеву, я буду тебя презирать».

Выбор уже был сделан, но Н. С. все же оставался для меня какой-то благоухающей алой гвоздикой. Мне все казалось: хочу обоих, зачем выбор! [9; 390–392]

Алексей Николаевич Толстой:

Гумилев с иронией встретил любовную неудачу: в продолжение недели он занимался ловлей тарантулов. Его карманы были набиты пауками, посаженными в спичечные коробки. Он устраивал бои тарантулов. К нему было страшно подойти. Затем он заперся у себя в чердачной комнате дачи и написал замечательную, столь прославленную впоследствии поэму «Капитаны». После этого он выпустил пауков и уехал [9; 322–323].

Елизавета Ивановна Дмитриева:

Я попросила Н. С. уехать, не сказав ему ничего. Он счел это за каприз, но уехал, а я до осени (сент.) жила лучшие дни моей жизни. Здесь родилась Черубина. Я вернулась совсем закрытая для Н. С., мучила его, смеялась над ним, а он терпел и все просил меня выйти за него замуж. А я собиралась выходить замуж за М. А. Почему я так мучила Н. С.? Почему не отпускала его от себя? Это не жадность была, это была тоже любовь. Во мне есть две души, и одна из них верно любила одного, другая другого.

О, зачем они пришли и ушли в одно время! Наконец Н. С. не выдержал, любовь ко мне уже стала переходить в ненависть. В «Аполлоне» он остановил меня и сказал: «Я прошу Вас последний раз – выходите за меня замуж». Я сказала: «Нет!» Он побледнел. «Ну, тогда Вы узнаете меня». Это была суббота. В понедельник ко мне пришел Гюнтер и сказал, что Н. С. на «Башне» говорил бог знает что обо мне. Я позвала Н. С. к Лидии Павловне Брюлловой, там же был и Гюнтер. Я спросила Н. С., говорил ли он это. Он повторил мне в лицо. Я вышла из комнаты. Он уже ненавидел меня. Через два дня М. А. ударил его, была дуэль. Через три дня я встретила его на Морской. Мы оба отвернулись друг от друга. Он ненавидел меня всю свою жизнь и бледнел при одном моем имени.

Больше я его никогда не видела [9; 392–393].

Мария Кузьмина-Караваева

Анна Андреевна Гумилева:

В жизни Коли было много увлечений. Но самой возвышенной и глубокой его любовью была любовь к Маше. Под влиянием рассказов А. И. о родовом имении Слепневе и о той большой старинной библиотеке, которая в целости там сохранилась, Коля захотел поехать туда, чтобы ознакомиться с книгами. В то время в Слепневе жила тетушка Варя – Варвара Ивановна Львова, по мужу Лампе, старшая сестра Анны Ивановны. К ней зимою время от времени приезжала ее дочь Констанция Фридольфовна Кузьмина-Караваева со своими двумя дочерьми. Приехав в имение Слепнево, поэт был приятно поражен, когда, кроме старенькой тетушки Вари, навстречу ему вышли две очаровательные молоденькие барышни – Маша и Оля. Маша с первого взгляда произвела на поэта неизгладимое впечатление [9; 424].

Сергей Константинович Маковский:

Маша, спокойная, тихая, цветущей внешности русская красавица, с чудесным цветом лица, и только выступавший по вечерам лихорадочный румянец говорил о ее больных легких [9; 369].

Анна Андреевна Гумилева:

Это была высокая тоненькая блондинка с большими грустными голубыми глазами, очень женственная. Коля должен был остаться несколько дней в Слепневе, но оттягивал свой отъезд под всякими предлогами. Нянечка Кузьминых-Караваевых говорила: «Машенька совсем ослепила Николая Степановича». Увлеченный Машей, Коля умышленно дольше, чем надо, рылся в библиотеке и в назначенный день отъезда говорил, что библиотечная «…пыль рьянее, чем наркотик…», что у него сильно разболелась голова, театрально хватался при тетушке Варе за голову, и лошадей откладывали. Барышни были очень довольны: им было веселее с молодым дядей. С Машей и Олей поэт долго засиживался по вечерам в библиотеке, что сильно возмущало нянечку Караваевых, и она часто бурно налетала на своих питомиц, но поэт нежно обнимал и унимал старушку, которая после говорила, что «долго сердиться на Николая Степановича нельзя, он своей нежностью всех обезоруживает».

Летом вся семья Кузьминых-Караваевых и наша проводили время в Слепневе. Помню, Маша всегда была одета с большим

вкусом в нежно-лиловые платья. Она любила этот цвет, который ей был к лицу. Меня всегда умиляло, как трогательно Коля оберегал Машу. Она была слаба легкими, и когда мы ехали к соседям или кататься, поэт всегда просил, чтобы их коляска шла впереди, «чтобы Машенька не дышала пылью». Не раз я видела Колю сидящим у спальни Маши, когда она днем отдыхала. Он ждал ее выхода, с книгой в руках все на той же странице, и взгляд его был устремлен на дверь. Как-то раз Маша ему откровенно сказала, что не вправе кого-либо полюбить и связать, так как она давно больна и чувствует, что ей недолго осталось жить. Это тяжело подействовало на поэта:

…Когда она родилась, сердце
В железо заковали ей,
И та, которую любил я,
Не будет никогда моей.

Осенью, прощаясь с Машей, он ей прошептал: «Машенька, я никогда не думал, что можно так любить и грустить». Они расстались, и судьба их навсегда разлучила.

Поэт много стихотворений посвятил Маше. Во многих он упоминает о своей любви к ней, как, например, в «Фарфоровом павильоне», в «Дорогах» [9; 424–425].

Татиана Адамович

Павел Николаевич Лукницкий. *Из дневника:*

24.03.1925. Я вчера много говорил с В. С. Срезневской о Татиане Адамович. Та мне рассказала, что считает роман с Таней Адамович выходящим из пределов двух обычных категорий для Н. С. (первая – высокая любовь: к АА (Ахматовой. – Сост.), к Маше Кузьминой-Караваевой, к Синей звезде), вторая – ставка на количество девушек… Роман с Таней Адамович был продолжительным, но, так сказать, обычным романом в полном смысле этого слова. Валерия Сергеевна Срезневская сказала, что однажды в разговоре с Николаем Степановичем она упомянула про какой-то факт. Он сказал: «Да, это было в период Адамович». – «А долго продолжался этот период?» Николай Степанович стал считать по пальцам: «Раз… два… три, почти три года».

Когда я сегодня рассказал об этом АА, она ответила: «Да не три года, но, во всяком случае, долго… И это был совершенно официальный роман: Николай Степанович совершенно ничего не скрывал» [16; 162].

Павел Николаевич Лукницкий. *Из дневника 1926 г.:*

АА: «Таня Адамович редко (только в парадных случаях, когда много гостей бывало), но бывала в доме у Гумилевых. А Николай Степанович у нее постоянно бывал…»

Я: «Красивая ли была Таня?»

АА: «Красивая? Красивой она не была, но была интересной…»

Я: «Понимала ли стихи?»

АА: «Понимала… Ну это Жорж (Георгий Адамович, брат Т. А. – *Сост.*) ее натаскал… Всегда просила читать ей стихи…» <…>

Я спросил АА, как произошло у Николая Степановича расхождение с Адамович? АА рассказала, что она думает об этом. Думает она, что произошло это постепенно и прекратилось приблизительно где-то около выхода «Колчана». Резкого разрыва, по-видимому, не было.

Таня Адамович, по-видимому, хотела выйти замуж за Николая Степановича, потому что был такой случай: Николай Степанович предложил АА развод (!).

АА: «Я сейчас же, конечно, согласилась! – Улыбаясь: – Когда дело касается расхождения, я всегда моментально соглашаюсь!»

Сказала Анне Ивановне, что разводится с Николаем Степановичем. Та изумилась: «Почему? Что?» – «Коля мне сам

предложил». АА поставила условием, чтоб Лева остался у нее в случае развода. Анна Ивановна вознегодовала. Позвала Николая Степановича и заявила ему, тут же при АА: «Я тебе правду скажу, Леву я больше Ани и больше тебя люблю…»

АА смеется: «Каково это было услышать Николаю Степановичу, что она Леву больше, чем его, любит?» <…>

АА уверена, что Таня Адамович нюхала эфир и что «Путешествие в страну Эфира» относится к Тане Адамович [16; 162–163].

Ольга Алексеевна Мочалова:

Свой сборник «Колчан» Гумилев посвятил Татиане Адамович, о которой говорил: «Очаровательная… книги она не читает, но бежит, бежит убрать в свой шкаф. Инстинкт зверька» [22; 281].

Ольга Николаевна Гильдебрандт-Арбенина:

Он говорил, что Татьяна была очень бойка, самостоятельна; она ругалась из-за Мопассана, которого она обожала и превозносила. Она его насильно посадила на извозчика и свезла в редакцию, чтобы он (хотя нехотя!) написал посвящение ей в «Колчане» [20; 452].

Ольга Высотская

Орест Николаевич Высотский:

«Бродячая собака» открылась 31 декабря 1911 года на Михайловской площади. Чтобы попасть в кабаре, надо было пройти под аркой ворот, там повернуть во второй двор и, как гласил шуточный «гимн Собаке», написанный В. Князевым на музыку Шпис-Эшенбурга:

Во втором дворе подвал,
В нем приют собачий,
Всякий, кто сюда попал –
Просто пес бродячий.

В день, точнее – в ночь открытия, очень скромного, Пронин прибежал к своей знакомой, актрисе «Старинного театра» Ольге Высотской: нужно было взять напрокат пианино, а денег не нашлось. <…>

В пятницу 13 января 1912 года молодые поэты собрались, чтобы отметить четверть века литературной деятельности Константина Бальмонта. Его стихи, очень музыкальные, даже магические, уже не пользовались былой популярностью. <…>

Но юбилей Бальмонта решили провести в «Бродячей собаке» непременно, хотя самого юбиляра не было, он в то время жил в Париже.

Ольга Высотская, постоянный посетитель и действительный член «Бродячей собаки», сидела за столиком со своей подругой Алисой Твороговой. Обратили внимание на стоявшего у конторки худощавого, высокого мужчину в элегантном темно-сером костюме. Когда он отошел, Высотская заглянула в книгу. Там значилось: «Н. Гумилев». Рядом кто-то из приятелей написал: «Великий синдик Гу поставил точку на лугу».

Высотская уже знала о нем: Гумилев – это тот, кто возглавил новое направление в поэзии, акмеизм, и решился спорить с самим Блоком. Он автор «Жемчугов». Совсем недавно эту книгу подарил ей артист Сергей Эрнестович Радлов, и ее поразили стихи, совсем не похожие на все, что она до сих пор читала. <…>

Вечер начал Сергей Городецкий остроумной, несколько парадоксальной речью; он говорил не столько о юбиляре, сколько о публике и читателях. Сколько среди них таких, как известный ему болван, который испестрил книгу Бальмонта своими надписями, суждениями и сентенциями, говорящими о полном

непонимании поэта.

После доклада читали свои стихи Гумилев, Ахматова, Мандельштам, фон Гюнтер и другие поэты. Когда выступления окончились, Зноско-Боровский познакомил Высотскую и ее подругу с Гумилевым, который сразу сел за их столик и принялся рассказывать про Абиссинию, откуда он возвратился прошлой весной.

В другом конце залы сидела Ахматова в темно-лиловом платье и рядом с ней Николай Недоброво, поэт и критик. < … >

Гости «Бродячей собаки» начали расходиться только под утро. На Михайловской площади в предрассветных сумерках виднелись фигуры извозчиков в долгополых балахонах. После жаркого, продымленного подвала хорошо было дышать свежим морозным воздухом. Гумилев и Высотская сели в маленькие санки, застоявшаяся на морозе лошадь пошла резво. Миновали Казанский собор и свернули с Невского. Глядя прямо перед собой, Гумилев читал стихи густым, тягучим голосом, и они приобретали странное звучание оттого, что он нечетко произносил некоторые слова.

Вскоре отметили двадцатилетний юбилей сценической деятельности артиста Юрьева, прославившегося исполнением ролей Дон Жуана в пьесе Мольера и Арбенина в «Маскараде». Поставили высокое кресло, подобное трону; на нем была надпись: «Юрию Юрьеву Бродячая собака – лает!» Шею юбиляра украсил широкий золоченый ошейник. Были речи, поздравления, подходили с бокалами в руках. Юрий Михайлович, смущенно улыбаясь, пил свое любимое «Нюи».

Гумилев сел за столик с Высотской. Ненадолго к ним подсел Толстой, выпил бокал вина, рассказал, как ходил в кинематограф, потому что ему сказали, будто в хронике покажут его. В самом деле, на экране высветилась его фигура: сидит на бульваре, папироса в руках. И ему отчего-то сделалось страшно.

После вечера Гумилев опять поехал провожать молодую актрису, и были слова о поиске своей избранницы, своей «половинки разрезанного яблока», о том, как это трудно и какое счастье найти.

Они встречались то в «Бродячей собаке», то в Эрмитаже, то на Конногвардейском бульваре. Гумилев любил рассказывать об Африке, с гордостью вспоминал, как в Аддис-Абебе был принят самим императором Менеликом, черным аристократом, ведущим свой род от царя Соломона и царицы Савской, живших задолго до Рождества Христова. Рассказывал о пышных празднествах, великолепных военных парадах, воинах в леопардовых и львиных шкурах, на конях, разукрашенных черными страусовыми перьями.

Ольге Высотской он казался рыцарем, точно сошедшим с полотна средневекового художника. <…>

Николая Степановича она полюбила глубоко и серьезно. Он, особенно в начале романа, отнесся к этому как к своей очередной победе, но постепенно и в нем начали просыпаться более глубокие чувства, которые он старался не показывать: в артистической среде проявлять любовь или ревность считалось плохим тоном.

Отношения в этой среде и правда были свободными. Встретив Высотскую на Невском, Паллада Олимповна, в ту пору – Богданова-Бельская, рассказывала, делая при этом «трагические глаза», что вчера вечером Гумилев объяснялся ей в любви и что устоять перед таким мужчиной она не смогла. Конечно, Паллада могла и приврать, ведь это ей Кузмин посвятил в «Гимне Бродячей собаки» несколько строк о даме, которая «резвится на лугу», ибо ей «любовь одна отрада». Посещавшая не только «Собаку», но и фешенебельные рестораны с отдельными кабинетами, эта актриса снискала себе вполне определенную репутацию. И все-таки Высотская была шокирована. Что в самом деле произошло между нею и Гумилевым в марте 1913-го, никто не узнает. Не было ни бурных сцен, ни слез и упреков. Ольга Николаевна спокойно сказала, что уходит, отрекаясь от всего, что связывало их подобием любви.

Высотская уехала в Москву, а Гумилев 7 апреля отправился в Абиссинию. Из Порт-Саида он послал Высотской открытку с сонетом «Ислам» и приписал: «Всегда вспоминаю. Напишите в Порт-Саид, куда привезти Вам леопардовую шкуру». По тону открытки можно предположить, что он обескуражен неожиданным разрывом, может быть, даже глубоко переживал его, хотя с деланной игривостью пытался представить всю эту историю недоразумением. Но в том же году Гумилев написал «Пятистопные ямбы»:

…Я знаю, жизнь не удалась… И ты,
Ты, для кого искал я на Леванте
Нетленный пурпур королевских мантий,
Я проиграл тебя, как Дамаянти
Когда-то проиграл безумный Наль.
Взлетели кости, звонкие, как сталь,
Упали кости – и была печаль.

Сказала ты, задумчивая, строго:
«Я верила, любила слишком много,
А ухожу, не веря, не любя,

И пред лицом Всевидящего Бога,
Быть может, самое себя губя,
Навек я отрекаюсь от тебя».

Твоих волос не смел поцеловать я,
Ни даже сжать холодных, тонких рук.
Я сам себе был гадок, как паук,
Меня пугал и мучил каждый звук,
И ты ушла, в простом и темном платье,
Похожая на древнее Распятье…

К кому были обращены эти строки? Высотская всю жизнь считала, что они относятся к ней, а не к Ахматовой, как утверждают литературоведы. Ведь в 1913 году ушла именно она… [9; 148–154]

Лери (Лариса Рейснер)

Лариса Михайловна Рейснер *(1895–1926), поэтесса, адресат лирики Н. С. Гумилева. Из неоконченного автобиографического романа:*

Он некрасив. Узкий и длинный череп (его можно видеть у Веласкеза, на портретах Карлов и Филиппов испанских), безжалостный лоб, неправильные пасмурные брови, глаза – несимметричные, с обворожительным пристальным взглядом. Сейчас этот взгляд переполнен. Он прям, широк, как гирлянда на дверях новобрачных, сплетенная из жестких еловых ветвей с голубыми лентами и горными цветами. По его губам, непрестанно двигающимся и воспаленным, видно, что после счастья они скандируют стихи, – может быть, о ночи, о гибели надежды и белом безмолвном монастыре. Нет в Петербурге хрустального окна, покрытого девственным инеем и густым покрывалом снега, которого Гафиз не замутил бы своим дыханием, на всю жизнь оставляя зияющий просвет в пустоту между чистых морозных узоров. Нет очарованного сада, цветущего ранней северной весной, за чьей доверчивой, старинной, пошатнувшейся изгородью дерзкие руки поэта не наломали бы сирени, полной холодных рос, и яблони, беззащитной, опьяненной солнцем накануне венца. И, все еще несытая, воля певца легко и жадно уничтожила много прекрасного и покрыла страницы его рукописей стихами-мавзолеями [24; 205].

Николай Степанович Гумилев. *Из письма Л. Рейснер. Из действующей армии, ноябрь (?) 1916 г.:*

Что я прочел? Вам скучно, Лери,
И под столом лежит Сократ,
Томитесь Вы по древней вере?
– Какой отличный маскарад!
Вот я в моей каморке тесной
Над Вашим радуюсь письмом,
Как шапка Фауста прелестна
Над милым девичьим лицом.
Я был у Вас, совсем влюбленный,
Ушел, сжимаясь от тоски, –
Ужасней шашки занесенной
Жест отстраняющей руки.
Но сохранил воспоминанье

О дивных и тревожных днях,
Мое пугливое мечтанье
О Ваших сладостных глазах.
Ужель опять я их увижу,
Замру от боли и любви
И к ним сияющим приближу
Татарские глаза мои?!
И вновь начнутся наши встречи,
Блужданья ночью наугад,
И наши озорные речи,
И Острова, и Летний сад?!
Но ах, могу ль я быть не хмурым,
Могу ль сомненья подавить?
Ведь меланхолия амуром
Хорошим вряд ли может быть.
И верно день застал, серея,
Сократа снова на столе,
Зато «Эмали и Камеи»
С «Колчаном» в самой пыльной мгле.
Так Вы, похожая на кошку,
Ночному молвили «прощай»,
И мчит Вас в Психоневроложку,
Гудя и прыгая, трамвай.

Н. Гумилев [2; 282–283].

Николай Степанович Гумилев. *Из письма Л. Рейснер. Из действующей армии, 8 ноября 1916 г.:*

«Лера, Лера, надменная дева, ты как прежде бежишь от меня». Больше двух недель как я уехал, а от Вас ни одного письма. Не ленитесь и не забывайте меня так скоро, я этого не заслужил. Я часто скачу по полям, крича навстречу ветру Ваше имя. Снитесь Вы мне почти каждую ночь. И скоро я начинаю писать новую пьесу, причем, если Вы не узнаете в героине себя, я навек брошу литературную деятельность.

О своей жизни я писал Вам в предыдущем письме. Перемен никаких и, кажется, так пройдет зима. Что же? У меня хорошая комната, денщик – профессиональный повар. Как это у Бунина?

Вот камин затоплю, буду пить,
Хорошо бы собаку купить.

Кроме шуток, пишите мне. У меня «Столп и утверждение

истины», долгие часы одиночества, предчувствие надвигающейся творческой грозы. Все это пьянит как вино и склоняет к надменности соллепсизма. А это так не акмеистично. Мне непременно нужно ощущать другое существованье – яркое и прекрасное. А что Вы прекрасны, в этом нет сомненья. Моя любовь только освободила меня от, увы, столь частой при нашем образе жизни слепоты. <…>

У Вас красивые, ясные, честные глаза, но Вы слепая; прекрасные, юные, резвые ноги и нет крыльев; сильный и изящный ум, но с каким-то странным прорывом посередине. Вы – Дафна, превращенная в лавр, принцесса, превращенная в статую. Но ничего! Я знаю, что на Мадагаскаре все изменится. И я уже чувствую, как в какой-нибудь теплый вечер, вечер гудящих жуков и загорающихся звезд, где-нибудь у источника в чаще красных и палисандровых деревьев, Вы мне расскажете такие чудесные вещи, о которых я только смутно догадывался в мои лучшие минуты.

До свиданья, Лери, я буду Вам писать.

О моем возвращении я не знаю ничего, но зимой на неделю думаю вырваться.

Целую Ваши милые руки.

Ваш Гафиз [2; 284–285].

Лариса Михайловна Рейснер. *Из письма Н. С. Гумилеву. Петроград, ноябрь 1916 г.:*

Милый Гафиз, Вы меня разоряете. Если по Каменному дойти до самого моста, до барок и большого городового, который там зевает, то слева будет удивительная игрушечная часовня. И даже не часовня, а две каменных ладони, сложенных вместе, со стеклянными, чудесными просветами. И там не один св. Николай, а целых три. Один складной, и два сами по себе. И монах сам не знает, который влиятельнее. Поэтому свечки ставятся всем, уж заодно.

Милый Гафиз, если у Вас повар, то это уже очень хорошо, но мне трудно Вас забывать. Закопаешь все, по порядку, так что станет ровное место, и вдруг какой-нибудь пустяк, ну, мои старые духи, или что-нибудь Ваше – и начинается все сначала, и в историческом порядке [2; 285–286].

Лариса Михайловна Рейснер. *Из письма Н. С. Гумилеву. Петроград, ноябрь 1916 г.:*

Милый мой Гафиз, это совсем не сентиментальность, но мне сегодня так больно, так бесконечно больно. Я никогда не видела летучих мышей, но знаю, что, если даже у них выколоты глаза,

они летают и ни на что не натыкаются. Я сегодня как раз такая бедная мышь, и всюду кругом меня эти нитки, протянутые из угла в угол, которых надо бояться. Милый Гафиз, я много одна, каждый день тону в стихах, в чужом творчестве, чужом опьянении. И никогда еще не хотелось мне так, как теперь, найти наконец свое собственное. Говорят, что Бог дает каждому в жизни крест такой длины, какой равняется длина нитки, обмотанной вокруг человеческого сердца. Если бы мое сердце померили вот сейчас, сию минуту, то Господу пришлось бы разориться на крест вроде Гаргантюа, величественный, тяжелейший. Но очевидно, Ангелы в свое время поторопились, чего-то не досчитали, или сатана их соблазнил, или неистовые птицы осаждали не вовремя райские преддверия – но только счет вышел с изъяном. Ах, привезите с собой, в следующий раз – поэму, сонет, что хотите, о янычарах, о семиголовом цербере, о чем угодно, милый друг, но пусть опять ложь и фантазия украсится всеми оттенками павлиньего пера, и станут моим Мадагаскаром, Экватором, эвкалиптовыми и бамбуковыми чащами, в которых человеки якобы обретают простоту души и счастие бытия. О, если бы мне сейчас – стиль и слог убежденного меланхолика, каким был Лозинский, и романтический чердак, и действительно верного и до смерти влюбленного друга. Человеку надо так немного, чтобы обмануть себя. Ну, будьте здоровы, моя тоска прошла, жду Вас.

Ваша Лери [2; 286].

Николай Степанович Гумилев. *Из письма Л. Рейснер. Из действующей армии, ноябрь (?) 1916 г.:*

Лери моя, приехав в полк, я нашел оба Ваши письма. Какая Вы милая в них. Читая, я вдруг однажды понял то, что Вы мне говорили, что я слишком мало беру от Вас. Действительно, это непростительное мальчишество с моей стороны – разбирать с Вами проклятые вопросы. Я даже не хочу обращать Вас. Вы годитесь на бесконечно лучшее. И в моей голове уже складывается план книги, которую я мысленно пишу для себя одного (подобно моей лучшей трагедии, которую я напишу только для Вас). Ее заглавие будет огромными красными, как зимнее солнце, буквами: «Лери и Любовь», «Лери и персидская лирика», «Лери и мой детский сон об орле». На все, что я знаю и что люблю, я хочу посмотреть, как сквозь цветное стекло, через Вашу душу, потому что она действительно имеет особый цвет, еще не воспринимаемый людьми (как древние не воспринимали синий цвет). И я томлюсь, как автор, которому мешают приступить к уже обдуманному произведению. Я помню

все Ваши слова, все интонации, все движения, но мне мало, мало, мне хочется еще. Я не очень верю в переселенье душ, но мне кажется, что в прежних своих переживаниях Вы всегда были похищаемой, Еленой Спартанской, Анжеликой из «Неистового Роланда» и т. д., так мне хочется Вас увезти.

Я написал Вам сумасшедшее письмо, это оттого, что я Вас люблю. Вспомните, Вы мне обещали прислать Вашу карточку. Не знаю только, дождусь ли я ее, пожалуй, прежде удеру в город пересчитывать столбы на решетке Летнего сада. Пишите мне, целующему Ваши милые, милые руки.

Ваш Гафиз [2; 286–287].

Лариса Михайловна Рейснер. *Из письма Н. С. Гумилеву. Петроград, конец 1916 г.:*

Я не знаю, поэт, почему лунные и холодные ночи так бездонно глубоки над нашим городом. Откуда это, все более бледнеющее небо и ясный, торжественный профиль старых подъездов на тихих улицах, где не ходит трамвай и нет кинематографа. Кто сказал, что луна одна и ходит по каким-то орбитам. Очевидные враки. За просвечивающей дымкой их может быть сколько угодно, и они любопытны и подвижны, со своими ослепительными, но занавешанными лицами. Кочуют, кочуют целую ночь, над нелепыми постройками, опускают бледные ресницы, и тогда на ночных, темных и высоких лестницах – следы целомудренных взоров, блестящих, с примесью синевы и дымчатого тумана. Милые ночи, такие долгие, такие бессонные. Кстати, о снах. Помните, Гафиз, Ваши нападки на бабушкин сон с «щепкой», которым чрезвычайно было уязвлено мое самолюбие. Оказывается, бывает хуже. Представьте себе мечтателя, самого настоящего и убежденного. Он засыпает, побежденный своей возвышенной меланхолией, а также скучным сочинением какого-нибудь славного, давно усопшего любомудра. И ему снится: райская музыка, да, смейтесь сколько угодно. Он наслаждается неистово, может быть плачет, вообще возносится душой. Счастлив, как во сне. Отлично. Утром мечтатель первым делом восстанавливает в своей памяти райские мелодии, только что оставившие его, вспоминает долго, озлобленно, с болью и отчаянием. И оказывается – что это было нечто более, чем тривиальное, чижик-пыжик, какой-нибудь дурной и навязчивый мотивчик, я это называю – кларнет-о-пистон. О посрамление! Ангелы в раю, очень музыкальные от природы, смеются, как галки на заборе, и не могут успокоиться. Гафиз, это очень печальное происшествие. Пожалейте обо мне, надо мной посмеялись.

Лери.

P. S. Ваш угодник очень разорителен: всегда в нескольких видах и еще складной, с цветами и большим полотенцем [2; 287–288].

Николай Степанович Гумилев. *Из письма Л. Рейснер. Из действующей армии, конец 1916 – начало 1917 г.:*

Леричка моя, Вы, конечно, браните меня, я пишу Вам первый раз после отъезда, а от Вас получил уже два прелестных письма. Но в первый же день по приезде я очутился в окопах, стрелял в немцев из пулемета, и они стреляли в меня, и так прошло две недели. Из окопов может писать только графоман… Стульев нет, с потолка течет, на столе сидит несколько крыс, которые сердито ворчат, если к ним подходишь. И я целые дни валялся в снегу, смотрел на звезды и, мысленно проводя между ними линии, рисовал себе Ваше лицо, смотрящее на меня с небес. Это восхитительное занятье. Вы как-нибудь попробуйте. Теперь я временно в полуприличной обстановке и хожу на аршин от земли. Дело в том, что заказанная Вами мне пьеса (о Кортесе и Мексике) с каждым часом вырисовывается предо мной все ясней и ясней. «Сквозь магический кристалл» (помните, у Пушкина?) я вижу до мучительности яркие картины, слышу запахи, голоса. Иногда я даже вскакиваю, как собака, увидевшая взволновавший ее сон. Она была бы чудесна, моя пьеса, если бы я был более искусным техником. Как я жалею теперь о бесплодно потраченных годах, когда, подчиняясь внушениям невежественных критиков, я искал в поэзии какой-то задушевности и теплоты, а не упражнялся в писаньи рондо, ронделей, лэ, вирелэ и пр. Что из того, что я в этом немного искуснее своих сверстников? Искусство Теодора де Банвиля и то оказалось бы малым для моей задачи. Придется действовать по-кавалерийски, дерзкой удалью, и верить, как на войне, в свое гусарское счастье. И все-таки я счастлив, потому что к радости творчества примешивается сознанье, что без моей любви к Вам я и отдаленно не мог бы надеяться написать такую вещь [2; 288–289].

Лариса Михайловна Рейснер. *Из письма Н. С. Гумилеву. Петроград, конец января 1917 г.:*

Застанет ли Вас это письмо, мой Гафиз? Надеюсь, что нет: смотрите, не сегодня – завтра начнется февраль, по Неве разгуливает теплый ветер с моря, – значит кончился год (я всегда год считаю от зимы до зимы) – мой первый год, не похожий на все прежние. Какой он большой, глупый, длинный, – как-то слишком сильно и сразу выросший. Я даже вижу – на носу масса веснушек,

и необозримо длинные руки. Милый Гафиз, как хорошо жить. Это, собственно, главное, что я хотела Вам написать [2; 290–291].

Николай Степанович Гумилев. *Из письма Л. Рейснер. Из действующей армии, 22 февраля 1917 г.:*

Лариса Михайловна, моя командировка затягивается и усложняется. Начальник мой очень мил, но так растерян перед встречающимися трудностями, что мне порой жалко его до слез. Я пою его бромом, утешаю разговорами о доме и всю работу веду сам. А работа ужасно сложная и запутанная. Когда попаду в город, не знаю. По ночам читаю Прескота и думаю о Вас. Посылаю Вам военный мадригал, только что испеченный. Посмейтесь над ним. Ваш Н. Г.

…Волшебница, я не случайно
К следам ступней твоих приник:
Ведь я в тебе увидел тайно
Невыразимый этот миг.
Ты розу белую срывала
И наклонялась к розе той,
А небо над тобой сияло,
Твоей залито красотой… [2; 291]

Лариса Михайловна Рейснер. *Из письма Н. С. Гумилеву. Восточный фронт, 1919 (?) г.:*

В случае моей смерти, все письма вернутся к Вам. И с ними то странное чувство, которое нас связывало, и такое похожее на любовь. И моя нежность – к людям, к уму, поэзии и некоторым лицам, которая благодаря Вам окрепла, отбросила свою собственную тень среди других людей, – стала творчеством. Мне часто казалось, что Вы когда-то должны еще раз со мной встретиться, еще раз говорить, еще раз все взять и оставить. Этого не может быть, не могло быть. Но будьте благословенны… Встречайте чудеса, творите их сами. Мой милый, мой возлюбленный. И будьте чище и лучше, чем прежде, потому что действительно есть Бог.

Ваша Лери [2; 294].

Павел Николаевич Лукницкий. *Из дневника 1926 г.:*

Ларисе Рейснер назначил свидание на Гороховой в доме свиданий. Л. Р.: «Я так его любила, что пошла бы куда угодно» (рассказывала в августе 1920 г.) [16; 190].

Павел Николаевич Лукницкий. *Из дневника 1926 г.:*

Правда, потом он предлагал Ларисе Рейснер жениться на ней, и Лариса Рейснер передает АА (Ахматовой. – Сост.) последовавший за этим предложением разговор так: она стала говорить, что очень любит АА и очень не хочет сделать ей неприятное. И будто бы Николай Степанович на это ответил ей такой фразой: «К сожалению, я уже ничем не могу причинить Анне Андреевне неприятность».

АА говорит, что Лариса Рейснер, это рассказывая, помнила очень всю обиду на Николая Степановича и чувство горечи и любви в ней еще было [16; 191–192].

Павел Николаевич Лукницкий. *Из дневника:*

1920. Август или сентябрь. Л. Рейснер в разговоре с АА о Гумилеве сказала ей, что считала себя невестой Н. С., что любила его, а он обманул ее. Говорила о Н. С. с ненавистью.

АА: «Почему Лариса Михайловна в 20 году отзывалась о нем с ненавистью? Ведь она его любила крепкой любовью до этого. Не верно ли предположение о том, что эта ненависть ее возникла после того, как она узнала о романе Н. С. с А. Н. Энгельгардт в 1916 году параллельно его роману с ней? А не узнать она, конечно, не могла.

Весьма вероятно, были и другие причины, которых я не знаю, но не эта ли была главной?» [16; 192]

Маргарита Тумповская

Ольга Алексеевна Мочалова:

Маргарита Марьяновна Тумповская. <…>

Гумилев посвятил ей не одно стихотворенье, не помню всего, но назову «Сентиментальное путешествие» (кажется, только в посмертном сборнике) и – главное, главное – одну из наиболее пленительных своих лирических жемчужин, кот[орое] привожу:

За то, что я теперь спокойный…
И умерла моя свобода,
О самой светлой, самой стройной
Со мной беседует природа.

В дали, от зноя помертвелой,
Себе и солнцу буйно рада,
О самой стройной, о самой белой
Звенит немолчная цикада.

Увижу ль пены побережной
Серебряное колыханье, –
О самой белой, о самой нежной
Поет мое воспоминанье.

Вот ставит ночь свои ветрила
И тихо по небу струится, –
О самой нежной, о самой милой
Мне пестрокрылый сон приснится.

<…> Маргарита была очень мила и доверительна со мной. Она говорила, что с детства увлекалась магией, волшебством. Мысленно была прикована к Халдее. Придавала значенье талисманам. О Халдее был ряд стихов. Когда мы встретились, она была убежденной антропософкой; ходила с книгами индусских мудрецов. <…>

Маргарита казалась созданной для углубленных, созерцательных настроений и поисков, молитвенных жертвоприношений. <…>

Ее стихи? Она давала мне читать свой тогдашний рукописный сборник «Дикие травы». Они были культурными, хорошего тона, но не казались сильными. «Интеллигентные

стихи». <…>

Маргарита немало рассказывала мне о своем романе с Н. С. Привожу, что уцелело в памяти из ее сообщений.

«Маргарита, Маргарита – прекрасный амфибрахий…»

«Он полюбил меня, думая, что я полька, но, узнав, что я еврейка, не имел [ничего] против».

«На лит[ературных] вечерах, где мы с Н. С. бывали вместе, он ухаживал одновременно и за Ларисой Рейснер. Уходил под руку то со мной, то с ней. Л. Р. была впоследствии из тех революционерок, которые и под гильотиной принимают позу».

«Я как-то сказала ему: „За мной стал сильно ухаживать возлюбленный подруги, кот[орый] давно был связан с ней трогательным романом. Вот поди верь вам, мужчинам!“ Он молчал и улыбался».

«Я никогда не могла называть его Колей. Так не шло ему, казалось именем дачного мужа. Называла – дорогой. А он удивлялся и считал себя Колей».

«Когда, наконец, добиваться уж больше было нечего, он облегченно вздохнул и сказал: „Надоело ухаживать“».

«Такой отвлеченный человек».

«Ведь его взгляды на женщину были очень банальны. Покорность, счастливый смех. Он действительно говорил, что быть поэтом женщине – нелепость».

«Был случай, когда я задумала с ним расстаться и написала прощальное письмо. Он находился тогда в госпитале. Несмотря на запрет врачей, приехал ко мне тотчас, больной, с воспалением легких. Не знаю, разошлись ли мы тогда или сошлись еще крепче».

«Анна Андреевна ворчала на него, когда находила, что он плохо выбрал свою даму. Но я не ворчу на него за выбор Вас» [18; 88–92].

Ольга Гильдебрандт-Арбенина

Ольга Николаевна Гильдебрандт-Арбенина:

Я увидела его в первый раз 14 мая 1916 г. Это был вечер В. Брюсова об армянской поэзии – в Тенишевском училище на Моховой. Народу было много; Брюсов читал прекрасные стихи, очень пылкие – «ты сожгла мое сердце, чтоб подвести себе углем брови» – остального я не помню. Меня одну по вечерам не пускали, я часто болела и иногда падала в обморок – даже в ванну! Со мной была моя Лина Ивановна (которую «мальчики» звали «цербером»). И еще пришел по сговору со мной мой «взрослый» поклонник, поэт Всеволод Курдюмов (у него была жена и даже родился сын).

В антракте, проходя одна по выходу в фойе, я в испуге увидела совершенно дикое выражение восхищения на очень некрасивом лице. Восхищение казалось диким, скорее глупым, и взгляд почти зверским. Этот взгляд принадлежал высокому военному с бритой головой и с Георгием на груди. Это был Гумилев.

Я была очень, очень молода, но по странному совпадению моей судьбы уже пережила и самое печальное в своей жизни – и довольно сильные радости и увлечения, хотя меня крайне строго держали, я много болела и много училась. Он сказал мне потом, что сразу помчался узнавать, кто я такая. «Это сестра Бальмонта». Меня вечно путали с Аней Энгельгардт, хотя она и не была похожа со мной, – более темноволосая, кареглазая, с монгольскими скулами, более яркая и, с моей точки зрения, гораздо более хорошенькая! На Никса Бальмонта, ее брата, я скорее могла походить по краскам – он был рыжий, зеленоглазый, со светло-розовым лицом и с тиком в лице – последнее мне очень нравилось в нем – а он ко мне очень нежно относился, говорил, что я должно быть такая, какой была бы его умершая сестра Ариадна, – и ставил в пример своей сестре Ане. И вот – говорил мне потом Гумилев: – «Я пошел и попросил Николая Константиновича – Представьте меня вашей сестре. – Он познакомил меня с нею… Это была тоже очаровательная девушка, но ведь это же не та».

Мне пришлось опять пройти тем же проходом. Почему одной? Лина Ивановна сидела на месте – но куда девался Курдюмов? и другие знакомые?

Я увидала Аню, и рядом с ней стоял Гумилев, т. е. это я узнала от нее, – она меня остановила, сказав: «Оля, Николай Степанович Гумилев просит меня тебе его представить». Я

обалдела! Поэт Гумилев, известный поэт, и Георгиевский кавалер, и путешественник по Африке, и муж Ахматовой… и вдруг так на меня смотрит… Он «слегка» умерил свой взгляд, и я что-то смогла сказать о стихах и поэтах. Аня потом сказала с завистью: «Какая ты умная! А я стою и мямлю, не знаю что».

Я не могу сказать точно, была ли у меня намеренная уловка или нет (а он следил за мной), но я одна выбралась опять в фойе, и Гумилев тут же появился и встал передо мной. Он смотрел на меня в упор, и я услыхала его голос (теперь это было бы впечатлением от голоса по радио – в то время как сам человек стоит и молчит), но тогда ведь не было радио, и сказанные слова прозвучали как в воздухе, – «я чувствую, что буду вас очень любить. Я надеюсь, что вы не prude[19]. Приходите завтра к Исаакиевскому собору».

Я ответила в обратном порядке: – «Это мне очень далеко… И все же неловко…» («так скоро» – я не сказала). Но на любовь я могла только улыбнуться.

На просьбу пойти меня проводить я могла только сказать, что я не одна – телефон ему дала – еще он сказал: «Я вчера написал стихи за присланные к нам в лазарет акации Ольге Николаевне Романовой – завтра напишу Ольге Николаевне Арбениной».

Он был ранен (или контужен) и лежал в лазарете (а не жил у матери), в Царском.

Он, конечно (т. е. я думаю!), пошел проводить Аню. Как она пошла без брата, не знаю. Она была старше меня, была сестрой милосердия и ходила в форме сестры, которая ей чрезвычайно шла. Что было ясно: она «учуяла» опасность и «бросилась наперерез». У нас с ней были общие поклонники, и, как я сказала, нас часто путали. Брат ее не любил Гумилева как поэта; он был поклонником Кузмина.

И вот Гумилев мне позвонил. Он попросил прийти… но я сказала, что занята (я днем ходила одна, но я обещала Курдюмову с ним погулять и Гумилеву сказала на следующий день). Вот и началась комедия-путаница!

Пошла я в Летний сад с Курдюмовым (отношения сугубо платонические) – и на крайней скамейке у решетки увидела Гумилева с Аней!..

Мужчины о чем-то поговорили, Аня имела вид смущенный, девический и счастливый, а я собрала все свое нахальство и какой-то актерский талант и переглянулась с Гумилевым как в романах Мопассана.

В назначенный день и час мы встретились – как будто в районе Греческой церкви – было ветрено, холодно, листья распустились, но весна задерживалась, – он, с моего согласия,

повез меня не на Острова, а в Лавру. Мы прошли через тот ход, где могила Наталии Николаевны и Ланского. Вероятно, хитрый Гумилев придумал эту овеянную ветрами поездку, чтобы уговорить потом поехать с ним в ресторан – согреться. По дороге мы заехали в книжный магазин, где он купил мне «Жемчуга» и написал:

«Оле. Олъ
Отданный во власть ее причуде
Юный маг забыл про все вокруг…»

И поставил какое-то «будущее» число…

В ресторане (в отдельном кабинете, конечно!) я до того бывала только со своим французом-дедушкой и его знакомым французом в Астории и в Европейской, но тут я испугалась… и очень развеселилась. Было сказано все: и любовь на всю жизнь, и развод с Ахматовой, и стихи. Первые, что он прочел обо мне: «Женский голос в телефоне, Упоительно-несмелый… Сколько сладостных гармоний в этом голосе без тела…» Стихи были довольно длинные, и я их не помню. Очень пылкие и шли crescendo[20], как в «Самофракийской победе»…

Увы! эти самые стихи он через год «отдал» Елене из Парижа, конец пропал – и он отрубил им хвост. У «нее» звучало:

Женский голос в телефоне – неожиданный и смелый…

Вообще мы говорили обо всем: и о войне, и об Африке, и о царице, и о Ронсаре, и Дю Белле. Кажется, мы не упомянули о нашей «неловкой встрече» в Летнем саду – ни об Ане. Надо сказать очень странную вещь: Аня была бойкая, с загорающимся румянцем, вертлявая; о нас говорили: «Коломбина и Пьеретта», имелось (про меня) мнение, что это Блоковская Коломбина, – я была бледнее, болезненнее, и меня без конца называли принцессой Малэн, Мелисандой, Сольвейг, – и другими нежными «северными девушками».

С первой встречи в ресторане меня «подменили», и у меня вдруг прорвалась бешеная веселость и чуть ли не вакхичность – и сила – выдерживать натиск.

Гумилев доставил мне радость, отметя нежных северянок, и называл меня Хлоей («с козленком, в золотой пыли»), Розиной (это, верно, за нечаянную, но вовсе не свойственную мне хитрость!) и… Кармен. Это была моя мечта: и Блоковская Кармен, и музыка Бизе, и сама Кармен – и главное – Судьба. Он еще

сказал «красный перец». Тут уж моя доля была предопределена!

Но я выдерживала все натиски и безумно боялась. Я знала все «про любовь» из «Суламифи», из «Саламбо», из романов д'Аннунцио. Я ничего не знала реально. Помню, на улице (на какой, не помню!) мы говорили о существующих поэтах, как о «кандидатах». «Бальмонт уже стар. Брюсов с бородой. Блок начинает болеть. Кузмин любит мальчиков. Вам остаюсь только я». Я говорила, что очень люблю Блока. Он тоже. Я хотела (по карточке и по стихам) с детства иметь роман с Блоком – но его внешний облик меня расхолодил. (Этого я не сказала.) «Я чувствую себя по отношению к Блоку, как герцог Лотарингии к королю Франции». «Но я бы предпочла быть королевой французской».

Я помню, что проявила зверство, спросив: «Сколько немцев вы убьете в мою честь?» – Ведь я мечтала о проливах, и патриотизм был у нас одного толка.

Мы встретились еще раз, и тут было еще труднее выдерживать штурм.

Он говорил, что надо завести «альбом Оли» и туда вписывать все стихи. Увы!.. Это было последнее мое свидание с Гумилевым в ту весну. Он начитал мне бездну стихов, и старых, и новых, – и вся эта бурность, которая меня заколдовала, через год перешла в другой альбом – Елены – в Париже. Меня наказали – и мне нельзя было увидеть его перед его отъездом в Массандру, – ни получать от него писем. И потом – пришла Аня, и мы «повыведывали» друг у друга свои новости. Она перешла в мою шкуру, побледнела и стала говорить тише и смиреннее. Мне кажется, у нее уже все случилось. И теперь еще мне непонятно, почему я хохотала, как в исступлении, и меня выбрасывало с кровати по ночам, как будто шло какое-то колдовство?!

И вот я написала «злое», горделивое письмо – он потом мне сказал, что сжег его в Вогезах (?).

<…>

Начался 1920 год. Январские морозы. Шел «Маскарад». В одном из антрактов ко мне кто-то пришел и попросил выйти… к Гумилеву. Гумилев никакого отношения к театру не имел! Я ничего не понимала! Я о нем не думала! Но что делать? Я подобрала свой длинный-длинный палевого цвета шлейф (платье было белое, с огромным вырезом), на голове колыхались белые страусовые перья – костюм райский! – и пошла. Он стоял на сцене. Не помню ничего, что он объяснял. Кажется, пришел говорить с режиссером насчет «Отравленной туники». Сказал, что надо поговорить со мной. Попросил выйти к нему, когда разденусь. Я согласилась. Пришлось снять наряд прекрасной леди

и надеть мое скромное зимнее пальто. Мы пошли «своей» дорогой, т. е. «моя» дорога домой была теперь и «его» дорога – он жил. Я не помню, почему я стала опять «бегать» от Гумилева. Не помню, как он меня выследил и вернул. <…>

Счастья в моем понимании «Sturm und Drang'a», когда все движется и переплескивается через край, быть не могло. Оно было где-то за рубежом нашей жизни, нашей родины. Лицо Гумилева, которое я теперь видела, было (для меня) добрым, милым, походило, скорее, на лицо отца, который смотрит на свою выросшую дочку. Иногда слегка насмешливым. Скорее – к себе. Очень редко – раз или два – оно каменело. Мне нравилось его ироническое и надменное выражение «на сторону». <…>

Очень странно, я смотрела на Гумилева с первого дня знакомства как на свою полную собственность. Конечно, я фактически исполняла его желания и ничего от него не требовала, но вот сознание было такое, и думаю, что он это понимал. Я равнодушно относилась к поездкам в Бежецк, где была его семья, и смотрела на Аню как на случайность. Очень хорошо относилась к сыну – Леве, – о девочке он почти не говорил и вообще никогда не говорил ни одного слова, которое бы мне не понравилось. Я никогда не заметила ни одного взгляда или интонации, которая бы меня обидела. Что это – особая хитрость или так все получалось? Надо сказать, что у меня был только один способ: при малейшей тени неприятности убегать и прятаться, а ему – меня разыскивать и улещивать. Думаю, что меня, которую не боялась ни одна собака, он как-то «боялся». Но как он мог подействовать на свою жену и других дамочек – это странно!

Как будто я ревновала больше к стихам, чем к «экскурсам» в сторону! Какие-то девицы писали ему записочки с предложениями романа и даже со стихами (мы очень хохотали).

Я помню, я даже ходила через Литейный мост проводить его к цыганам (были ли там и цыганки? вероятно!). <…>

Когда настало лето, в саду Дома литераторов цвел жасмин. Мы там часто сидели.

Помню шпалеры розовых римских свеч (или иван-чая) где-то на том берегу Невы, за Охтой.

Он оставлял мне записочки о встречах за зеркалом в Доме литераторов.

Помню, как я ходила во «Всемирную» (редко), и он почему-то брал меня за руку, как маленькую. <…>

А называл он меня, чаще всего, «моя птичка» и еще чаще: «моя певучая девочка» (?.. ведь я никогда в жизни не пела).

Я вспоминала все те случаи, когда я плакала ему в плечо!

Но мы гораздо чаще смеялись. Он был наедине скорее веселый [20; 428–432, 440–441, 446, 452].

Ольга Мочалова

Ольга Алексеевна Мочалова:

Вероятно, шел конец июня (1916 г. – Сост.). Варвара (сестра Мочаловой. – Сост.) явилась на дачу взволнованная: «Я гуляла по Нижней Массандре с книгой стихов Тэффи „Семь огней“. Присела на скамейку. Ко мне подошел санаторный отдыхающий в халате и спросил: „Юмористикой занимаетесь?“ – „Нет, это стихи“, – ответила я. – „А, «Семь огней»“. Тэффи известна как юморист, и очень немногие знают ее единственную лирическую книгу. Поэтому я с ним заговорила. Это оказался Гумилев. Он предложил прийти к нему в палату. – „Разве у Вас там какая-нибудь особенная архитектура? Уверена, что нет“, – ответила я. „Завтра мы встретимся у входа в парк. Ты иди со мной“».

Гумилев пришел к воротам Массандровского парка в офицерской форме, галифе. Характерна была его поступь – мерная, твердая – шаги командора. Казалось, ему чужда не только суетливость, поспешность, но и быстрые движенья. Он говорил, что ему приходилось драться в юности, но этого невозможно было себе представить. <…>

Варвара в это лето написала целую тетрадь о нашем знакомстве с Николаем Степановичем. Записки ее, к моему удовольствию, не уцелели. Они отличались иронией, насмешечкой. Она не восприняла особенностей Гумилева, обаяния, ставшего для меня незабываемым. В ее истолковании получалось, что он ухаживал больше за ней, но она не пошла ему навстречу, как я, поэтому продолжались встречи со мной. Что ж, может быть. Но запомнил он меня, почему бы то ни было.

Сложилось у Варвары четверостишие, которым она гордилась:

Ольга Мочалова
Роста немалого
В поэта чалого
Влюбилась, шалая.

Описывались все мои грехи, – как бросаюсь в море с часами, плаваю рядом с дельфинами, бормочу по ночам. Ну, словом – шалая. Тем более что еще «О, Тристан» и мистер Артур. А Гумилеву я, конечно, курортная девочка, между прочим.

Синело море, шумел прибой, ночи падали с неба сразу,

непроглядным бархатом.

Он нес с собой атмосферу мужской требовательной властности, неожиданных суждений, нездешней странности. Я допускала в разговоре много ошибок, оплошностей. Неопытность, воспитанность на непритязательных фильских (в Филях. – *Сост.*) кавалерах, смущенье, – все заставляло меня быть сбивчивой. Нет, интересной для него собеседницей я не была. Стихи я читала ему ребячливые:

Маркиз Фарандаль,
Принесите мне розу,
Вон ту, что белеет во мгле;
Поймайте вечернюю тонкую грезу,
Что вьется на Вашем челе.

Он смеялся: «Что же греза вьется, как комар?» На одно стихотворенье он обратил внимание: «В твоем венце не камни ценные». Взял ситуацию плачущей девушки над гробом возлюбленного для концовки «Гондлы», которую писал в то лето. Он читал мне стихи:

Перед ночью северной, короткой
И за нею зори – словно кровь…
Подошла неслышною походкой,
Посмотрела на меня любовь…

В санатории он написал и прочел мне свою лирическую жемчужину:

За то, что я теперь спокойный,
И умерла моя свобода,
О самой светлой, самой стройной
Со мной беседует природа.

Тогда я подумала: «На что же я при таком очаровательном воспоминании „о самой стройной, самой белой, самой нежной, самой милой“?»

На закате, на краю дороги, ведущей в Ялту, были поцелуи. Требовательные, бурные. Я оставалась беспомощной и безответной. Мимо прошла наша компания, возвращаясь с прогулки, которую я на этот раз не разделила. Н. С. снял фуражку и вежливо поклонился.

Мы бродили во мраке южной ночи, насыщенной ароматами июльских цветений, под яркими, играющими лучами, звездами.

«Когда я люблю, глаза у меня становятся голубыми».

«Вы не знаете, как много может дать страстная близость».

«Когда я читаю Пушкина, горит только частица моего мозга, когда люблю – горю я весь».

«Вы сами не знаете, какое в Вас море огней».

«Я знаю: Вы для меня певучая».

«Я прошу у Вас только одного разрешения. Я мог бы получить несравненно более полное удовлетворение, если бы этим вечером поехал в Ялту». – «Как это делается, – удивлялась я. – Кто эти дамы? Ну что ж, если Вам так нужно, поезжайте».

Мы сидели на камне, упавшем с обрыва на дорогу. «Если Вы согласны, положите руку на мою руку». Я не положила. «Если бы Вы положили руку на мою, я отказался бы от своего желания, но знал бы, что душа у Вас лебединая и орлиная». «Как хорошо. Но я не могла Вас обмануть. Мне так не нужно».

Был поцелуй на горе, заставивший меня затрепетать. Крепко, горячо, бескорыстно. «Вот так». «Если бы Вы согласились, я писал бы Вам письма. Вы получили бы много писем Гумилева».

А я думала: «Фили, старый дом, тетушки, нескладная шуба, рваные ботики, какие попало платья, неустроенность, заброшенность, неумелость. А он знаменитый, светский, избалованный поклоненьем, прекрасными женщинами. Что могу я для него значить? Нет, не справлюсь».

В разговоре среди другого я ему сказала: «Вот мы с Вами встречаемся, а Вы ни разу ничего не спросили обо мне, – кто я, где я, с кем и как живу?»

Он ответил: «В восемнадцать лет каждый делает из себя сказку».

На другой день он должен был уехать из Ялты. Утром горничная, веселая и возбужденная, ворвалась в наш номер: «Вам просили передать письмо». Он приходил перед отъездом и принес вложенную в конверт карточку. Надпись была:

«Ольге Алексеевне Мочаловой. Помните вечер 7-го июля. Я не пишу прощайте, я твердо знаю, что мы встретимся, когда и как – Бог весть, но верю, что лучше, чем в этот раз. Целую Вашу руку. Здесь я с Городецким. Другой у меня не оказалось. 1916».

<…> Лютой зимой 1919 года в Москву приехали Гумилев и Кузмин выступать с чтеньем стихов в Политехническом музее. Я пришла, конечно, на вечер. Аудитория не отапливалась, все сидели в шубах. <…> Я чувствовала, что Гумилев не хочет сдаваться времени, отстаивает свой мир, свои прежние темы. Он стоял перед аудиторией твердо и прямо, тоже в шубе с меховым

верхом.

В антракте я подошла к нему и робко спросила: «Николай Степанович, помните ли Вы меня?» Он живо и обрадованно ответил: «Да, да, конечно, вспоминал, думал о Вас часами по вечерам».

Уговорились, что я буду ждать его при выходе из подъезда. Светила полная луна, трещал мороз. Он шел ночевать к Коганам, странноприимной чете, любившей не поэзию, а поэтов. Он уверенно вел меня за собой. Но я была в недоумении: «В каком же качестве я туда приду? Куда меня положат? Рядом с ним?» На одном из поворотов я резко остановилась и сказала, что иду ночевать к двоюродным сестрам. Он удивился, но не стал возражать. Условились, что я завтра приду в Брюсовский институт к 8 часам.

Двоюродные сестры жили в маленьком домике на Трубной площади рядом с рестораном «Эрмитаж», где дядя Жорж директорствовал. Нюша и Лиля знали, что порой я, опоздав на ночные поезда с литературных вечеров, стучала к ним в окно со двора с просьбой о ночлеге. Со смехом и шутками впускали они меня в дом и укладывали в уголок под теплое покрывало. В эту морозную ночь я испытала здесь сильнейшее из впечатлений от встречи с Н. С. В полусне, полуяви двигались горы, смещались небо и земля, ходили большие розы с темно-красными головами, как бурная вода, текла музыка, было неразличимо чувство не то провала, не то полета, бездны или выси. Я оказывалась в неведомых мирах, где все было не названо. Именно потому, что переживанья превышали меру сил, выводили из себя, я не успела в нужную минуту сказать нужное слово. Наутро я уехала на Фили, распустила школьных ребят по случаю 25° мороза, попросила у Ани синюю шелковую блузку и отправилась в Москву во Дворец искусств. Я не опоздала к условленному часу. Но в дверях мне попался Михаил Кузмин, и на мой вопрос: «Где Н. С.?» – ответил, что Гумилев недавно ушел, и больше о нем ничего не известно. Я хотела смерти. Мы так и не встретились. Впоследствии он говорил, что ждал меня, мое отсутствие объяснил морозом и Филями и ушел.

Отчего так бьется сердце, так необходимо сегодня особенно тщательно приготовиться, одеться? Есть вышитое платье, соответствующая шапочка и матерчатые туфельки. Ведь все как обычно. Я живу на Знаменке в квартире Мониных. <…> Так обычно, что в жаркий июльский день 1921 года я иду в Союз поэтов – «Сопатку», по хульному прозвищу Боброва. <…> Варвара сидела у входа, она исполняла временно какие-то контрольные обязанности. Когда я вошла в кафе «Домино», она

поспешила шепнуть: «Здесь Гумилев».

Опять я подошла к нему, с кем-то беседующему. Помню быстрое движенье, мгновенное узнанье. Мы вышли вместе на улицу.

«Вы более прекрасны, более волнующи, чем я думал. И так недоступны».

А Сергей Бобров ехидничал вслед: «Олега уже повели».

В этот вечер мы расстались на углу у Ленинской библиотеки. Он шел ночевать во Дворец искусств. При расставанье он быстро проговорил много бессвязных ласковых слов. На другой день, по условию, он зашел за мной на Знаменку, и мы вместе вышли. Долго ходили по улицам и вышли к запасным путям Ленинградского вокзала, где стоял его поезд, назначенный к отправке через два дня.

Н. С. ехал с юга домой; товарищ предложил ему поездку в Крым для устроенья литературных дел.

Вагон был пуст, в купе мы остались вдвоем. Пили вино. «В юности я выходил на заре в сад и погружал лицо в ветки цветущих яблонь. То же я испытываю теперь, когда Вы в моих руках».

«Вы ничего не умеете».

«Жажда Вас не иссякает, каждая женщина должна этим гордиться».

Свобода действий ведет к свободе высказываний. Он говорил о французских приемах, о случаях многократных повторений. Хвастал, что вот приехал в Москву, взял женщину. Мне не нравилось.

Был в смятенном настроении. Что делать дальше? Писать стихи и только – уже нельзя. Быть ученым? Археологом?

В купе было большое зеркало, в нем промелькнули наши образы рядом. Помню свои строки:

В зеркале отразились:
Высокий, властительный он
И девушка, как оруженосец
С романтической бурей волос.

«В Вас прелестная смесь девического и мальчишеского».

«Руки, как флейты».

Просил простить, что не может проводить обратно. Да я и не хотела. Надо было остаться одной. Домой пешком летела, как пуля.

Прощаясь у паровоза, сказал: «Если бы я мог найти здесь пещеру с драгоценными камнями – все было бы для Вас».

Мы виделись еще. Ходили по улицам. <…>

Мы сидели на ступеньках храма Христа Спасителя. Нежно, нежно, тихо, как бы издалека, звал меня: «Оля! Оля!» Я замирала, боясь на него взглянуть.

«В каждой женщине есть образ сказки: русалка, фея, колдунья. Вы – Ангел». Я пошутила: «А может быть, я – змея?» – «Нет, Вы – Ангел, я знаю, Вы – Ангел». И еще: «Что бы ни удалось Вам написать, я знаю, что у Вас душа поэта».

Он выступал в Доме Герцена и не имел успеха у тамошней публики. <…>

Когда я уходила, Н. С., спускаясь с лестницы, требовательно притянул меня к себе, как уже признанный завоеватель. Я отбилась. Он опустил руки, сказав: «Амазонка».

Я вернулась на Знаменку.

Прощаясь, мы договорились, что завтра в 12 часов он за мной зайдет.

Он не пришел.

Мы больше не виделись.

А ведь в тот день было очень нежелательное впечатление: шла рядом с нами по улице некая дамочка, виляющая телом, слащаво-фамильярно произносила: «Гум здесь».

Я ее ненавидела. <…>

Варвара Монина занесла в дневник строки: «Встретила Ольгу в Доме Герцена с Гумилевым. Она вдруг – красивая. Вся – обожженность. Вероятно, мимолетная интимность. Не по-женски» [18; 95–103].

«Синяя звезда» Елена Дюбуше

Ольга Николаевна Гильдебрандт-Арбенина:

Рассказывал про «парижскую» любовь – Елену – забыла фамилию. Она была необыкновенна тем, что, будучи строгой и неприступной девушкой, совершенно сникала и смягчалась, когда ей читал он стихи [20; 452].

Орест Николаевич Высотский:

Весна в тот год (1917 г. – Сост.) в Париже выдалась поздняя, моросил мелкий дождь, над городом висели низкие тучи. Только к середине июля разгулялось, и Николая Степановича пригласили совершить прогулку в Орлеан. Собралась небольшая компания: Ларионов, Гончарова, поэт Николай Минский и несколько молодых французов, среди которых Гумилев обратил внимание на высокую, стройную девушку в простом, но элегантном платье, с большим букетом белой сирени. У нее были большие карие, чуть раскосые глаза, темные локоны оттеняли ровную матовость лица. Ларионов назвал ее имя: Элен Дибуше. Выяснилось, что она полуфранцуженка, полурусская, дочь врача-хирурга. Русские звали ее Еленой Карловной.

Хотя прежде Гумилев не бывал в Орлеане, судьбу Орлеанской Девы он знал, как мало кто другой, и увлек свою новую знакомую необычайно красочным рассказом о Жанне. Он не замечал окружающего, видя только Елену, радуясь брошенной ему улыбке, ревнуя, когда она разговаривала не с ним. Они бродили по городу, заходили в большой гулкий собор, кормили на площади воркующих голубей. Вечером, когда утомленные и притихшие возвращались поездом в Париж, Гумилев был точно в тумане. Он чувствовал, что произошло что-то большое, радостное и одновременно страшное. Тетрадь, в которую он записывал стихи, теперь начнет заполняться быстро. Первое стихотворение, навеянное новой страстью, появилось в ту же ночь, к рассвету:

Из букета целого сирени
Мне досталась лишь одна сирень,
И всю ночь я думал об Елене,
А потом томился целый день.

Все казалось мне, что в белой пене
Исчезает милая земля,
Расцветают влажные сирени

За кормой большого корабля.

И за огненными небесами
Обо мне задумалась она,
Девушка с газельими глазами
Моего любимейшего сна.

Сердце прыгало, как детский мячик,
Я, как брату, верил кораблю,
Оттого, что мне нельзя иначе,
Оттого, что я ее люблю.

(«Из букета целого сирени…»)

Сиреневую веточку из своего букета подарила ему, прощаясь, Елена!

В штабе, куда он являлся ежедневно, ожидая отправки на Салоникский фронт (Греция, Салоники. – *Сост.*), приказа все не было. Теперь его уже не тяготила мысль, что придется и дальше торчать в Париже. Ему это казалось счастьем, особенно после того, как Елена первой ему позвонила и они условились о встрече.

Вечером они были на балете. В вечернем платье Елена казалась особенно прелестной. Потом он провожал ее по ночным улицам «к тупику близ улицы Декамп» и долго прощался у массивной входной двери с бронзовыми ручками. Условились в ближайшее воскресенье совершить прогулку в Версаль.

Жизнь раскололась надвое: выполнение противных обязанностей у комиссара Раппа, звонки по телефону, поездки в военные лагеря – и постоянное радостное ожидание новой встречи с Еленой, которая держалась с ним дружески-просто, свободно, как принято во Франции. А он весь горел и писал в тетради:

Как ты любишь, девушка, ответь,
По каким тоскуешь ты истомам?
Неужель ты можешь не гореть
Тайным пламенем, тебе знакомым?

Если ты могла явиться мне
Молнией слепительной Господней,
И отныне я горю в огне,
Вставшем до небес из преисподней?

(«Много есть людей, что, полюбив…»)

При встрече Гумилев читал ей стихи, написанные накануне, стараясь по выражению лица угадать ее отношение – не к стихам, к любовным признаниям. Она слушала с улыбкой, говорила, что любовь всегда свободна, и от ее слов Гумилев терзался еще сильнее:

…Нет, любовь не это!
Как пожар в лесу, любовь – в судьбе,
Потому что даже без ответа
Я отныне обречен тебе.

(«Мы в аллеях светлых пролетали…»)

Странными были их отношения. Встречаясь с Еленой уже несколько недель, он все не решался открыто с нею объясниться. Мысли о будущем его не тяготили, а прекратить свидания с Еленой было выше его сил. <…>

Гумилев смотрел на нее с восторгом и нежностью и страдал все сильнее.

После свиданий Елена вдруг исчезала на целую неделю, не отвечая ни на письма, ни на телефонные звонки. <…>

Однажды, даже не предупредив по телефону, она пришла в отель, где он жил, – даже по меркам французов такое считалось неудобным. Николай Степанович понял, что пришло время объясняться. <…>

После этой встречи ему пришлось, даже не успев предупредить Елену, уехать в лагерь почти на три недели. Возвратившись в Париж, он поспешил на улицу Декамп с надеждой на свидание. Консьержка сказала, что мадемуазель десять дней назад уехала, а когда вернется, неизвестно. <…>

Елена позвонила только через неделю. Они встретились в кафе; она объявила, что их отношения зашли слишком далеко и это не приведет ни к чему хорошему. Нужно думать о будущем. Возвращение в Россию для нее невозможно. Надо устраивать свою жизнь. Гумилев растерялся: отвечать ей было нечего. Впервые в жизни он почувствовал неуверенность. <…>

Шел октябрь, зарядили холодные дожди. Свидания прекратились, все разладилось. Стало ясно – роман окончен. <…>

Решение было принято, точка поставлена. Он больше не искал встреч, не звонил, старался задерживаться на службе, чтобы отвлечься от воспоминаний. Однако в конце октября Елена

позвонила и каким-то жалким голосом попросила с ней встретиться.

Оказалось, им предстояло проститься. Вскоре Елена уезжала из Парижа, из Франции, даже из Европы. У нее появился жених – американец французского происхождения из Чикаго, там у его отца большое дело.

Оставалось лишь пожелать ей счастья за океаном [9; 238–244].

Михаил Федорович Ларионов:

Мы с Николаем Степановичем виделись каждый день почти до его отъезда в Лондон. Затем он приезжал в Париж на 1–2 дня перед отъездом в Петербург, куда отправлялся через Лондон же. Подобный альбом им был переписан и подарен Елене Карловне Дебуше (Дюбуше) (дочь известного хирурга), в замужестве мадам Ловель (теперь американка). Вначале многие стихи, написанные во Франции, входили в сборник, называемый «Под голубой звездой» – название создалось следующим образом. Мы с Николаем Степановичем прогуливались почти каждый вечер в Jardin des Tueleries. В Париже, знаете, помните, недалеко от Pare de Carroussel, на дорожке, чуть-чуть вбок от большой аллеи, стояла статуя голой женщины – с поднятыми и сплетенными над головой руками, образующими овал. Я, проходя мимо статуи, спросил у Н. С., нравится ли ему эта скульптура? Он меня отвел немного в сторону и сказал:

– Вот отсюда.

– Почему, – спросил я, – ведь это не самая интересная сторона?

Он поднял руку и указал мне на звезду, которая с этого места как раз приходилась в центре овала переплетенных рук.

– Но это не имеет отношения к скульптуре.

– Да! Но ко всему, что я пишу сейчас в Париже «под голубой звездой».

Как образовалось «К голубой», мне не ясно. Как мне кажется, это произошло под внезапным впечатлением одного момента… потом осталось так, но означает то же стремление – к голубой звезде – настоящей. Не думаю, чтобы кто бы то ни было мог бы быть для него такой звездой. Почти всегда самое глубокое чувство, какое у Николая Степановича создавалось в любви к женщине, обыкновенно обращалось в ироническое отношение и к себе, и к своему чувству [13; 102].

Сергей Константинович Маковский:

Все же не надо преувеличивать значения «несчастной»

парижской страсти Гумилева. Стихи «К Синей звезде» искренни и отражают подлинную муку, однако остаются «стихами поэта», и неосторожно было бы приравнивать их к трагической исповеди. Любовная неудача больно ущемила его самолюбие, но как поэт, как литератор прежде всего, он не мог не воспользоваться горьким опытом, дабы подстегнуть вдохновение и выразить в гиперболических признаниях не только свое горе, но горе всех любивших неразделенной любовью. С точки зрения формальной стихи «К Синей звезде» часто небезупречны, неудавшихся строк много. Но в каждом есть такие строки, что останутся в русской лирике [9; 381].

Дориана

Дориана Филипповна Слепян:

Как я ни стараюсь – я никак не могу вспомнить при каких обстоятельствах произошло мое знакомство с Николаем Степановичем Гумилевым?!

Да и не мудрено – ведь это было так давно, приблизительно в 1918–1919 году…

Тогда мне было всего шестнадцать лет. Возможно, что меня где-нибудь с ним познакомил Александр Авелевич Мгебров <…>. Хотя не исключено, что кто-нибудь из студентов – устроителей вечеров Технологического Института, которые я часто посещала.

Эти вечера проводились ежесубботно в «Столовке Техноложки», куда очень охотно приходили читать свои стихи приглашаемые поэты, начиная от буквально обожаемого «самого» Александра Блока. <…>

Они проводились во дворе Института, с «очень черного хода», в узком и длинном помещении столовой, уставленной столами, обитыми черной клеенкой и досчатыми скамейками. В конце столовой был пристроен помост, на котором и происходили обычно все выступления. <…>

Многие участники после выступлений охотно оставались с веселой молодежью, тем более, что в такие дни студенческая столовая комиссия выдавала по тарелке каши, хлеб и кусок настоящего сахара к обжигающей кружке чая, что в то голодное время в Петрограде имело свою дополнительную притягательную силу, тем более для Николая Степановича, который в ту пору никогда не был сыт.

Мне вспоминается, и это вполне возможно, что мое знакомство с Николаем Степановичем Гумилевым состоялось на одном из таких вечеров. В конце концов это и не важно, а важно то, что мы неоднократно встречались, что он часто мне звонил по телефону, чтобы уговориться о встрече, а иногда, зная об обычных моих часах занятий в Консерватории – возникал на каком-нибудь углу по пути моего следования.

Его коричневая, экзотическая северная доха, с аппликациями из фигур белого цвета, видна была издали и привлекала всеобщее внимание, что, впрочем, его ничуть не смущало. <…>

В то время он мне казался «сильно пожилым» и никаких к себе чувств, кроме восхищения как поэтом, не вызывал.

Но мне его отношение импонировало, да и всегда с ним было интересно, в особенности когда он рассказывал о своих необыкновенных путешествиях.

Я уже говорила о том, что мы с ним довольно часто встречались, но это вызывало резкое недовольство моей матери, и поэтому он дома у нас не бывал.

Однажды, когда я захворала, я получила от него письмо. Он писал, что очень грустит, не видя меня, мечтает о многом поговорить со мной, но «не хочет надкусывать плод», поэтому обо всем поговорим при личной встрече.

В одну из наших встреч он подарил мне книжку стихов, на титульном листе которой было написано стихотворение, а над ним посвящение: «Дориане с ее скрипкой – мои первые стихи».

Вот это стихотворение:

Я говорил: «Ты хочешь, хочешь?
Могу ль я быть тобой любим?
Ты счастье странное пророчишь
Гортанным голосом своим:

А я плачу за счастье много,
Мой дом – из звезд и песен дом.
И будет сладкая тревога
Расти при имени твоем.

И скажут – что он? – только скрипка,
Покорно плачущая, он,
Ее единая улыбка
Рождает этот дивный звон.

И скажут: что он? – только море,
Двояко отраженный свет,
И после – о какое горе,
Что девушки такой же нет!»

К моему большому сожалению, в тридцать седьмом году я уничтожила эту книжку и письмо. <…>

Однажды, к моей великой радости и гордости – Николай Степанович меня пригласил на заранее объявленный Бал-маскарад. <…>

Появление Николая Степановича Гумилева на маскараде вызвало общее внимание. Он был в своем обычном, уже изрядно поношенном черном костюме, но на этот раз в очень высоком белом, туго накрахмаленном воротничке (которых тогда уже давно никто не носил) и черном старомодном галстуке. При входе он надел черную полумаску, но очень быстро ее снял,

вероятно потому, что ему хотелось быть узнанным.

Уже через несколько секунд он был окружен плотным кольцом поклонников, одолевавших его просьбами прочитать стихи. В ответ Николай Степанович театрально приложил руки к сердцу и, показывая на меня, аффектированно произнес: «Если моя королева захочет, то я прочту» – и склонился в подчеркнуто почтительной позе. Конечно, зардевшаяся от счастья «королева» «захотела» и также театрально подыграла своему партнеру.

Николай Степанович в этот вечер был в ударе, подогрет шумными аплодисментами. Он прочитал много стихов, адресуя их мне, в особенности мне запомнилось:

Девушка, твои так нежны щеки,
Грудь твоя, как холмик невысокий,
Полюби меня и мы отныне
Никогда друг друга не забудем…
и т. д.

(Цитирую эти строки по памяти). <…>

Возвращались мы с этого памятного мне маскарада под утро, втроем – третьим был Мгебров, ярый поклонник Гумилева, очень симпатизировавший мне и давно уговаривавший меня идти на сцену <…>.

Итак, в то утро улицы сплошь были залиты дождем, а никаких способов передвижения, кроме пешего, в ту пору не существовало. Николай Степанович, увидев мое отчаяние по поводу того, что моим новым туфлям грозит гибель, предложил понести меня на руках, и Мгебров его поддержал.

Они переплели руки «стульчиком», и оттого, что я была очень мала ростом, оба они «рыцарски склонялись ко мне» перед каждой очередной лужей, чтоб мне легче было садиться, и так, держа обоих за шеи и почти не слезая всю дорогу, я была доставлена домой, даже не замочив своих новых туфель. <…>

После того, как я поступила в театральную школу, мы стали все реже и реже встречаться. Я была целиком захвачена занятиями и репетициями, и всем тем, что сопутствовало моему страстному увлечению театром. Да и он больше не искал меня [12; 194–198].

Цыганка Нина

Ольга Моисеевна Грудцова *(урожд. Наппельбаум; 1905–1982), мемуаристка:*

У нее были коротенькие ноги колесом, одухотворенное лицо, распущенные волосы, огромные блестящие глаза… Говорили, что у нее был роман с Гумилевым когда-то. Она сидела на полу, на подушке с гитарой, и пела. Много я слышала в продолжении моей жизни цыган, но такого замечательного таланта не приходилось больше встречать [12; 177].

Вера Константиновна Лукницкая:

Она была его тайной пристанью в шумном, гневном мире. Он, одержимый, утомленный, рядом с ней – отдыхал. В то тяжелое время ему было легко только у нее. Она, ничего не требуя, всегда нежно и терпеливо успокаивала его и пела ему. Она сочиняла музыку на его стихи, которые он писал на ее коленях, и пела их ему.

В 1923 году Нина Алексеевна Шишкина-Цур-Милен подарила своему близкому другу Павлу Лукницкому часть архива Гумилева и более двух десятков беловых автографов его стихотворений и черновых вариантов. Что-то он писал у нее, что-то приносил. Сохранились в памяти рассказы Лукницкого о его отношениях с Ниной Алексеевной и стихи, написанные ей Лукницким, но поскольку Ахматовой общение это было неприятно вдвойне, то в дневниках Лукницкого почти отсутствуют подробные записи (может быть, вырезаны, выброшены?) о знаменитой певице – цыганке Нине Шишкиной и ее судьбе. Лишь отдельные, обрывочные фразы. <…>

В архиве сохранились надписи на книгах.

На верстке сборника «Жемчуга» издательства «Прометей» (СПБ., 1918):

> «Богине из Богинь, Светлейшей из Светлых, Любимейшей из Любимых, Крови моей славянской прост (ой), Огню моей таборной крови, последнему Счастью, последней Славе Нине Шишкиной-Цур-Милен дарю я эти „Жемчуга“.
>
> *Н. Гумилев,*
>
> *25 сентября 1920».*

На «Шатре»:

«Моему старому и верному другу Нине Шишкиной в память стихов и песен.

Н. Гумилев

21 шюля 1921 г.»

[16; 236–237].

Ирина Одоевцева

Георгий Викторович Адамович:

Недостаточно было бы сказать, что к Одоевцевой Гумилев благоволил. Он сразу выделил ее из числа других своих «студисток», он обращался преимущественно к ней, если нужно было вспомнить что-нибудь из Пушкина или из Тютчева, он с улыбкой выслушивал ее соображения по поводу прочитанного, дополняя или опровергая их. Не знаю, действовала ли на него «жасминность» ее восемнадцати лет. Но нет сомнения, что он уловил и почувствовал ее одаренность и предугадал то ее творческое своеобразие, которому ни в каких студиях научиться нельзя [1; 341].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Как началась моя дружба с Гумилевым? Но можно ли наши отношения назвать дружбой?

Ведь дружба предполагает равенство. А равенства между нами не было и быть не могло. Я никогда не забывала, что он мой учитель, и он сам никогда не забывал об этом. <…>

В Студии занятия, в отличие от «Живого слова», происходили не вечером, а днем и кончались не позже шести часов.

Только что кончилась лекция Гумилева, и я в вестибюле надевала свою широкополую соломенную шляпу – несмотря на революцию, мы не выходили из дома без шляпы. И даже без перчаток. Перчаток у меня было множество – целые коробки и мешки почти новых, длинных бальных перчаток моей матери, сохранявшихся годами аккуратно, «на всякий случай». И вот, действительно, дождавшихся «случая».

Я перед зеркалом заправляла бант под шляпу и вдруг увидела в рамке зеркала рядом со своим лицом улыбающееся лицо Гумилева.

От удивления я, не оборачиваясь, продолжала смотреть в зеркало на него и на себя, как будто это не наши отражения, а наш общий портрет.

Это, должно быть, длилось только мгновение, но мне показалось, что очень долго.

Лицо Гумилева исчезло из зеркала, и я обернулась.

– Вы, кажется, – спросил он, – живете в конце Бассейной? А я на Преображенской. Нам с вами по дороге, не правда ли?

И не дожидаясь моего ответа, он отворил входную дверь, пропустив меня вперед.

Я иду рядом с Гумилевым. Я думаю только о том, чтобы

не споткнуться, не упасть. Мне кажется, что ноги мои невероятно удлинились, будто я, как в детстве, иду на ходулях. Крылья за плечами? Нет, я в тот первый день не чувствовала ни крыльев, ни возможности лететь. Все это было, но потом, не сегодня, не сейчас.

Сейчас – я совершенно потрясена. Это слишком неожиданно. И скорее мучительно.

Гумилев идет со мной рядом, смотрит на меня, говорит со мной, слушает меня.

Впрочем, слушать ему не приходится. Я молчу или односложно отвечаю: «да» и «нет».

Кровь громко стучит в моих ушах, сквозь ее шум доносится глухой голос Гумилева.

– Я несколько раз шел за вами и смотрел вам в затылок. Но вы ни разу не обернулись. Вы, должно быть, не очень нервны и не очень чувствительны. Я – на вашем месте – не мог бы не обернуться.

Я еще более смущаюсь от упрека – поэты нервны и чувствительны, и он бы на моем месте…

– Нет, – говорю я. – Я нервна. Я очень нервна.

И будто в доказательство того, что я действительно очень нервна, руки мои начинают дрожать и я роняю свои тетрадки на тротуар. Тетрадки и листы разлетаются веером у моих ног. Я быстро нагибаюсь за ними и стукаюсь лбом о лоб тоже нагнувшегося Гумилева. Шляпа слетает с моей головы и ложится рядом с тетрадками.

Я стою красная, не в силах пошевельнуться от ужаса и стыда.

Все погибло. И навсегда…

Убежать, не попрощавшись? Но я застыла на месте и бессмысленно слежу за тем, как Гумилев собирает мои записки и аккуратно складывает их. Он счищает пыль с моей шляпы и протягивает ее мне.

– Я ошибся. Вы нервны. И даже слишком. Но это пройдет.

Бывают головокруженья
У девушек и стариков –

цитирует он самого себя. – Наденьте шляпу. Ну, идемте!

И я снова шагаю рядом с ним. Он как ни в чем не бывало говорит о движении на парижских улицах и как трудно их пересекать.

– А у нас теперь благодать, иди себе по середине Невского, никто не наедет. Я стал великим пешеходом. В день верст двадцать делаю. Но и вы ходите совсем недурно. И в ногу, что

очень важно.

Я не заметила, что иду с ним в ногу. Мне казалось, напротив, что я все время сбиваюсь с шага.

Возле пустыря, где прежде был наш Бассейный рынок, я останавливаюсь. Раз Гумилев живет на Преображенской, ему надо здесь сворачивать направо.

Но Гумилев продолжает шагать.

– Я провожу вас и донесу ваши тетрадки. А то, того и гляди, вы растеряете их по дороге.

И вдруг совершенно неожиданно добавляет:

– Из вас выйдет толк. Вы очень серьезно занимаетесь, и у вас большие способности.

Неужели я не ослышалась? Неужели он действительно сказал: «У вас большие способности. Из вас выйдет толк»?

– До завтра, – говорит Гумилев.

<…> И завтра очень скоро наступает. И в Студии все идет совсем обыкновенно – лекция Чуковского. Лекция Лозинского. И вот уже конец. И надо идти по той самой дороге, где вчера…

Я нарочно задерживаюсь, чтобы одной возвратиться домой, чтобы все снова пережить. Вот тут, в вестибюле, он сказал: «Нам по дороге», – и распахнул дверь и снял шляпу, пропуская меня, будто я важная дама. До чего он вежлив и церемонен…

Я иду по тому же тротуару, по которому я вчера шла вместе с Гумилевым, и повторяю: «Из вас выйдет толк…»

Мне кажется, что Гумилев все еще идет рядом со мной. Как глупо я вела себя вчера. Вряд ли он еще раз захочет проводить меня домой. Но и этого единственного раза и воспоминаний о нем мне хватит надолго. На очень долго.

– О чем вы так задумались?

Я подымаю глаза и вижу Гумилева. Он стоит в своем коричневом поношенном пиджаке, в фетровой шляпе, с портфелем под мышкой, прислонившись к стене, так спокойно, будто он у себя дома, а не на улице.

– Как вы долго не шли. Я жду вас тут уже кусочек вечности.

– Отчего?.. – спрашиваю я только.

Но это значит: отчего вы меня ждете? И он понимает.

– Я возвращался после лекции у красноармейцев. Очень славные красноармейцы. Ведь я вчера сказал вам – до завтра, помните? А я всегда держу слово. Вы в этом убедитесь, когда вы меня лучше узнаете… Вы ведь меня еще совсем не знаете [23; 44–47].

Всеволод Александрович Рождественский:

Среди многочисленных участников литературных кружков

(тогда они обычно именовались «студиями») есть люди, которых можно отнести к внимательным слушателям, усердным посетителям, до поры до времени ничем себя не проявляющим. Такой была и Рада Густавовна Гейнике, высокая стройная девушка, очень недурной наружности, носившая в пышной рыжеватой прическе огромный белый бант. Она обращала на себя всеобщее внимание, но держалась достаточно скромно, в жаркие споры не вступала и только изредка отпускала короткое ироническое и тонкое замечание. Позднее, освоясь со всем происходящим на занятиях, она стала выступать и с собственными стихами, чаще всего шуточного, насмешливого характера. Читала очень задорно, темпераментно, и всем полюбилась бойкостью, непосредственностью своей несомненно талантливой натуры [20; 420].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Мы с Гумилевым часто ходили гулять не только летом, но и осенью, и даже зимой.

В Летнем саду мы бывали редко. Летний сад был гораздо дальше, хотя в то время мы «расстоянием не стеснялись». Сейчас кажется совершенно невероятным, что мы, преодолевавшие не меньше пятнадцати верст в день, еще находили силы для прогулок – силы и охоту.

Таврический сад. Снег скрипит под ногами. Как тихо, как безлюдно. Мы одни. Кроме нас, нет никого. Ни у кого нет ни времени, ни желания гулять. Только мы и вороны на снежных деревьях.

Гумилев читает свои стихи:

Все чисто для чистого взора.
И царский венец и суму,
Суму нищеты и позора
Я все беспечально возьму…

И тем же тоном:

– Воронам не нравится. Вот они и каркают.

– Вороны глупы и ничего не понимают в стихах, – говорю я. – На свою голову каркают! На свою!..

Мы подходим к пруду и, держась друг за друга, спускаемся на лед.

– Здесь я когда-то каталась на коньках.

– Совсем не нужно коньков, чтобы кататься, – заявляет Гумилев и начинает выделывать ногами замысловатые фигуры, подражая конькобежцам, но, поскользнувшись, падает в сугроб. Я

стою над ним и смеюсь, он тоже смеется и не спешит встать.

– Удивительно приятно лежать в снегу. Тепло и уютно. Чувствую себя настоящим самоедом в юрте. Вы идите себе домой, а я здесь останусь до утра.

– Конечно, – соглашаюсь я. – Только на прощание спрошу вас:

В самом белом, в самом чистом саване
Сладко спать тебе, матрос?

И уйду. А завтра

Над вашим смертным ложем
Взовьется тучей воронье…

Но он уже встает, забыв о своем желании остаться лежать в сугробе до утра, отряхает от снега доху и спрашивает недовольным тоном:

– Почему вы цитируете Блока, а не меня?

Мы выбираемся на берег. Еще день и совсем светло. Но на бледно-сером зимнем небе из-за снежных деревьев медленно встает большая круглая луна. И от нее в саду еще тише, еще пустыннее. Я смотрю не отрываясь на луну. Мне совсем не хочется больше смеяться. Мне грустно, и сердце мое сжимается, как от предчувствия горя. Нет, у меня никогда не будет горя! Это от луны, – уговариваю я себя. И будто бессознательно желая задобрить луну, протягивая к ней руки, говорю:

– Какая прелестная луна!

– Очень она вам нравится? Правда? Тогда мне придется… Вы ведь знаете, – важно заявляет он, – мне здесь все принадлежит. Весь Таврический сад, и деревья, и вороны, и луна. Раз вам так нравится луна, извольте…

Он останавливается, снимает оленью ушастую шапку и отвешивает мне церемонный поклон:

– Я вам луну подарю. Подарок такой не снился египетскому царю.

<…> Сделав мне такой царский подарок, Гумилев не забыл о нем, а часто вспоминал о своей щедрости.

– Подумайте только, кем вы были и кем вы стали. Ведь вам теперь принадлежит луна. Благодарны ли вы мне? [23; 49–50]

Ирина Владимировна Одоевцева. *В записи А. Колоницкой:*

Конечно, я могла бы, как говорится, «распушить хвост»

и рассказать о нашем романе. Ведь в пользу этого говорит «Лес», да и вообще наши отношения. Ну да, был влюблен, но ведь он во многих бывал влюблен. Мы все тогда повторяли строчку М. Кузмина: «И снова я влюблен впервые, навеки снова я влюблен». Сколько у него было этих влюбленностей – не счесть [14; 118].

Аделина Адалис

Лев Владимирович Горнунг:

Богомазов рассказал, что с первого дня своего пребывания в Москве (в 1919 г. – Сост.) Гумилев заинтересовался поэтессой Адалис. Она жила во Дворце искусств (дом графини Соллогуб на Поварской) в нежилых, обставленных старинной мебелью комнатах. Он чуть ли не в первый день отправился к ней. Пустой дом на ночь запирался снаружи: и парадное, и ворота. В полночь Адалис слышит сильный стук в стену камнем и громкий голос. Зовут ее по имени. На вопрос: «Кто это?» – следует ответ:

– Это Гумилев. Я хочу к Вам войти.

– Дом заперт снаружи.

– Откройте окно!

Замерзшее окно открывается, Гумилев вполне успешно залезает по водосточной трубе и своей отважностью сразу пленяет сердце Адалис. Так он просидел у ее ног всю ночь в изысканных разговорах [10; 184].

Николай Степанович Гумилев. *В записи О. А. Мочаловой:*

Адалис – слишком человек… [22; 282–283]

Нина Берберова

Нина Николаевна Берберова *(1901–1993), писательница, мемуаристка:*

27 июля (1921 г. – Сост.) я вошла в дом Мурузи минут за десять до начала вечера стихов. Я прошла прямо в гостиную, где Г. Иванов подошел ко мне и, узнав, что мой конверт «где-то имеется», подвел меня к Гумилеву. Он взглянул на меня светлыми косыми глазами с высоты своего роста. Череп его, уходивший куполом вверх, делал его лицо еще длиннее. Он был некрасив, выразительно некрасив, я бы сказала, немного страшен своей непривлекательностью: длинные руки, дефект речи, надменный взгляд, причем один глаз все время отсутствовал, оставаясь в стороне. Он смерил меня глазом, секунду задержался на груди и ногах, и они оба вышли, закрыв за собой дверь. <…>

Гумилев вышел из дверей и подошел ко мне. Я встала. Стихи годились, то есть всего четыре строчки из всего принесенного. Вот эти («И буду жадно я искать») – он держал листочки в длинных своих пальцах. «И, пожалуй, еще это: север – клевер, мороз – овес».

В зале, где сидела публика, человек двадцать пять, Г. Адамович уже читал «Мария, где вы теперь?», и я пошла слушать. Все во мне вдруг угомонилось. Я почувствовала, что в полном ладу и с собой, и со всем, что меня окружает. Я шагнула куда-то, и теперь спокойствие наплывало на меня и накрывало меня волной.

Сразу после того, как чтение закончилось <…>, Гумилев пригласил меня выпить чаю. Нам подали два стакана в подстаканниках и пирожные. («Покойник был скупенок, – говорил мне впоследствии Г. Иванов, – когда я увидел, что он угощает вас пирожными, я подумал, что дело не чисто».) Никто не подошел к нам. Мы сидели одни, в углу большой гостиной, и я догадывалась, что подходить к Гумилеву, когда он сидит с облюбованной им особой женского пола, не полагается: субординация. Об этой субординации Гумилев сразу и заговорил:

– Необходима дисциплина. Я здесь – ротный командир. Чин чина почитай. В поэзии то же самое, и даже еще строже. По струнке!

Я ничего не говорила, я слушала с любопытством, тщетно ища в его лице улыбку, но был только отбегающий глаз и другой, с важностью сверлящий меня.

– Я сделал Ахматову, я сделал Мандельштама. Теперь я делаю Оцупа. Я могу, если захочу, сделать вас.

Во мне начала расти неловкость. Я боялась обидеть его улыбкой и одновременно не могла поверить, что все это говорится всерьез. Между тем, голос его звучал сухо, и лицо было совершенно неподвижно, когда он умолкал. И затем опять начиналась речь, похожая на лай. <…>

Мы сидели рядышком, на вид совершенно смирно, но между нами вспыхивали искры недружелюбия. Он заговорил опять:

– У меня студия в Доме Искусств. Там я учу молодых поэтов (он выговаривал *поатов*) писать стихи. Я научу вас писать стихи. Вы писать стихи не умеете.

– Спасибо, Николай Степанович, – сказала я тихо, – я непременно поступлю к вам в студию.

– Кто ваш любимый поэт? – внезапно вылаял он.

Я молчала: мне не хотелось лгать, это был не он.

Он взял мою руку и погладил ее. Мне захотелось домой. Но он сказал, что хочет завтра пойти со мной гулять по набережным. Он, с тех пор как вернулся в Петербург, все ходит смотреть и насмотреться не может. Камни гладит. У урны в Летнем саду, в три часа. Хорошо? Я тоже гладила камни в эти недели.

– Может быть, послезавтра?

– Завтра, в три часа.

Я встала, подала ему руку. Он проводил меня до дверей.

Мой лад не был нарушен. Я спокойно вышла на улицу и пошла домой. <…>

На следующий день я была у урны в три часа.

Мы сначала долго сидели на скамейке и мирно разговаривали, очень дружески и спокойно, и я даже вынудила у него признание, что Ахматова сама себя сделала, а он даже мешал ей в этом, и что он вчера вечером сказал мне, что он ее сделал, только чтобы поразить меня. Он рассказывал о Париже, о военных годах во Франции, потом о Союзе поэтов и Цехе, и все было так хорошо, что не хотелось и уходить из-под густых деревьев. Потом мы пошли в книжный магазин Петрополиса, и по дороге он спросил, есть ли у меня «Кипарисовый ларец» Анненского, Кузмин, последняя книга Сологуба и его собственные книги. Я сказала, что Сологуба и Анненского нет. Пока я разглядывала полки, он отобрал книг пять-шесть, и я, нечаянно взглянув, увидела, что среди них отобран «Кипарисовый ларец». Смутное подозрение шевельнулось во мне, но, конечно, я ничего не сказала, и мы вышли и пошли по Гагаринской до набережной и повернули в сторону Эрмитажа. День был яркий, ветреный, нежаркий, мы шли и смотрели на пароходик, плывущий по Неве, на воду, на мальчишек, бегающих по гранитной лесенке с улицы

к воде и обратно. Внезапно Гумилев остановился и несколько торжественно произнес:

– Обещайте мне, что вы беспрекословно исполните мою просьбу.

– Конечно, нет, – ответила я.

Он удивился, спросил, боюсь ли я его. Я сказала, что немного боюсь. Это ему понравилось. Затем он протянул мне книги.

– Я купил их для вас.

Я отступила от него. Мысль иметь Сологуба и Анненского на секунду помрачила мой рассудок, но только на секунду. Я сказала ему, что не могу принять от него подарка.

– У меня эти книги все есть, – продолжал он настойчиво и сердито, – я их выбрал для вас.

– Не могу, – сказала я, отвернувшись. Все мои молодые принципы вдруг, как фейерверк, взорвались в небо и озарили меня и его. И я почувствовала, что не только не могу взять от него чего-либо, но и не хочу.

И тогда он вдруг высоко поднял книги и широким движением бросил их в Неву. Я громко вскрикнула, свистнули мальчишки. Книги поплыли по синей воде. Я видела, как птицы садились на них и топили их. Мы медленно пошли дальше.

Мне стало очень грустно. Мы простились где-то на Миллионной, и я пошла домой, перебирая в мыслях эту вторую встречу. На следующий день я опять была в Союзе поэтов, а еще на следующий день, 30 июля, мы пошли с ним вместе во «Всемирную литературу», где мне изготовили членскую карточку Союза. Гумилев подписал ее. Она теперь в моем архиве.

Затем наступили два дня, 31 июля и 1 августа, когда мы опять ходили в Летний сад, и сидели на гранитной скамье у Невы, и говорили о Петербурге, об Анненском, о нем самом, о том, что будет со всеми нами. Он читал стихи. Под вечер, проголодавшись, мы пошли в польскую кофейню у Полицейского моста, в том доме на Невском, где когда-то был магазин Треймана. Надо было сойти несколько ступеней, кофейня была в подвале. Там мы пили кофе и ели пирожные и долго молчали. Чем ближе подводил он свое лицо к моему, тем труднее мне было выбрать, в который из его глаз смотреть. <…>

И тогда он вдруг мне сказал, в этой польской кофейне, где мы поедали пирожные, что он завел черную клеенчатую тетрадь, где будет писать мне стихи. И одно он написал вчера, но сейчас его не прочтет, а прочтет завтра. Там есть и про белое платье, в котором я была вчера (оно было сшито из старой занавески). Я была смущена, и он это заметил. Медленно и молча мы пошли к Казанскому собору и там в колоннаде долго ходили, а потом

сидели на ступеньках, и он говорил, что я должна теперь пойти к нему, в Дом Искусств, где он живет, но я не пошла, а пошла домой, обещав ему прийти в «Звучащую раковину» (его студию) на следующий день, в три часа. Там он учил, как писать стихи (что так раздражало Блока). Студисты учились у него всю прошлую зиму (1920–1921 года) и теперь «научились писать». И вы научитесь, добавил он, если будете меня слушаться.

Прислонясь к одной из колонн, он положил мне руку на голову и провел ею по моему лицу, по моим плечам.

– Нет, – сказал он, когда я отступила, – вы ужасно благоразумная, взрослая, серьезная и скучная. А я вот остался таким, каким был в двенадцать лет. Я – гимназист третьего класса. А вы со мной играть не хотите.

Это прозвучало деланно. Я ответила, что я и в детстве-то не очень любила играть и теперь страшно рада, что мне уже не двенадцать лет.

Я оставила его в колоннаде злого и недовольного. И сама была недовольна этим днем, решив больше с ним не встречаться. Но в студию я, конечно, пошла. <…>

После «лекции» Гумилев предложил играть студентам в жмурки, и все с удовольствием стали бегать вокруг него, завязав ему глаза платком. <…> После игры Гумилев повел нас к себе, кое-кто ушел, и нас оказалось всего человек пять. Комната его была большая, вдоль стен стояли узкие, длинные диваны – это был елисеевский предбанник, в бане рядом, в кафельных стенах, жила Мариэтта Шагинян. Когда все ушли, он задержал меня, усадил опять и показал черную тетрадку. «Сегодня ночью, я знаю, я напишу опять, – сказал он, – потому что мне со вчерашнего дня невыносимо грустно, так грустно, как давно не было». И он прочел стихи, написанные мне на первой странице этой тетради:

Я сам над собой насмеялся,
И сам я себя обманул,
Когда мог подумать, что в мире
Есть кто-нибудь, кроме тебя.

Лишь белая в белой одежде,
Как в пеплуме древних богинь,
Ты держишь хрустальную сферу
В прозрачных и тонких перстах.

А все океаны, все горы,
Архангелы, люди, цветы,
Они в глубине отразились

Прозрачных девических глаз.
Как странно подумать, что в мире
Есть что-нибудь, кроме тебя,
Что сам я не только ночная
Бессонная песнь о тебе.

Но свет у тебя за плечами,
Такой ослепительный свет.
Там длинные пламени реют,
Как два золотые крыла.

Я чувствовала себя неуютно в этом предбаннике, рядом с этим человеком, которому я не смела сказать ни ласкового, ни просто дружеского слова. Я поблагодарила его. Он сказал: и только? Он, видимо, совершенно не догадывался о том, что мне было и неловко, и неуютно с ним.

Когда я собралась уходить, он вышел со мной. Он говорил, что ему нынче тяжело быть одному, что мы опять пойдем есть пирожные в низок. И мы пошли, и вся его грусть в тот вечер, не знаю, каким путем, перешла в меня. Он долго не отпускал меня, наконец мы вышли и через Сенатскую площадь пришли к памятнику Петру Первому, где долго сидели, пока не стало темно. И он пошел провожать меня через весь город. Я не знала, на что решиться: дать всему этому растаять постепенно, раствориться самому, молчать и отдалиться в ближайшие дни или же сказать ему, чтобы он придумал для наших отношений другой тон и другие темы. <…> Одновременно же я казнилась, что не могу рассеять, как он говорил, его беспричинную грусть в тот вечер, чувствуя, как эта грусть все больше и больше переливается в меня и как я делаюсь внутренне все более тяжелой, неповоротливой, напряженной.

– Пойду теперь писать стихи про вас, – сказал он мне на прощанье.

Я вошла в ворота дома, зная, что он стоит и смотрит мне вслед. Переломив себя, я остановилась, обернулась к нему и сказала просто и спокойно: «Спасибо вам, Николай Степанович». Ночью в постели я приняла решение больше с ним не встречаться. И я больше никогда не встретилась с ним, потому что на рассвете 3-го, в среду, его арестовали [5; 145–152].

Ирина Владимировна Одоевцева. *В записи А. Колоницкой:*

Что же эта Берберихa все врет? Зачем она врет? Ведь у нее был роман с Гумилевым, он мне сам сказал об этом (что, наконец,

«счастливый роман со взаимностью»). Они гуляли по Петербургу ночами, и он даже просил Жоржа (Г. Иванова. – А. К.) пойти на его холостяцкую квартиру на Преображенской, 5 и немного там прибрать (сам он в то время жил в «Доме искусств» со своей женой Аней Энгельгардт). В пятницу у него на Преображенской намечалось свидание с Берберовой, и он собирался «причаститься любви», так он говорил. Но в среду его забрали…[14; 105]

Приключения и подвиги русского конквистадора

Детство

Николай Степанович Гумилев. *В записи по памяти И. В. Одоевцевой:*

Меня очень баловали в детстве. <…> Больше, чем моего старшего брата.

Он был здоровый, красивый, обыкновенный мальчик, а я – слабый и хворый. Ну, конечно, моя мать жила в вечном страхе за меня и любила меня фантастически, так,

Как любит только мать
И лишь больных детей.

И я любил ее больше всего на свете. Я всячески старался ей угодить. Я хотел, чтобы она гордилась мной [23; 58–59].

Анна Андреевна Гумилева:

Николай Степанович Гумилев родился в Кронштадте 3 апреля 1886 года, в сильно бурную ночь, и, по семейным рассказам, старая нянька предсказала: «У Колечки будет бурная жизнь». Ребенком Коля был вялый, тихий, задумчивый, но физически здоровый [9; 415].

Орест Николаевич Высотский:

Ребенок был хилым, слабеньким. Вскоре после родов Анна Ивановна сменила няньку, взяв коренастую, краснощекую, приторно-услужливую бабу, которая, казалось, только и думала, как бы лучше угодить мальчику и барыне.

Анна Ивановна заметила, что Коля пугается шума. В детской установили особый режим тишины, даже днем закрывали ставнями окна. Приятель отца, доктор дворцового госпиталя Данич, советовал оберегать младенца от резких движений, давать ему больше спать и кормить строго по часам.

Похоронив несколько лет назад своего первенца – Зиночку, Анна Ивановна волновалась за новорожденного. Если его старший брат рос крепким, упитанным, уже пытался самостоятельно стоять в кроватке, крепко ухватившись за перекладину, то при виде синеватого, сморщенного личика Коли Анну Ивановну охватывали щемящая жалость и тревога.

Степан Яковлевич получил очередной отпуск, но не поехал лечиться, готовясь с будущего года выйти в отставку. Ему исполнилось 50 лет, все чаще давал себя знать ревматизм,

полученный в плаваниях по северным морям, да и легкие беспокоили врачей.

В доме, особенно осенью, ложились рано, а по утрам рано вставали. В тот злополучный вечер легли, как всегда. Анна Ивановна взяла в постель «Консуэло» и, облокотившись на подушку, читала, ожидая, когда ровно в полночь нянька принесет кормить Колю. Вдруг из детской раздался даже не крик, а вопль. Анна Ивановна вся похолодела.

Вбежав в детскую, она обмерла, увидя на руках отца Колю с залитым кровью лицом. На полу валялась бутылка темно-зеленого стекла с отбитым горлышком. Ребенок уже не плакал, он только весь дрожал и судорожно икал. Нянька сидела в углу на стуле с растерянно-глупой улыбкой. Только теперь все поняли – она вдребезги пьяна.

Появился доктор Квицинский, в черном сюртуке, в очках с золотой оправой. Все молча ждали, боясь самого страшного: вдруг глаз вытек? К счастью, оказалось, что глаз цел, но бровь и скула рассечены глубоко, останется шрам.

Действительно, правый глаз у Коли уцелел чудом, а шрам, оставшийся на всю жизнь, создавал впечатление косоглазия.

<…> Родителей тревожило здоровье младшего сына; мало того, что мальчик был слабенький, даже на втором году жизни не мог стоять в кроватке, он постоянно страдал головными болями. Доктор определил это как повышенную деятельность мозга. Коля не был плаксив, но ему приходилось закладывать ватой уши, чтобы уберечь от уличного шума, который на ребенка плохо действовал. К трем годам обнаружился еще один недостаток: мальчик говорил невнятно, глухо, точно у него во рту комок ваты. Он не мог произнести не только «р», но и несколько других букв, вместо «вчера» говорил «вцегла».

Отец посчитал, что детям нужна природа: лес, речка, веселые игры на свежем воздухе. Анна Ивановна, выросшая в деревне, с этим соглашалась, и в 1890 году Гумилевы купили небольшое имение, скорее дачу, поблизости от станции Поповка Николаевской железной дороги. В имении было два дома, флигель, конюшня, а главное – небольшое озеро или пруд с островком посередине, поросшим высокими осинами. Озеро окаймляла роща, переходившая в еловый лес [9; 29–31].

Анна Андреевна Гумилева:

С раннего детства любил слушать сказки. Все дети были сильно привязаны к матери. Когда сыновья были маленькими, А. И. им много читала и рассказывала не только сказки, но и более серьезные вещи исторического содержания, а также

и из Священной Истории. Помню, что Коля как-то сказал: «Как осторожно надо подходить к ребенку! Как сильны и неизгладимы бывают впечатления в детстве! Как сильно меня потрясло, когда я впервые услышал о страданиях Спасителя». Дети воспитывались в строгих принципах православной религии. Мать часто заходила с ними в часовню поставить свечку, что нравилось Коле [9; 415].

Орест Николаевич Высотский:

Часто они слушали о своем дедушке Льве Васильевиче, штурмовавшем Очаков, и о другом – Якове Алексеевиче, сражавшемся против Бонапарта.

Колю эти рассказы особенно волновали. Он рисовал в тетрадке им самим придуманные фамильные гербы, вглядывался в висевшие на стенах портреты предков. В доме был большой альбом с красочными картинами Отечественной войны 1812 года: оборона Смоленска, кавалерийская атака драгун, Бородинское сражение – клубы порохового дыма, гарцующие по полю всадники в ярких мундирах, медные пушки, фельдмаршал Кутузов на низеньком стуле… Анна Ивановна вспоминала, как в Слепневе об этом сражении обступившей его детворе рассказывал седой старик, отставной солдат с серебряными медалями.

Степан Яковлевич тоже много рассказывал сыновьям о своих морских походах. Но рассказывал сухо: перечислял порты, куда заходил их корабль, морские течения, господствующие пассаты и любил, чтобы Николай показывал на большой географической карте гавани, мысы и проливы.

Анна Ивановна рано приобщила сыновей к религии. Из Слепнева она привезла «Bible d'une Grand-mère» – толстую книгу в темно-вишневом переплете со множеством прекрасных иллюстраций. Обычно мать, сидя на диване и положив «Бабушкину библию» на колени, открывала страницу с картинкой и принималась рассказывать, а оба мальчика, сидя рядом, слушали, разглядывая рисунок.

Эти иллюстрации и рассказы матери будоражили воображение Коли. Оставаясь один, он вспоминал подробности, что-то дополняя по собственному разумению. Сколько было потом написано им стихов и поэм на эти древние, но вечно живые темы!

Кроме библейских сказаний мать читала детям и страницы из Евангелия. Мысль об искуплении грехов мученической смертью поразила мальчика – она не покинет Николая Степановича всю его короткую и бурную жизнь. < … >

Коле исполнилось семь лет, и мать на Страстной неделе

впервые повела его к исповеди.

– Священник будет задавать тебе вопросы, – объясняла Анна Ивановна, – а ты должен отвечать: «Грешен, батюшка».

– А если батюшка спросит, не убил ли я брата, как Каин, я тоже должен отвечать – грешен?

– Ну, такое батюшка не спросит…

– Почему не спросит? А если спросит, и я скажу «грешен», значит, солгу, а это – грех.

– Священник знает все твои грехи и, конечно, не спросит про убийство.

– Если батюшка все знает, зачем тогда спрашивает?

– Чтобы ты сам сознался перед Богом в своих грехах и тем облегчил свою душу.

Ранним утром в почти пустой церкви слабо колебались огоньки нескольких свечей, посреди, на возвышении лежала плащаница с нарисованным масляной краской телом Христа, а в стороне, у бокового притвора стоял священник в темной рясе, с большим крестом в руке и внимательно смотрел на входивших. Все прошло благополучно. Даже суровый отец поздравил его с принятием Святых Даров и поцеловал в голову [9; 34–35].

Анна Андреевна Гумилева:

Учиться Коля начал рано. Первоначальное обучение получил дома. С шестилетнего возраста он прислушивался к учению на уроках брата. В семь лет уже читал и писал. С восьмилетнего возраста стал писать рассказы и стихи. Помню, А. И. многие из них сохраняла, держа в отдельной шкатулке, обвязанной бантиком [9; 417].

Вера Константиновна Лукницкая:

П. Н. Лукницкий записал, со слов Ахматовой, отрывок из стихотворения шестилетнего Коли Гумилева:

Живала Ниагара
Близ озера Дели,
Любовью к Ниагаре
Вожди все летели…
[16; 16].

Анна Андреевна Гумилева:

По натуре своей Коля был добрый, щедрый, но застенчивый, не любил выказывать свои чувства и старался всегда скрывать свои хорошие поступки. Например. В дом Гумилевых многие годы приходила старушка из богадельни, так называемая «тетенька

Евгения Ивановна», хотя тетей она им и не приходилась. Приходила она обыкновенно по воскресеньям к 9 ч<асам> утра и оставалась до 7 ч<асов> вечера, а часто и ночевать. Коля уже за неделю прятал для нее конфеты, пряники и всякие сладости, и когда Е. И. приходила, он, крадучись, не видит ли кто-нибудь, давал ей и краснел, когда старушка его целовала и благодарила. Чтобы занять старушку, Коля играл с ней в лото и домино, чего он очень не любил [9; 415–416].

Николай Степанович Гумилев. *В записи по памяти И. В. Одоевцевой:*

Это было летом в деревне. Мне было шесть лет. Моя мать часто рассказывала мне о своих поездках за границу, об Италии. Особенно о музеях, о картинах и статуях. Мне казалось, что она скучает по музеям.

И вот, в одно июльское утро я вбежал к ней в спальню очень рано. Она сидела перед туалетом и расчесывала свои длинные волосы. Я очень любил присутствовать при том, как она причесывается и одевается с помощью горничной Вари. Тогда ведь это было длительное и сложное дело – корсет, накрахмаленные нижние юбки, платье, застегивающееся на спине бесконечными маленькими пуговками. Но в то утро я нетерпеливо стал дергать ее за руку: «Идем, идем, мама, в сад. Я приготовил тебе сюрприз».

Я был так взволнован, что она уступила и как была, в пеньюаре, в ночных туфельках, с распущенными волосами, согласилась идти со мной.

В саду я взял ее за руку:

– Закрой глаза, мама, и не открывай, пока я не скажу. Я поведу тебя.

И она, смеясь, дала мне вести себя по дорожке. Я был так горд. Я задыхался от радости.

– Вот, мама, смотри. Это я для тебя! Это музей! Твой музей!

Она открыла глаза и увидела: на клумбе между цветов понатыканы шесты, на них извивались лягушки и ящерицы. Четыре лягушки, две жабы и две ящерицы. Поймать их мне стоило большого труда.

– Это для тебя, мама. Я сам все сделал! Для тебя!

Она с минуту молча смотрела, будто не понимая, потом вырвала свою руку из моей.

– Как ты мог! Какой ужас! – И, не оглядываясь, побежала в дом. Я бежал за ней, совершенно сбитый с толку. Я ждал восторженных похвал и благодарности, а она кричала:

– Скверный, злой, жестокий мальчишка! Не хочу тебя видеть!

Добежав до крыльца, я остановился и заплакал. Она не поняла. Она не сумела оценить моего первого творчества. Я чувствовал себя оскорбленным. Раз она не любит меня, не хочет меня больше видеть, я уйду от нее. Навсегда. И я повернул обратно, прошел весь сад, вышел на дорогу и пошел по ней в лес. Я знал, что в лесу живут разбойники, и тут же решил стать и сам разбойником, а может быть даже – у меня всегда были гордые мечты – стать атаманом разбойников.

Но до леса мне дойти не удалось – он был в пяти верстах. Меня очень скоро хватились, и за мной уже неслась погоня. Брат и двое дворовых верхом, мама в коляске.

Пришлось вернуться.

Нет, меня не бранили и не наказали за попытку бегства из дома. Напротив даже. Возвращение блудного сына было, как и полагается, пышно отпраздновано – мать подарила мне книжку с картинками и игрушечный лук со стрелами, а к обеду подали мои любимые вареники с вишнями. Но моей разбойничьей карьере был положен конец. А жаль! Из меня мог бы выйти лихой атаман разбойников [23; 59–60].

Александра Степановна Сверчкова:

В мальчике рано проснулась любовь к поэзии, он стал глубоко вдумываться в жизнь, его поразили слова в Евангелии: «вы боги»… и он решил самоусовершенствоваться. Живя в «Березках», он стал вести себя совершенно непонятно: пропадал по суткам, потом оказывалось, что он вырыл себе пещеру на берегу реки и проводил там время в посте и раздумье. Он пробовал даже совершать чудеса!.. [22; 235]

Ирина Владимировна Одоевцева:

Как он любил вспоминать свое детство! У него теплел голос и менялось выражение лица, когда он произносил:

– Я был болезненный, но до чего счастливый ребенок…

– Мое детство было до странности волшебным, – рассказывал он мне. – Я был действительно колдовским ребенком. Я жил в каком-то мною самим созданном мире, еще не понимая, что это мир поэзии. Я старался проникнуть в тайную суть вещей воображением. Не только вещей, но и животных. Так, у нашей кошки Мурки были крылья, и она ночами улетала в окно, а собака моей сводной сестры, старая и жирная, только притворялась собакой, а была – это я один знал – жабой. Но и люди вокруг меня были не тем, чем казались, что не мешало мне их всех – зверей и людей – любить всем сердцем. Мое детское сердце. Для поэта важнее всего сохранить детское сердце и способность видеть мир

преображенным [23; 53].

Анна Андреевна Гумилева:

В детстве и в ранней юности он избегал общества товарищей. Предпочитал играть с братом, преимущественно в военные игры и в индейцев. В играх он стремился властвовать: всегда выбирал себе роль вождя. Старший брат был более покладистого характера и не протестовал, но предсказывал, что не все будут ему так подчиняться, на что Коля отвечал: «А я упорный, я заставлю». <…>

Хотя братья и были разного характера, но они были очень дружны, что все же не мешало им иногда подтрунивать друг над другом [9; 416].

Александра Степановна Сверчкова:

Митя и Коля были братьями-погодками. Как по наружности, так и по характеру они были совершенно не похожи друг на друга. Митя с самых ранних лет отличался красотой, имел легкомысленный характер, был аккуратен, любил порядок во всем и охотно заводил знакомства. Коля, наоборот, был застенчив, неуклюж, долго не мог ясно произносить некоторых букв, любил животных и не признавал порядок ни в вещах, ни в одежде. В то время как Митя увлекался приключенческими романами, Коля читал Шекспира или журнал «Природа и люди». Митя на подаренные деньги покупал лакомства, Коля – ежа или белых мышей. Выходить к гостям он терпеть не мог и уклонялся от новых знакомств, предпочитая общество морских свинок или попугая [22; 234].

Орест Николаевич Высотский:

В усадьбе было несколько лошадей. Братья любили ездить верхом по окрестным дорогам. Коля ездил отважно, любил пускать лошадь в галоп и всегда оказывался впереди Мити. Зато когда пускались наперегонки, он отставал и от брата, и от их приятеля Левы Лемана.

Как-то затеяли игру в разбойников, и мальчишка с соседней дачи заявил, что будет атаманом. Коля пришел в ярость. Тут же произошло выяснение отношений; Коля остался победителем – с большим синяком под глазом и в разорванной матросской курточке. После этой драки он принялся усиленно подтягиваться на руках, ухватившись за ветку дуба, поднимал тяжелую гирю, кем-то принесенную с мельницы [9; 36–37].

Александра Степановна Сверчкова:

Разочаровавшись в одном, он тотчас же хватался за другое, занимался астрономией, для чего проводил ночи на крыше, делал какие-то таинственные вычисления и опыты, не посвящая никого в свои занятия [22; 234].

Анна Андреевна Гумилева:

Когда семья жила в Петербурге, мальчики посещали гимназию Гуревича, которую поэт очень не любил. Будучи уже взрослым, он говорил, что одна эта Лиговская улица, где находилась гимназия, наводила на него бесконечную тоску. Все ему там не нравилось. И был очень рад, когда ему пришлось покинуть стены «нудной» гимназии [9; 417].

Вера Константиновна Лукницкая:

Мальчик увлекся зоологией и географией. Завел дома животных – морских свинок, белых мышей, птиц, белку. Когда дома читали описание какого-нибудь путешествия, Коля всегда следил по карте за маршрутом. Учитель, не сумев привить маленькому другу любовь к математике, подарил ему книгу с надписью: «Будущему зоологу», а в шутку звал его Лобачевским [16; 17].

Орест Николаевич Высотский:

Ко дню рождения Лева Леман подарил недавно вышедшую книгу «В стране черных христиан», и Коля глотал описания неведомой страны Абиссинии. < … >

В кабинете отца он отыскал старинный двухтомник, изданный еще в начале XIX века, – «Собрание новейших и любопытных путешествий в разные страны света», в переводе князя Алексея Голицына. В нем описаны путешествия в Персию, Египет, Индию и даже в Австралию. Автор рассказывает о трудностях, ожидающих путешественника, и о стойкости, неустрашимости, которыми путешественник должен обладать [9; 38].

Александра Степановна Сверчкова:

Страсть к путешествиям тоже рано начала волновать душу Коли. Ему хотелось ехать в неизведанные страны, где еще не ступала нога европейца. Для этой цели он начал тренироваться: много плавал, нырял, стрелял без промаха, но охотиться не любил: ему жаль было убивать беззащитных птиц и животных. Ходить пешком много он не мог: у него были, как он говорил, мягкие ноги, но ездить верхом мог сколько угодно, даже спал в седле [22; 235].

Вера Константиновна Лукницкая:

Курс обязательного обучения не вызывал у гимназиста интереса, и говорить об успехах в учебе было бы преувеличением. Ходил в гимназию без рвения. Равнодушие к регулярным занятиям ловко компенсировал наверстыванием упущенного в короткие сроки и, быстро отрешаясь от учебы, все более погружался в чтение. Всегда любил первую свою книжку – сказки Андерсена. Ахматова рассказывала, как Гумилев ревниво хранил эту книгу и, уже знаменитым поэтом, любил перечитывать ее [16; 17–18].

Орест Николаевич Высотский:

Страсть к поэзии Гумилев старался привить товарищам по гимназии. Решили выпускать свой журнал. Николай с бурной энергией принялся за дело: на собранные пятаки в писчебумажном магазине купили большой альбом для рисования, аккуратно, по линейке разграфили страницы, и каждый из участников должен был что-нибудь написать или нарисовать в него. Коля несколько вечеров с увлечением писал рассказ о шхуне, затертой льдами в Арктике, о сверкающем северном сиянии, огромных айсбергах и белых медведях [9; 40].

Вера Константиновна Лукницкая:

По книгам издателя Гербеля и выпускам «Русской классной библиотеки» под редакцией Чудинова, которые Гумилев скупал и прочитывал все подряд, он составлял конспекты, и теперь уже не отец рассказывал ему о плаваниях (он все чаще и тяжелее хворал), а сын отцу «делал доклады» о современной литературе. Причем Степан Яковлевич всегда отмечал, что сын говорит хорошо – не волнуясь, спокойно, а главное, систематично, что он имеет все задатки будущего лектора.

Гумилеву было тогда двенадцать лет.

В следующем году он написал большое стихотворение «О превращениях Будды» [16; 22].

Орест Николаевич Высотский:

Воображение Коли требовало не только сочинять стихи и рассказы, но и немедленно совершать какие-то активные действия [9; 40].

Вера Константиновна Лукницкая:

Увлек оловянными солдатиками своих сверстников. Устраивались примерные сражения, в которых каждый гимназист

выставлял целую армию [16; 19].

Орест Николаевич Высотский:

Под его руководством гимназисты создали «тайное общество», нечто вроде масонской ложи, и Гумилев стал его вождем, получив имя свирепого Брама-Тама, которое с достоинством носил. Однажды члены общества забрались по железной пожарной лестнице на чердак; там было сумрачно и пыльно, со стропил свисали лохмотья паутины, под ногами валялись обрывки пожелтевших газет и черепки битой посуды. В самом темном углу мальчики обнаружили большой сундук, окованный ржавыми обручами, на сундуке висел ржавый замок. Долго совещались: взломать сундук или не трогать? Любопытство взяло верх. Были принесены молоток и стамеска. Замок не поддавался, но наконец усталые, перепачканные пылью искатели клада смогли открыть крышку. В сундуке лежали старая, заношенная одежда, издававшая тяжелый запах гнили, связка порванных журналов и стоптанные, изъеденные молью валенки… [9; 40]

Вера Константиновна Лукницкая:

В это время Коля Гумилев прочел все, что было дома и у друзей. Родителям пришлось договариваться со знакомым букинистом. Любимые его писатели: Майн Рид, Жюль Верн, Фенимор Купер, Гюстав Эмар, любимые книги: «Дети капитана Гранта», «Путешествие капитана Гаттераса».

Гимназический товарищ Гумилева Л. Леман рассказывал, что комната Николая Степановича в Петербурге была загромождена картонными латами, оружием, шлемами, разными другими доспехами. И книгами, книгами. И все росла его любовь к животным: попугаи, собаки, тритоны и прочая живность были постоянными обитателями в доме Гумилевых.

Он любил говорить об Испании и Китае, об Индии и Африке, писал стихи, прозу. Наверное, поводом были не только книги, но и рассказы отца о его плаваниях по морям-океанам. И военные истории дяди-адмирала.

С нетерпением дождавшись весны, Гумилев снова на воле, в Поповке. Он все чаще и чаще заменял теперь игры в солдатиков «живыми» играми с товарищами в индейцев, в пиратов, в ковбоев. Играл самозабвенно. Одно время выполнял роль Нэна-Саиба – героя восстания сипаев в Индии. Он даже требовал, чтоб его так и называли. Потом стал Нададом Красноглазым – героем одного из романов Буссенара. По чину ему полагалось быть кровожадным. Но кровожадность никак не получалась. Однажды

мальчики собрались жарить на костре пойманных карасей. В возмездие за проигрыш в какой-то игре один из товарищей потребовал от Коли, чтобы тот откусил живому карасю голову. Процедура не из приятных. Но Коля, для поддержания репутации кровожадного, мужественно справился с задачей, после чего, правда, от роли отказался.

Родители давали обыкновенно каждому из участников игр по лошади, и им легко было воображать себя ковбоями или индейцами. Гумилев носился и на оседланных, и на неоседланных лошадях, смелостью своей вызывал восторг товарищей. В центре пруда был островок, обычное место сражений. Компания делилась на два отряда: один защищал остров, другой брал его штурмом. В этих играх Гумилев выделялся взрослой смелостью при всей своей милой наивности и вспыльчивостью при бесконечной доброте [16; 20–21].

Николай Степанович Гумилев. *В записи по памяти И. В. Одоевцевой:*

Я с детских лет был болезненно самолюбив. Я мучился и злился, когда брат перегонял меня в беге или лучше меня лазил по деревьям. Я хотел все делать лучше других, всегда быть первым. Во всем. Мне это, при моей слабости, было нелегко. И все-таки я ухитрялся забираться на самую верхушку ели, на что ни брат, ни дворовые мальчишки не решались. Я был очень смелый. Смелость заменяла мне силу и ловкость.

Но учился я скверно. Я почему-то «не помещал своего самолюбия в ученье». Я даже удивляюсь, как мне удалось окончить гимназию. Я ничего не смыслю в математике, да и писать грамотно не мог научиться. И горжусь этим. Своими недостатками следует гордиться. Это их превращает в достоинства [23; 60].

В Царскосельской гимназии

Анна Андреевна Гумилева:

В 1903 году семья вернулась в Царское Село. Здесь мальчики поступили в Царскосельскую классическую гимназию. Директором ее был известный поэт Иннокентий Федорович Анненский [9; 417].

Дмитрий Иосифович Кленовский:

Я был в младших классах Царскосельской гимназии, когда Иннокентий Анненский заканчивал там свое директорское поприще, окончательно разваливая вверенное его попечению учебное заведение. В грязных классах, за изрезанными партами галдели и безобразничали усатые лодыри, ухитрявшиеся просидеть в каждом классе по два года, а то и больше. Учителя были под стать своим питомцам. Пьяненьким приходил в класс и уютно подхрапывал на кафедре отец дьякон. Хохлатой больной птицей хмурился из-под нависших седых бровей полусумасшедший учитель математики, Мариан Генрихович. Сам Анненский появлялся в коридорах раза два-три в неделю, не чаще, возвращаясь в свою директорскую квартиру с урока в выпускном классе, последнем доучивавшем отмененный уже о ту пору в классических гимназиях греческий язык.

Он выступал медленно и торжественно, с портфелем и греческими фолиантами под мышкой, никого не замечая, вдохновенно откинув голову, заложив правую руку за борт форменного сюртука. Мне он напоминал тогда Козьму Пруткова с того известного «портрета», каким обычно открывался томик его произведений. Анненский был окружен плотной, двигавшейся вместе с ним толпой гимназистов, любивших его за то, что с ним можно было совершенно не считаться. Стоял несусветный галдеж. Анненский не шел, а шествовал, медленно, с олимпийским спокойствием, с отсутствующим взглядом. <…> Так или иначе, но среди смертных Анненского в те минуты не было. В стенах Царскосельской гимназии находилась только его официальная, облеченная в форменный сюртук оболочка [9; 309].

Анна Андреевна Гумилева:

В первый же год Анненский обратил внимание на литературные способности Коли. Анненский имел на него большое влияние, и Коля как поэт многим ему обязан. Помню, Коля рассказывал, как однажды директор вызвал его к себе. Он был тогда совсем юный. Идя к директору, сильно волновался,

но директор встретил его очень ласково, похвалил его сочинения и сказал, что именно в этой области он должен серьезно работать. В своем стихотворении «Памяти Анненского» Коля упоминает об этой знаменательной встрече:

…Я помню дни: я робкий, торопливый
Входил в высокий кабинет,
Где ждал меня спокойный и учтивый,
Слегка седеющий поэт.

Десяток фраз пленительных и странных
Как бы случайно уроня,
Он вбрасывал в пространства безымянных
Мечтаний – слабого меня
[9; 418].

Всеволод Александрович Рождественский:

В последнем классе гимназии ему удалось напечатать в местной типографии небольшой стихотворный сборник, гордо названный «Путь конквистадоров». Со страхом и трепетом он поднес его своему директору Ин. Анненскому. И получил от него «Тихие песни» с таким ответным четверостишием:

Меж нами сумрак ночи длинной,
Но этот сумрак не корю,
И мой закат холодно-дынный
С отрадой смотрит на зарю.

Сын Ин. Анненского, Валентин Иннокентьевич, писавший и печатавший впоследствии стихи под псевдонимом «Валентин Кривич», рассказывал мне в ту пору, когда он подготовлял издание посмертного сборника своего отца, при каких не совсем обычных обстоятельствах произошло это подношение. Гумилев, бывший дежурным по классу, перед уроком латинского языка вложил свою книжечку в классный журнал, принесенный из учительской, и положил на кафедру. С замиранием сердца ждал он появления директора. Вошел Ин<нокентий> Фед<орович> и, утвердясь на кафедре, раскрыл журнал. Всегда сдержанный и даже несколько чопорный, он не показал ни малейшей тени удивления. Урок шел обычным порядком. Гумилев в тревоге ждал, что будет дальше. Но ничего не случилось. Прогремел звонок, возвещающий «большую перемену», и Анненский покинул класс с журналом в руках.

Кончилась перемена, Гумилев отправился в учительскую за журналом уже для другого преподавателя. И, идя обратно по длинному коридору, обнаружил директорский подарок [20; 407].

Анна Андреевна Гумилева:

Но в гимназии Коля хорошо учился только по словесности, а вообще – плохо. По математике шел очень слабо [9; 418].

Всеволод Александрович Рождественский:

Держался он со своими товарищами несколько высокомерно, любил во всех играх занимать главенствующее положение и несколько кичился своим не бог весть каким давним дворянским происхождением. <…> Вообще важничал и, по гимназическому выражению, «задавался». <…>

Подарили Коле ко дню рождения велосипед – по тем временам вещь довольно редкую в мальчишеском обиходе, вызывающую у товарищей естественную зависть. И вот – рассказывал кто-то из старших – едет по Бульварной улице на гумилевском велосипеде его приятель по классу, а Гумилев бежит рядом и, задыхаясь от быстрого бега, кричит ему: «Ну, Кондратьев, ну покатался, и хватит. Говорю Вам, как дворянин дворянину». Это, возможно, даже самим Колей изобретенное «дворянство» служило предметом частых насмешек. Одноклассники в основном были настроены демократически, и для гимназистов той поры титулы не имели никакого значения – скорее даже наоборот. Но Гумилеву всегда хотелось быть «белой вороной», всегда чем-то выделяться из общей массы и при всяком удобном случае обнаруживать свое превосходство. Честолюбие было одной из устойчивых черт его характера даже в те, еще мальчишеские времена [20; 405–406].

Николай Степанович Гумилев. *В записи О. А. Мочаловой:*

Меня били старшие мальчики, более сильные, и я занялся упражненьями с гирями, чтобы достойней с ними сражаться… [22; 280]

Дмитрий Иосифович Кленовский:

Помню, что был он всегда особенно чисто, даже франтовато одет. В гимназическом журнальчике была на него карикатура: стоял он, прихорашиваясь, перед зеркалом, затянутый в мундирчик, в брюках со штрипками, в лакированных ботинках. Любил он бывать на гимназических балах, энергично ухаживал за гимназистками [9; 312].

Николай Степанович Гумилев. *В записи по памяти И. В. Одоевцевой:*

– Я ведь всегда был снобом и эстетом. В четырнадцать лет я прочел «Портрет Дориана Грея» и вообразил себя лордом Генри. Я стал придавать огромное значение внешности и считал себя очень некрасивым. И мучился этим. Я действительно, должно быть, был тогда некрасив – слишком худ и неуклюж. Черты моего лица еще не одухотворились – ведь они с годами приобретают выразительность и гармонию. К тому же, как часто у мальчишек, ужасный цвет кожи и прыщи. И губы очень бледные. Я по вечерам запирал дверь и, стоя перед зеркалом, гипнотизировал себя, чтобы стать красавцем. Я твердо верил, что могу силой воли переделать свою внешность. Мне казалось, что я с каждым днем становлюсь немного красивее. Я удивлялся, что другие не замечают, не видят, как я хорошею. А они действительно не замечали.

Я в те дни был влюблен в хорошенькую гимназистку Таню. У нее, как у многих девочек тогда, был «заветный альбом с опросными листами». В нем подруги и поклонники отвечали на вопросы: «Какой ваш любимый цветок и дерево? Какое ваше любимое блюдо? Какой ваш любимый писатель?»

Гимназистки писали – роза или фиалка. Дерево – береза или липа. Блюдо – мороженое или рябчик. Писатель – Чарская.

Гимназисты предпочитали из деревьев дуб или ель, из блюд – индюшку, гуся и борщ, из писателей – Майн Рида, Вальтер Скотта и Жюль Верна.

Когда очередь дошла до меня, я написал не задумываясь: «Цветок – орхидея. Дерево – баобаб. Писатель – Оскар Уайльд. Блюдо – канандер».

Эффект получился полный. Даже больший, чем я ждал. Все стушевались передо мною. Я почувствовал, что у меня больше нет соперников, что Таня отдала мне свое сердце.

И я, чтобы подчеркнуть свое торжество, не стал засиживаться, а отправился домой, сопровождаемый нежным, многообещающим взглядом Тани.

Дома я не мог сдержаться и поделился с матерью впечатлением, произведенным моими ответами. Она выслушала меня внимательно, как всегда.

– Повтори, Коленька, какое твое любимое блюдо. Я не расслышала.

– Канандер, – важно ответил я.

– Канандер? – недоумевая, переспросила она.

Я самодовольно улыбнулся:

– Это, мама, – разве ты не знаешь? – французский очень дорогой и очень вкусный сыр.

Она всплеснула руками и рассмеялась.

– Камамбер, Коленька, камамбер, а не канандер!

Я был потрясен. Из героя вечера я сразу превратился в посмешище. Ведь Таня и все ее приятели могут спросить, узнать о канандере. И как она и они станут надо мной издеваться. Канандер!..

Я всю ночь думал, как овладеть проклятым альбомом и уничтожить его. Таня, я знал, держала его в своем комоде под ключом.

Проникнуть в ее комнату, взломать комод и выкрасть его невозможно – у Тани три брата, родители, гувернантка, прислуга – к ней в комнату не проскользнешь незамеченным.

Поджечь ее дом, чтобы проклятый альбом сгорел? Но квартира Тани в третьем этаже, и пожарные потушат пожар прежде, чем огонь доберется до нее.

Убежать из дому, поступить юнгой на пароход и отправиться в Америку или Австралию, чтобы избежать позора? Нет, и это не годилось. Выхода не было.

К утру я решил просто отказаться от разделенной любви, вычеркнуть ее из своей жизни и больше не встречаться ни с Таней, ни с ее приятелями [23; 54–56].

Николай Степанович Гумилев. *В записи О. А. Мочаловой:*

В царскосельской гимназии товарищи звали меня «bizarre», т. е. странный [22; 280].

Николай Степанович Гумилев. *В записи О. А. Мочаловой:*

В 18 лет каждый из себя делает сказку… [22; 281]

Аня Горенко

Валерия Сергеевна Срезневская:

С Колей Гумилевым, тогда еще гимназистом седьмого класса, Аня познакомилась в 1904 году, в сочельник. Мы вышли из дому, Аня и я с моим младшим братом Сережей, прикупить какие-то украшения для елки, которая у нас всегда бывала в первый день Рождества. Был чудесный солнечный день. Около Гостиного двора мы встретились с «мальчиками Гумилевыми»: Митей, старшим, – он учился в Морском кадетском корпусе, – и с братом его Колей – гимназистом императорской Николаевской гимназии.

Я с ними была раньше знакома, у нас была общая учительница музыки – Елизавета Михайловна Баженова. Она-то и привела к нам в дом своего любимого Митю и уже немного позже познакомила меня с Колей. Встретив их на улице, мы дальше пошли уже вместе, я с Митей, Аня с Колей, за покупками, и они проводили нас до дому. Аня ничуть не была заинтересована этой встречей. <…>

Но, очевидно, не так отнесся Коля к этой встрече. Часто, возвращаясь из гимназии, я видела, как он шагает вдали в ожидании появления Ани. Он специально познакомился с Аниным старшим братом Андреем, чтобы проникнуть в их довольно замкнутый дом. Ане он не нравился; вероятно, в этом возрасте девушкам нравятся разочарованные молодые люди, старше двадцати пяти лет, познавшие уже много запретных плодов и пресытившиеся их пряным вкусом. Но уже тогда Коля не любил отступать перед неудачами. Он не был красив – в этот ранний период он был несколько деревянным, высокомерным с виду и очень неуверенным в себе внутри [22; 239–240].

Орест Николаевич Высотский:

Встречи с Аней Горенко стали почему-то редкими. Девушка точно избегала свиданий наедине, ходила вместе с Валей, а встретившись с Николаем, приветливо здоровалась, не прерывая болтовни с подругой. Зная, что он не понимает по-немецки, как нарочно всю дорогу декламировала немецкие стихи. Николай обижался, терпел, но не отходил.

Однажды Гумилев увидел ее на улице с незнакомым студентом в элегантной форменной шинели дорогого сукна. Равнодушно-холодный взгляд очень светлых глаз сквозь стекла пенсне заставил его вздрогнуть и внутренне напрячься, как перед опасностью. Аня, кивнув, прошла мимо. Потом выяснилось, что фамилия этого студента Голенищев-Кутузов. Он тоже писал

стихи.

Дима Коковцев привел Гумилева в дом, где жили Горенко, – он стоял на Широкой и назывался домом Шухардиной. По широкой лестнице поднялись на второй этаж. В большой гостиной стояли широкий диван и кресла, обтянутые истертым шелком. В золотой раме тускнел «Последний день Помпеи».

Гумилеву показалось, что в комнате множество людей: пожилая худощавая дама с дряблыми щеками, другая дама, слегка похожая на Аню, молодой блондин в элегантном сером костюме, с бобриком на голове, подросток с торчащими вихрами, маленькая девочка в розовом платьице. Сама Аня сидела в кресле со сложенными на коленях руками, наклонив голову, так что черные прямые волосы почти закрывали лицо.

Гумилев всегда чувствовал смущение в незнакомой обстановке, поэтому он молча стоял, пока Коковцев не представил его присутствующим. Только постепенно Николай стал различать, что увядшая дама – это Инна Эразмовна, мать Ани; молодая, с неестественным румянцем на щеках и блестящими глазами – Инна, сестра Ани, а элегантный мужчина – ее муж Сергей Владимирович фон Штейн; подросток и хорошенькая девочка – брат и сестра Ани. Старший брат Андрей учился в петербургской гимназии. В Петербурге служил и старший Горенко, корабельный инженер-механик в отставке.

В тот раз Гумилев особенно остро почувствовал, что установившиеся у него с Аней простые, дружеские отношения должны смениться другими. Объяснение состоялось вскоре. Он поджидал Аню в сумерки, рядом с ее гимназией. К счастью, она вышла одна, без подруг и, кажется, заметила Гумилева, только когда он сделал несколько шагов навстречу.

Она согласилась пройтись с ним по парку, где лежал снег, но уже земля была черная, влажная, и от нее пахло весенней свежестью.

Гумилев говорил о своей любви. Она не отвечала, точно чего-то ожидая. Когда он поцеловал ее, подняла голову, взглянула на него спокойно и сказала, что они останутся друзьями. И, кроме того, посоветовала взять в библиотеке книгу Кнута Гамсуна «Пан».

Он прочел ее на следующий день. Да, лейтенант Глан – это и его идеал, надо быть именно таким – решительным, рыцарственным, дерзким [9; 58–59].

Всеволод Александрович Рождественский:

Сестра рассказывала и о таком забавном случае, относящемся к тому времени, когда гимназист Гумилев усиленно ухаживал

за гимназисткой Аней Горенко. Был день рожденья Ани, в доме собрались ее юные приятельницы и приятели – и все с подарками и цветами. На столе стояло шесть пышных букетов. Несколько запоздав (по требованиям «хорошего тона»!), явился расфранченный Коля Гумилев с таким же пышным букетом. Мать Ани, Инна Эразмовна, <…> сказала не без иронии: «Ну вот и Коля, и уже седьмой букет у нас на столе. Ставьте его сюда в дополнение к остальным!» Коля обидчиво вспыхнул, но, не сказав ни слова, присоединил свой букет к уже стоявшим. Некоторое время сидел он молча, а потом вдруг исчез. Зная его странности, никто не обратил на это особого внимания. Чаепитие на веранде продолжалось. А через полчаса Коля появляется снова с таким же пышным букетом в руках. «Как мило, Коля, с Вашей стороны осчастливить нас и восьмым букетом!» – рассмеялась И. Э. «Простите! – холодно отчеканил Коля, – это не восьмой букет, это – цветы императрицы!» Оказывается, он перелез через дворцовую решетку «Собственного сада» и опустошил значительную часть клумбы под самыми окнами флигеля «Вдовствующей» [20; 407].

Орест Николаевич Высотский:

Аня Горенко пригласила его съездить с ее компанией в Павловск. Ехали фон Штейн с женой и брат Ани Андрей, с которым Гумилев прежде не встречался. <…>

Андрей оказался ровесником Николая. Их сразу потянуло друг к другу. Чувствовалось, что Андрей прекрасно образован: он свободно говорил о поэзии, знал многих современных поэтов, не только Бальмонта, но и Брюсова, Вячеслава Иванова, Блока, читал на память их стихи. Свободно владел латынью, французским и немецким. Гумилева удивило, что к сестрам Андрей обращается на «вы». Привык с детства: мать дома говорила с ними только по-французски, употребляя «vous».

Заняли столик возле огромного дуба. Николай удивленно смотрел, как свободно Аня взяла папиросу, предложенную шурином. Ему казался странным, неприличным вид курящей девушки. Через некоторое время Аня встала, и они со Штейном пошли в сторону белевшего в отдалении Salon de music, в шутку называвшегося «соленый мужик». Оставшись вдвоем, Николай с Андреем заговорили о будущем. Отец твердо решил, что по окончании гимназии Николай должен поступить на юридический факультет, но ему хотелось поехать в Париж, послушать в Сорбонне лекции о современной французской литературе. Андрей горячо его поддержал, сказав, что это отличная мысль.

Начались летние каникулы. Теперь Гумилев чаще встречался с Андреем Горенко, чем с Аней. Целыми днями шли разговоры о поэзии. Андрей живо интересовался будущей книгой стихов, советовал, что в нее включить, указывал, когда строфа не получалась. Несмотря на свою обидчивость, Николай не злился на его замечания.

В начале августа Андрей зашел к Гумилеву. Вид у него был растерянный и точно сконфуженный. Он сообщил новость: у отца какие-то неприятности по службе. На днях семья уезжает в Евпаторию – навсегда.

Они уехали через несколько дней, Аня даже не попрощалась с Гумилевым. Он был растерян, гадал, что произошло: может быть, Андрей Антонович замешан в политике? Но, по словам Андрея, он только отвезет семью и вернется. Все было непонятно и очень обидно: не простившись, навсегда… [9; 59–60]

Павел Николаевич Лукницкий. *Из дневника:*

АА (Ахматова. – Сост.) была очень упорна. Николай Степанович добивался ее 4, даже 5 лет… Это было так: в 1905 году Николай Степанович сделал АА предложение и получил отказ. Вскоре после этого они расстались, не виделись в течение 1,5 лет (АА потом, в 1905 году, уехала на год в Крым, а Николай Степанович в 1906 году – в Париж). 1,5 года не переписывались – АА как-то высчитала этот срок. Осенью 1906 года АА почему-то решила написать письмо Николаю Степановичу. Написала и отправила. Это письмо не заключало в себе решительно ничего особенного, а Николай Степанович (так, значит, помнил о ней все время) ответил на это письмо предложением. С этого момента началась переписка. Николай Степанович писал, посылал книги и т. д.

А до этого, не переписываясь с АА, он все-таки знал о ее здоровье и о том, как она живет, потому что переписывался с братом АА – Андреем Андреевичем…

Николай Степанович, ответив на письмо АА осенью 1906 года предложением (на которое, кажется, АА дала в следующем письме согласие), написал Анне Ивановне (матери. – *Сост.*) и Инне Эразмовне (матери Ахматовой. – *Сост.*), что он хочет жениться на АА [16; 51–52].

Анна Андреевна Ахматова:

Ни Гумилев, ни я не разглашали подробности наших отношений. <…> Сколько раз я разрушала наши отношения и отрекалась от него, сколько раз он, по секрету от родных, заняв деньги у ростовщика, приезжал, чтобы видеть меня (в Киев 1907,

на дачу Шмидта летом <19>07 возле Херсонеса, в Севастополь, в Люстдорф 1909 под Одессой, опять в Киев). <…> В Париже через весь город ездил взглянуть на дощечку – Boulevard Sebastopol, пот<ому> что я жила в Севастополе, как он не мог слушать музыку, потому что она напоминала ему обо мне [4; 123].

Ирина Владимировна Одоевцева:

О своей безумной и мучительной любви к Анне Ахматовой и о том, с каким трудом он добился ее согласия на брак, он вспоминал с явным удовольствием, как и о своей попытке самоубийства.

– В предпоследний раз я сделал ей предложение, заехав к ней по дороге в Париж. Это был для меня вопрос жизни и смерти. Она отказала мне. Решительно и бесповоротно. Мне оставалось только умереть.

И вот, приехав в Париж, я в парке Бютт Шомон поздно вечером вскрыл себе вену на руке. На самом краю пропасти. В расчете, что ночью, при малейшем движении, я не смогу не свалиться в пропасть. А там и костей не сосчитать…

Но, видно, мой ангел-хранитель спас меня, не дал мне упасть. Я проснулся утром, обессиленный потерей крови, но невредимый, на краю пропасти. И я понял, что Бог не желает моей смерти. И никогда больше не покушался на самоубийство.

Рассказ этот, слышанный мной неоднократно, всегда волновал меня. Гумилев так подробно описывал парк и страшную скалу над еще более страшной пропастью и свои мучительные предсмертные переживания, что мне и в голову не приходило не верить ему.

Только попав в Париж и отправившись, в память Гумилева, в парк Бютт Шомон на место его «чудесного спасения», я увидела, что попытка самоубийства – если действительно она существовала – не могла произойти так, как он ее мне описывал: до скал невозможно добраться, что ясно каждому, побывавшему в Бютт Шомон [23; 114].

Павел Николаевич Лукницкий. *Из дневника:*

АА рассказывала, что на даче у Шмидта (под Севастополем, в 1907 г. – Сост.) у нее была свинка и лицо ее было до глаз закрыто – чтоб не видно было страшной опухоли… Николай Степанович просил ее открыть лицо, говоря: «Тогда я вас разлюблю!» Анна Андреевна открывала лицо, показывала. «Но он не переставал любить меня! Говорил только, что „вы похожи на Екатерину II“».

На даче Шмидта были разговоры, из которых Гумилеву стало ясно, что АА не невинна. Эта новость, боль от этого известия, довела Николая Степановича до попыток самоубийства.

В Севастополе уничтожил пьесу «Шут короля Батиньоля». АА: «Сжег потому, что я не захотела ее слушать на даче Шмидта» [16; 48].

Николай Степанович Гумилев. *В записи по памяти И. В. Одоевцевой:*

Я был без памяти влюблен в нее. Как-то, когда я приехал к ней в Севастополь, она была больна свинкой. И она показалась мне с уродливо распухшей шеей еще очаровательнее, чем всегда. Она, по-моему, была похожа на Афину Палладу, а когда я сказал ей об этом, она решила, что я издеваюсь над ней, назвала меня глупым, злым и бессердечным и прогнала. Я ушел, но весь вечер простоял под ее окном, ожидая, что она позовет меня. А утром уехал, так и не увидев ее снова. Как она меня мучила! В другой мой приезд она, после очень нежного свидания со мной, вдруг заявила: «Я влюблена в негра из цирка. Если он потребует, я все брошу и уеду с ним». Я отлично знал, что никакого негра нет, и даже цирка в Севастополе нет, но я все же по ночам кусал руки и сходил с ума от отчаяния [23; 297].

Вера Константиновна Лукницкая:

Приехал в Париж и поселился в комнате на rue Bara, 1.

От отчаяния не спасали ни новые знакомства, ни легкие увлечения. Боль унижения не отступала, не отпускала. Гумилев метался, не находил себе места. Отправился в Нормандию, в Трувиль, к морю – топиться. Но, на счастье, на пустынном берегу его задержали проницательные блюстители порядка. Очевидно, вид его внушал опасения. Ахматова выразилась: «en etat de vagabondage» (как бродяга). Словом, в конце концов, он вернулся в Париж [16; 48–49].

Анна Андреевна Ахматова:

В ответ на мою испуганную телеграм<му> ответил так: «Vivrai toujours»[21] [4; 124].

Павел Николаевич Лукницкий. *Из дневника:*

В апреле (1908 г. – Сост.) Гумилев приехал в Севастополь, чтобы повидаться с А. Горенко. Снова сделал предложение и снова получил отказ. Вернули друг другу подарки, Николай Степанович вернул АА ее письма… АА возвратила все охотно, отказалась вернуть лишь подаренную Николаем Степановичем

чадру. Николай Степанович говорил: «Не отдавайте мне браслеты, не отдавайте остального, только чадру верните…»

Чадру он хотел получить назад, потому что АА ее носила, потому что это было самой яркой памятью о ней. АА: «А я сказала, что она изношена, что я не отдам ее… Подумайте, как я была дерзка – не отдала. А чадра была действительно изношена» [16; 61].

Литературные дебюты

Ирина Владимировна Одоевцева:

Мне давно хотелось узнать, когда он начал сочинять стихи. Мне казалось, что непременно совсем маленьким, еще до времен музея.

– Нет, – говорит он, – гораздо позже музея. Как ни странно, я, несмотря на то, что создал себе свой особый мир, в котором

…Каждый куст придорожный
Мне шептал: поиграй со мной,
Обойди меня осторожно
И узнаешь, кто я такой –

несмотря на мое поэтическое восприятие жизни и мира, о стихах не помышлял.

Зато с какой невероятной силой обрушились они на меня и завладели мною в четырнадцать лет. Мы переселились в Тифлис. И там, когда я проезжал впервые по Военно-Грузинской дороге, это и началось. Кавказ просто ошеломил меня. На меня вдруг нахлынули стихи Пушкина и Лермонтова о Кавказе. Я их знал и любил уже прежде. Но только здесь я почувствовал их магию. Я стал бредить ими и с утра до вечера, и с вечера до утра твердил их. Там же, в Тифлисе, я впервые напечатал в «Тифлисском листке» свои стихи. Такой уж я был решительный и напористый. Читать их вам не хочу. Верьте на слово, что дрянь. Да еще и демоническая [23; 61].

Орест Николаевич Высотский:

3 октября 1905 года было получено цензурное разрешение на публикацию сборника стихов «Путь конквистадоров». Эпиграфом к сборнику Гумилев взял слова начинающего Андре Жида: «Я стал кочевником, чтобы сладостно прикасаться ко всему, что кочует». Свою первую книгу «Яства земные» А. Жид напечатал в 1897 году, и в России лишь очень немногие заметили этого французского писателя.

Анна Ивановна дала сыну нужную сумму, ничего не сказав мужу, поэтому о книге дома не говорили. Но родные теперь относились к Николаю иначе: он был не просто гимназист, к тому же плохо учившийся, а поэт, пусть пока непризнанный. Ему бы очень хотелось подарить свою книгу Ане Горенко, но Ани не было, а посылать ей книгу в Евпаторию он не хотел

из самолюбия. Выход был найден: он пошлет книгу Андрею, а тот, конечно, покажет ее сестре.

Экземпляр книги он преподнес Анненскому, сделав надпись:

Тому, кто был влюблен, как Иксион,
Не в наши радости земные,
а в другие,
Кто создал Тихих Песен
нежный звон –
Творцу Лаодамии
от автора.

Иннокентий Федорович перед всем классом пожал Гумилеву руку, поздравив с успехом.

Но главный триумф еще предстоял: в ноябрьской книжке «Весов» появилась рецензия самого Валерия Брюсова! Это было потрясающе! Не беда, что маститый мэтр дал не слишком хвалебный отзыв, написав, что «Путь конквистадоров» полон «перепевов и подражаний» и повторяет все основные заповеди декадентства, поражавшие своей смелостью и новизной на Западе лет за двадцать, а в России за десять до того (то есть как раз в ту пору, когда сам Брюсов произвел сенсацию своими сборниками «Русские символисты»). И все же закончил он рецензию обнадеживающе: «Но в книге есть и несколько прекрасных стихов, действительно удачных образов. Предположим, что она только „путь“ нового конквистадора и что его победы и завоевания – впереди» [9; 61–62].

Николай Степанович Гумилев. *В записи по памяти И. В. Одоевцевой:*

Но запомните: с опубликованием своих шедевров спешить не надо. Как я жалел, что выпустил «Путь конквистадоров». Не сразу, конечно. Жалел потом. Скупал его и жег в печке. А все-таки, к моему стыду, этот «Путь конквистадоров» еще и сейчас где-то сохранился. Ничего не поделаешь. Не надо торопиться [23, 61].

Георгий Викторович Адамович:

Гумилев считал своим учителем Валерия Брюсова, именно Брюсову, как учителю, посвятил сборник стихов «Жемчужина», положивший начало его известности. Было в его влечении к творчеству Брюсова две причины: во-первых, отсутствие каких-либо мистических туманов в брюсовской поэзии и, так сказать, «земной» ее характер. Во-вторых, и это, пожалуй, важнее, положение непререкаемого «мэтра», которого Брюсов сумел

достичь; его влияние, его власть над литературной участью большинства поэтов начала нашего века. Многие из этих поэтов втайне считали, что дарование Бальмонта чище, как-то благороднее. Другие предпочитали Сологуба или восхищались тем, что писал молодой Блок. Но Брюсов был законодателем, верховным арбитром в поэтических делах, и это не могло Гумилеву не импонировать [9; 513].

Николай Степанович Гумилев. *Из письма В. Я. Брюсову. Царское Село, 15 (28) апреля 1908 г.:*

Вы были моим покровителем, а я ищу в Вас «учителя» и жду формул деятельности, которым я поверю не из каких-нибудь соображений (хотя бы и высшего порядка), а вполне инстинктивно. Вспомните для примера Ваше прошлогоднее письмо о рифмах и размерах. По «Ром<антическим> цветам» <…> я не воспринял от Вас еще и четверти того, что мне надо, чтобы выявить свою творческую индивидуальность. И мне кажется, чем решительнее, чем определеннее будут Ваши советы, тем больше пользы они мне принесут. Впрочем, делайте, что найдете нужным и удобным: уже давно я Вам сказал, что отдаю в Ваши руки развитие моего таланта и Вы вовремя не отказались [6; 98].

Вера Константиновна Лукницкая:

В июле (1906 г. – Сост.) Гумилев уехал в Париж.

Поселился сначала на бульваре St. Germain, 68, а потом на rue de la Gaîté, 25. Поступил в Сорбонну. Регулярно получал от матери 100 рублей в месяц и, хотя укладываться в скромный бюджет было трудно, иногда сам посылал ей немного денег, часто писал. <…>

Он бродил по Парижу и никак не мог надышаться им. Он так ждал этих дней и ночей, потому что твердо верил: у артиста, у художника в Европе есть общее отечество – Париж.

Приходил к себе, в маленькую комнату с высокими окнами и свежими цветами. Он любил порядок, аккуратность, четкость, расписание в жизни. Воспитывал себя всегда быть выше случайностей, неожиданностей. Перечитывал Пушкина, Карамзина, Ницше, осваивал французскую литературу.

В архиве Лукницкого хранятся книги из библиотеки Гумилева, которые изучал поэт, и острый след карандаша останавливает внимание – оказывается, вот о чем он думал, вот что тревожило его, что помогало его душе. Какие противоположные чувства соединялись в его сердце, какие разные мысли привлекали его…

«Человек – это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, – канат над пропастью.

…Из всего написанного люблю я только то, что пишется своей кровью. Пиши кровью: и ты узнаешь, что кровь есть дух.

…Свободный от чего? Какое дело до этого Заратустре! Но твой ясный взор должен поведать мне: свободный для чего?

Двух вещей хочет настоящий мужчина: опасности и игры. Поэтому хочет он женщины, как самой опасной игрушки?»

Ницше – мятежный, страстный, смущающий душу, и рядом – Карамзин, спокойный, ясный, простой: «Ровность и терпение. Презрение опасностей. Надежность победить. Опытность научает человека благоразумию» [16; 37].

Мстислав Владимирович Фармаковский *(1873–1946), художник:*

В кафе происходили встречи со знакомыми, здесь же Николай Степанович любил писать. Гумилев отличался абсолютной трезвостью и никогда не пил в этих кафе ни вина, ни пива, предпочитая им черный кофе или гренадин [16; 56].

Николай Степанович Гумилев. *Из письма В. Я. Брюсову. Париж, 8 января 1907 г.:*

Я получил мистический ужас к знаменитостям и вот почему. Я имел к Зинаиде Николаевне Мережковской рекомендательное письмо от ее знакомой, писательницы Микулич. И однажды днем я отправился к ней. Войдя, я отдал письмо и был введен в гостиную. Там, кроме Зинаиды Ник<олаевны>, были еще Философов, Андрей Белый и Мережковский. Последний почти тотчас же скрылся. Остальные присутствующие отнеслись ко мне очень мило, и Философов начал меня расспрашивать о моих философско-политических убеждениях. Я смутился, потому что, чтобы рассказать мое мировоззрение стройно и ясно, потребовалась бы целая речь, а это было невозможно, так как интервьюирование велось в форме общего разговора.

Я отвечал, как мог, отрывая от своей системы клочки мыслей неясные и недосказанные. Но, очевидно, желание общества было подвести меня под какую-нибудь рамку. Сначала меня сочли мистическим анархистом – оказалось неправильным. Учеником Вячеслава Иванова – то же, последователем Сологуба – то же. Наконец, сравнили с каким-то французским (поэтом – *Сост.*) Бетнуаром или что-то в этом роде. Разговор продолжался, и я надеялся, что меня подведут под какую-нибудь пятую рамку. Но, на мою беду, в эту минуту вышел хозяин дома Мережковский, и Зинаида Ник<олаевна> сказала ему: «Ты знаешь, Николай

Степанович напоминает Бетнуара». Это было моей гибелью. Мережковский положил руки в карманы, стал у стены и начал отрывисто и в нос: «Вы, голубчик, не туда попали! Вам не здесь место! Знакомство с Вами ничего не даст ни Вам, ни нам. Говорить о пустяках совестно, а в серьезных вопросах мы все равно не сойдемся. Единственно, что мы могли бы сделать, это спасти Вас, так как Вы стоите над пропастью. Но ведь это…» Тут он остановился. Я добавил тоном вопроса: «Дело неинтересное?» И он откровенно ответил: «Да», и повернулся ко мне спиной. Чтобы сгладить эту неловкость, я посидел еще минуты три, а потом стал прощаться. Никто меня не удерживал, никто не приглашал. В переднюю, очевидно из жалости, меня проводил Андрей Белый [6; 46].

Зинаида Николаевна Гиппиус *(1869–1945), поэтесса, писательница, литературный критик, религиозный мыслитель, жена Д. С. Мережковского. Из письма В. Я. Брюсову. Париж, 8 января 1907 г.:*

О, Валерий Яковлевич! Какая ведьма «сопряла» вас с ним? Да видели ли вы его? Мы прямо пали. Боря (А. Белый. – Сост.) имел силы издеваться над ним, а я была поражена параличом. Двадцать лет, вид бледно-гнойный, сентенции – стары, как шляпка вдовицы, едущей на Драгомиловское. Нюхает эфир (спохватился!) и говорит, что он один может изменить мир. «До меня были попытки… Будда, Христос… Но неудачные»[22].

Орест Николаевич Высотский:

Как-то, когда они с Формаковским сидели за столиком в маленьком кафе, Николай Степанович пожаловался, что у него накопилось много готового для печати, да вот нет нужных редакций. Формаковский на это предложил: а не начать ли здесь новый литературно-художественный журнал с Гумилевым в качестве редактора? Деньги на первый номер у него имелись, он же взялся вести критический отдел. Другой художник, Божерянов, стал редактором художественного отдела и даже переехал на квартиру Гумилева, чтобы решать все дела по журналу безотлагательно.

Молодой издатель развил бурную деятельность. Журнал назвали «Сириус», он должен был стать двухнедельным изданием объемом полтора-два печатных листа. 8 января 1907 года в письме к Брюсову Гумилев сообщал: «Несколько русских художников, живущих в Париже, затеяли издавать журнал художественный и литературный. Его направление будет новое, и политика тщательно изгоняется <…>, если бы Вы могли дать

нам что-нибудь свое – стихотворение, рассказ или статью, – Вы еще раз доказали бы свою бескорыстную доброту ко мне…» <…>

Первый номер вышел в январе и открывался вступительной статьей Гумилева. «Издавая первый русский художественный журнал в Париже, этой второй Александрии утонченности и просвещения, – писал он, – мы считаем своим долгом познакомить читателей с нашими планами и взглядами на искусство. Мы дадим в нашем журнале новые ценности для изысканного миропонимания и старые ценности в новом аспекте».

Чтобы скрыть недостаток авторов, Гумилев выступал под разными псевдонимами: Анатолий Грант, К°. В первом номере было напечатано начало повести «Гибели обреченные» и стихотворение «Франция», во втором и третьем последовало продолжение так и неоконченной повести, статья «Карты», очерк «Вверх по Нилу», стихотворение «Неоромантическая сказка»; были помещены и стихи Анны Горенко.

Первую книжку журнала Гумилев отправил Брюсову с просьбой написать отзыв в «Весах», но рецензии не последовало. После третьего номера «Сириус» прекратил существование. Деньги закончились. А главное – у журнала не было подписчиков.

Занимаясь журналом, Гумилев одновременно принялся серьезно изучать французскую литературу, историю живописи и театра, слушал лекции в Сорбонне. В библиотеке внимательно читал сочинения средневековых богословов – Фомы Аквинского, Игнатия Савонаролы, штудировал недавно вышедшие книги философов-мистиков Элиаса Леви, Рудольфа Штейнера [9; 71–72].

Алексей Николаевич Толстой:

В следующем году (1909 г. – Сост.) мы снова встретились с Гумилевым в Петербурге и задумали издавать стихотворный журнал. Разумеется, он был назван «Остров». Один инженер, любитель стихов, дал нам 200 рублей на издание. Бакст нарисовал обложку. Первый номер разошелся в количестве тридцати экземпляров. Второй – не хватило денег выкупить из типографии. Гумилев держался мужественно. Какими-то, до сих пор непостигаемыми для меня путями он уговорил директора Малого театра Глаголина отдать ему редакторство театральной афишки. Немедленно афишка была превращена в еженедельный стихотворный журнал и печаталась на верже[23]. После выхода третьего номера Глаголину намылили голову, Гумилев получил отказ, но и на этот раз не упал духом. Он все так же – в узкой шубе со скунсовым воротником, в надвинутом

на брови цилиндре – появлялся у меня на квартирке, и мы обсуждали дальнейшие планы завоевания русской литературы [9; 321–322].

«Аполлон»

Сергей Абрамович Ауслендер:

В это время был задуман журнал «Аполлон». В его создании Гумилев сыграл важную роль. Он познакомился с Сергеем Константиновичем Маковским, которому очень импонировал своей светскостью, французским языком и цилиндром. Он собрал у себя Кузмина, меня, Волошина, Маковского и других, знакомил нас со стихами Иннокентия Анненского, которого мы, к стыду своему, тогда не знали [3; 199].

Сергей Константинович Маковский:

Юный поэт-царскосел восторженно говорил об Иннокентии Анненском. <…> Гумилев бывал у него, помнил наизусть строфы из «трилистников» «Кипарисового ларца», с особой почтительностью отзывался о всеискушенности немолодого уже, но любившего юношески-пламенно новую поэзию лирика-эллиниста Анненского и предложил повезти меня к нему в Царское Село.

Мое знакомство с Анненским, необыкновенное его обаяние и сочувствие моим журнальным замыслам (в связи с обещанной М. К. Ушковым помощью) решили вопрос об издании «Аполлона». К проекту журнала Гумилев отнесся со свойственным ему пылом. Мы стали встречаться все чаще, с ним и его друзьями – Михаилом Алексеевичем Кузминым, Алексеем Толстым, Ауслендером. Так образовался кружок, прозванный впоследствии секретарем журнала Е. А. Зноско-Боровским «Молодая редакция». Гумилев горячо взялся за отбор материалов для первых выпусков «Аполлона», с полным бескорыстием и с примерной сговорчивостью. Мне он сразу понравился той серьезностью, с какой относился к стихам, вообще – к литературе, хотя и казался подчас чересчур мелочливо-принципиальным судьей. Зато никогда не изменял он своей принципиальности из личных соображений или «по дружбе», был ценителем на редкость честным и независимым.

Понравилось мне и то, что не принадлежал он, в сущности, ни к какому литературному толку. Его корежило от реалистов-бытовиков, наводнявших толстые журналы, но он считал необходимым бороться и с десятилетним «символическим пленением» русской поэзии, как он говорил. Об «акмеизме» еще не было речи, но, несмотря на увлечение Брюсовым, Анненским, Сологубом и прославленными французскими символистами (Бодлером, Ренье, Верленом, Рембо), Гумилева тянуло прочь

от мистических туманов модернизма [9; 328–329].

Сергей Абрамович Ауслендер:

Гумилев имел большое и твердое воздействие на него [Маковского]. Вообще он отличался организационными способностями и умением «наседать» на редакторов, когда это было нужно. <…>

В эту весну было особенное оживление. Собирались предварительные заседания «Аполлона». Затем мы расширяли свою платформу и переходили из «Весов» и «Золотого руна» в другие журналы. Везде появлялись стайками. Остряки говорили, что мы ходим во главе с Гумилевым, который своим видом прошибает двери, а за ним входят другие. Так, например, когда его пригласили в газету «Речь», он протащил за собою всех нас и, помню, ставил какие-то условия, чтобы в литературном отделе писали только мы. Он умел говорить с этими кадетами, ничего не понимавшими в литературе, и им импонировал. Так же мы вошли и в «Русскую мысль».

Это было веселое время завоеваний. Гумилев не любил газет, но его привлекало завоевание их только как укрепление своих позиций. <…>

Первый номер журнала вышел шикарно. В редакции были устроены выставка и банкет, на которые собрался весь тогдашний литературный и театральный свет. Кутили очень много [3; 199–200].

Иоганнес фон Гюнтер:

Между прочим, открытие «Аполлона» было отпраздновано в знаменитом петербургском ресторане Кюба. Первую речь об «Аполлоне» и его верховном жреце Маковском произнес Анненский, за ним выступили два известных профессора, четвертым говорил наш милый Гумилев от имени молодых поэтов. Но так как перед этим мы опрокинули больше рюмок, чем следовало, его речь получилась немного бессвязной. После него я должен был приветствовать «Аполлон» от европейских поэтов. Из-за многих рюмок водки, перцовки, коньяка и прочего я решил последовать примеру Эдуарда Шестого и составил одну замысловатую фразу, содержавшую все, что надо было сказать. Я без устали твердил ее про себя и таким образом вышел из положения почти без позора. Я еще помнил, как подошел к Маковскому с бокалом шампанского, чтобы чокнуться с ним, – затем занавес опускается.

Очнулся я на минуту в маленькой комнате, где пили кофе, моя голова доверчиво лежала на плече Алексея Толстого,

который, слегка окостенев, собирался умываться из бутылки с бенедиктином. Занавес.

Потом, в шикарном ресторане «Донон», мы сидели в баре и с Вячеславом Ивановым тяжело погрузились в теологический спор. Конец этому нелегкому дню пришел в моей «Риге», где утром Гумилев и я пили черный кофе и сельтерскую, принимая аспирин, чтобы хоть как-нибудь продрать глаза. Конечно, такие сцены были редки. Это был особый случай, когда вся молодая редакция была коллективно пьяна [9; 401].

Надежда Васильевна Войтинская:

Салонный жанр в редакции был от трех до пяти часов. Люди приходили, встречались, развлекались, иногда заходили в кабинет к Маковскому, с ним разговаривали.

Установка была на французское искусство, и это поручено было Николаю Степановичу – насаждать и теоретически и практически французских лириков, группу «Abbaye» (молодые французские поэты начала века – Ж. Ромен, Вильдрак, Мерсеро и др.) [16; 100].

Сергей Константинович Маковский:

Всем нам самоуверенное тщеславие Гумилева только помогало в общем сотрудничестве. Себя в большинстве случаев он «плохо слышал», но других умел ценить и наставлять с удивительно тонким беспристрастием. Я понял это, и меня не смущало ироническое отношение к нему аполлоновцев. Не удалось и Вячеславу Иванову (только позже оценившему автора «Огненного столпа») убедить меня не поручать ему в «Аполлоне» «Писем о русской поэзии». <…>

Несмотря на несогласие с Вячеславом Ивановым в отношении целей поэзии и самого стиля российского словотворчества, он принял деятельное участие в создании «Общества ревнителей художественного слова» при «Аполлоне».

В сущности, это общество и создало тот литературный фон, на котором разросся журнал. <…>

Тотчас начались поэтические собрания Общества уже в редакции «Аполлона», и на них успел выступить несколько раз с блеском Иннокентий Анненский. Тогда же был избран нами, членами-учредителями Общества, возглавляющий комитет из шести писателей. Кроме нас троих вошли в него Блок, Михаил Кузмин и Гумилев (когда Анненского не стало, его заменил профессор Зелинский, а несколько позже к нам присоединился профессор Федор Браун). Все это – без всяких личных заминок, отчасти благодаря Гумилеву. Общество сразу расцвело [9; 366–

367].

Иоганнес фон Гюнтер:

Мы часто действовали коллективно. Рукописи, в особенности стихи, зачастую читались коллективно и так же отклонялись. Критика тоже производилась коллективно. И тоже коллективно мы были влюблены в поэтессу Черубину де Габриак [9; 401].

Страсти по Черубине

Иоганнес фон Гюнтер:

Однажды Маковский получил письмо на элегантной бумаге с траурной каймой, посланное неизвестной дамой, подписавшейся «Черубина де Габриак», к письму были приложены стихи, которые были найдены хорошими. Адрес указан не был. Через некоторое время пришло еще письмо, с еще лучшими стихами, и опять без адреса. Третье письмо. Потом – звонок по телефону: низкий, влекущий женский голос, иногда слегка шепелявящий. И еще письма, телефонные звонки, разговоры – по телефону – по полчаса. Она – испанская аристократка, одинокая, чувствительная, жаждущая жизни, ее духовник – строгий иезуит; мать умерла давно… Маковский влюбился в нее по уши; барон Врангель, Зноско, Ауслендер тоже. Гумилев вздыхал по экзотической красавице и клялся, что покорит ее. Вся редакция горела желанием увидеть это сказочное существо. Ее голос был такой, что проникал прямо в кровь. Где собирались трое, речь заходила только о ней.

Все попытки связаться с ней кончались ничем: она отклоняла все предложения о встрече. Но факт, что она все-таки пользовалась телефоном, выдавал известное стремление высказаться. Все завидовали Маковскому. Были, впрочем, и противники, которые издевались над влюбленной редакцией. Коллективная страсть заразительна: скоро и я вошел в число рыцарей обожаемой Черубины.

Как-то раз после полудня я зашел к Вячеславу Иванову на Таврическую, где предстояло присутствовать на собрании дамского кружка. Там были Анастасия Николаевна Чеботаревская, жена Федора Сологуба, Любовь Дмитриевна Блок, затем очаровательная художница, писавшая и стихи, Лидия Павловна Брюллова, внучка великого классического художника Брюллова; была и поэтесса Елизавета Ивановна Дмитриева, которая делала колкие замечания насчет Черубины де Габриак, говоря, что, уж наверно, она очень безобразна, иначе давно бы уже показалась ее тающим от восторга почитателям. Казалось, дамы с ней согласны и предложили мне, как аполлоновцу, сказать свое мнение. Но я трусливо уклонился.

Дмитриева прочла несколько стихотворений, которые мне показались очень талантливыми. Я сказал ей об этом, а когда Любовь Дмитриевна к тому же сказала, что я хорошо перевел стихи ее мужа и уже много перевел русских стихов, она вдруг стала внимательной ко мне и прочла еще несколько хороших

стихотворений. В них было что-то особенное, и я спросил, почему она не пошлет их в «Аполлон». Она ответила, что ее хороший знакомый, господин Волошин, обещал об этом позаботиться. Вскоре я поднялся, чтобы уйти, – одновременно встала и Дмитриева. По петербургскому обычаю мне пришлось предложить себя в провожатые.

Она была среднего роста, скорее маленькая, довольно полная, но грациозная и хорошо сложена. Рот был слишком велик, зубы выступали вперед, но губы полные и красивые. Нет, она не была хороша собой, скорее – она была необыкновенной, и флюиды, исходившие от нее, сегодня, вероятно, назвали бы «сексом».

Когда перед ее домом я помогал ей сойти с извозчика и хотел попрощаться, она вдруг сказала, что хотела бы немного пройтись. Ничего не оставалось, как согласиться, и мы пошли куда глаза глядят. Получилась довольно долгая прогулка. Она рассказывала о себе, собственно не знаю, почему. Говорила, что была у Максимилиана Волошина в Коктебеле, в Крыму, долго жила в его уютном доме. Я немного пошутил над антропософической любовью Волошина к Рудольфу Штейнеру, который интересовался больше пожилыми дамами со средствами. Это ее не задело; она рассказала, что летом у Макса познакомилась с Гумилевым. Я насторожился. У нее, значит, было что-то и с Гумилевым, – любвеобильная особа! У меня мелькнула мысль: «А, и теперь вы преследуете своим сарказмом Черубину де Габриак, потому что ваши друзья, Макс и Гумилев, влюбились в эту испанку?»

Она остановилась. Я с удивлением заметил, что она тяжело дышит. «Сказать вам?» Я молчал. Она схватила меня за руку. «Обещаете, что никому не скажете?» – спросила она, запинаясь. Помолчав, она, дрожа от возбуждения, снова сказала: «Я скажу вам, но вы должны об этом молчать. Обещаете?» – и опять замолчала.

Потом подняла голову. «Я должна вам рассказать… Вы единственный, кому я это говорю…» Она отступила на шаг, решительно подняла голову и почти выдавила: «Я – Черубина де Габриак!» Отпустила мою руку, посмотрела внимательно и повторила, теперь тихо и почти нежно: «Я – Черубина де Габриак».

Безразлично-любезная улыбка на моем лице застыла. Что она сказала? Что она – Черубина де Габриак, в которую влюблены все русские поэты? Она лжет, чтобы придать себе значительности! «Вы не верите? А если я докажу?» Я холодно улыбался. «Вы же знаете, что Черубина каждый день звонит в редакцию и говорит

с Сергеем Константиновичем. Завтра я позвоню и спрошу о вас…» Защищаясь, я поднял руку: «Но ведь тогда я должен буду рассказать, что вы мне сейчас сказали…» Она вдруг совсем успокоилась и, подумав, ответила: «Нет, я спрошу о его иностранных сотрудниках, и если он назовет ваше имя… тогда я опишу вас и спрошу, не тот ли это человек, с которым я познакомилась три года тому назад в Германии, в поезде, не сказав ему своего имени».

Я задумался. До чего же находчива! Но солгать стоило. «Лучше скажите, что два года назад, тогда я был в Мюнхене». – «Хорошо, два года. Между Мюнхеном и…» – «Между Мюнхеном и Штарнбергом». – «И если я скажу это Маковскому, вы поверите, что я – Черубина де Габриак?» Она играла смелую игру. Но ведь могло быть, что это вовсе не игра. «Мне придется вам поверить». – «И где мы потом встретимся? Я буду звонить, как всегда, после пяти». – «Хорошо, приходите ко мне к семи…»

На другой день в пять часов в редакции зазвонил телефон. Маковский взволнованно взял трубку. Напряженно прислушиваясь, мы делали вид, что занимаемся своими делами. Потом мне послышалось, что Маковский перечисляет иностранных сотрудников. Значит, правда? Черубина де Габриак – Дмитриева? Минут через десять Маковский позвал меня. «Вы никогда мне не говорили, что знакомы с Черубиной де Габриак!» Молодым не трудно лгать. Никогда ее не видел. В поезде между Мюнхеном и Штарнбергом? Ах, Господи, да половина Мюнхена ездит купаться в Штарнберг! Со многими приходилось разговаривать. Черубина де Габриак? Нет, наверное, нет…

Когда, перед семью, я пришел домой, мне открыла горничная и сказала с лукавой улыбкой: «Барышня уже пришла». Ах, ты, Господи! Еще и это! Какие подозрения возникнут! Я и представить тогда себе не мог, каковы они будут, – потому что Елизавета Ивановна некоторое время посещала меня почти ежедневно. Она не могла наговориться о себе и о своих прелестных стихах, не могла насытиться их чтением… Вскоре я узнал, что все это литературное волшебство Черубины де Габриак выросло не только на ее грядке, что тут действовало целое поэтическое акционерное общество. Но кто же были акционеры?

В каком-то смысле я был обманутым обманщиком. Тем не менее для двадцатитрехлетнего было несравненным наслаждением знать тайну, за разгадкой которой охотился весь Петербург [9; 402–405].

Максимилиан Александрович Волошин *(наст. фам.*

Кириенко-Волошин; 1877–1932), поэт, литературный и художественный критик, художник:

…Вячеслав Иванов, вероятно, подозревал, что я – автор Черубины, так как говорил мне: «Я очень ценю стихи Черубины. Они талантливы. Но если это – мистификация, то это гениально». Он рассчитывал на то, что «ворона каркнет». Однако я не каркнул. А. Н. Толстой давно говорил мне: «Брось, Макс, это добром не кончится».

Черубина написала Маковскому последнее стихотворение, которое не сохранилось. В нем были строки:

Милый друг, Вы приподняли
Только край моей вуали.

Когда Черубина разоблачила себя, Маковский поехал к ней с визитом и стал уверять, что он уже давно обо всем знал: «Я хотел дать Вам возможность дописать до конца Вашу красивую поэму»… Он подозревал о моем сообщничестве с Лилей и однажды спросил меня об этом, но я, честно глядя ему в глаза, отрекся от всего. Мое отречение было встречено с молчаливой благодарностью.

Неожиданной во всей этой истории явилась моя дуэль с Гумилевым. Он знал Лилю давно, и давно уже предлагал ей помочь напечатать ее стихи, однако о Черубине он не подозревал истины. За год до этого, в 1909 году, летом, будучи в Коктебеле вместе с Лилей, он делал ей предложение.

В то время, когда Лиля разоблачила себя, в редакционных кругах стала расти сплетня.

Лиля обычно бывала в редакции одна, так как жених ее Коля Васильев бывать с ней не мог. Он отбывал воинскую повинность. Никого из мужчин в редакции она не знала. Одному немецкому поэту, Гансу Гюнтеру, который забавлялся оккультизмом, удалось завладеть доверием Лили. Она была в то время в очень нервном, возбужденном состоянии. Очевидно, Гюнтер добился от нее каких-нибудь признаний. Он стал рассказывать, что Гумилев говорит о том, как у них с Лилей в Коктебеле был большой роман. Все это в очень грубых выражениях. Гюнтер также устроил Лиле «очную ставку» с Гумилевым, которому она вынуждена была сказать, что он лжет. Гюнтер же был с Гумилевым на «ты» и, очевидно, на его стороне. Я почувствовал себя ответственным за все это и, с разрешения Воли, после совета с Леманом, одним из наших общих с Лилей друзей, через два дня стрелялся с Гумилевым [9; 394–395].

Сергей Константинович Маковский:

Гюнтер был случайно свидетелем того, как Гумилев, друживший с ним тогда, действительно грубо оскорбил Димитриеву, защищая себя от ее притязаний выйти замуж за него, Гумилева, с которым она была в любовной связи. Роман их начался в Коктебеле у Волошина на даче. Она пожаловалась Максу… [9; 411–412]

Алексей Николаевич Толстой:

Здесь, конечно, не место рассказывать о том, чего сам Гумилев никогда не желал делать достоянием общества. Но я знаю и утверждаю, что обвинение, брошенное ему, – в произнесении им некоторых неосторожных слов – было ложно: слов этих он не произносил и произнести не мог. Однако из гордости и презрения он молчал, не отрицая обвинения, когда же была устроена очная ставка и он услышал на очной ставке ложь, то он из гордости и презрения подтвердил эту ложь [9; 323].

Максимилиан Волошин:

Мы встретились с ним в мастерской Головина в Мариинском театре во время представления «Фауста». Головин в это время писал портреты поэтов, сотрудников «Аполлона». В этот вечер я позировал. В мастерской было много народу, в том числе – Гумилев. Я решил дать ему пощечину по всем правилам дуэльного искусства, так как Гумилев, большой специалист, сам учил меня в предыдущем году: сильно, кратко и неожиданно.

В огромной мастерской на полу были разостланы декорации к «Орфею». Все были уже в сборе. Гумилев стоял с Блоком на другом конце залы. Шаляпин внизу запел «Заклинание цветов». Я решил дать ему кончить. Когда он кончил, я подошел к Гумилеву, который разговаривал с Толстым, и дал ему пощечину. В первый момент я сам ужасно опешил, а когда опомнился, услышал голос И. Ф. Анненского, который говорил: «Достоевский прав. Звук пощечины – действительно мокрый». Гумилев отшатнулся от меня и сказал: «Ты мне за это ответишь» (мы с ним не были на «ты»). Мне хотелось сказать: «Николай Степанович, это не брудершафт». Но я тут же сообразил, что это не вязалось с правилами дуэльного искусства, и у меня внезапно вырвался вопрос: «Вы поняли?» (то есть: поняли – за что?). Он ответил: «Понял» [9; 395–396].

Сергей Константинович Маковский:

Сразу побагровела правая щека Гумилева и глаз припух. Он

бросился было на обидчика с кулаками. Но его оттащили – не допускать же рукопашной между хилым Николаем Степановичем и таким силачом, как Волошин! Да это и не могло быть ответом на тяжкое оскорбление.

Вызов на поединок произошел тут же. Секретарь редакции Евгений Александрович Зноско-Боровский (известный шахматист) согласился быть секундантом Гумилева.

– Вы недовольны мною? – спросил Волошин, заметив, что меня покоробила грубая расправа его с человеком, который до того считался ему приятелем.

– Вы слишком великолепны физически, Максимилиан Александрович, чтобы наносить удары с такой силой. В этих случаях достаточно ведь символического жеста…

Силач смутился, пробормотал сконфуженно:

– Да, я не соразмерил…

Дуэль состоялась – рано утром за городом, в Новой Деревне <…>. Нелегко было найти дуэльные пистолеты. Их достали у Бориса Суворина. Это были пистолеты «с историей», с гравированными фамилиями всех, дравшихся на них раньше. Вторым секундантом Гумилева оказался Кузмин. Секундантами Волошина были А. Толстой и художник князь А. К. Шервашидзе (ученик Головина по декорационной части).

Условия были выработаны мирно настроенными секундантами (совещавшимися очень долго) самые легкие, несмотря на протесты Гумилева: один выстрел с места, на расстоянии двадцати пяти шагов; стрелять по команде (раз – два – три) одновременно [9; 408–409].

Михаил Алексеевич Кузмин *(1872–1936), поэт, прозаик, драматург, композитор, один из деятельных сотрудников журнала «Аполлон», товарищ Гумилева, его секундант в дуэли с М. А. Волошиным. Из дневника 1909 г. Ноябрь:*

21 (суббота). Зноска заехал рано. Макс все вилял, вел себя очень подозрительно и противно. Заехал завтракать к Альберу, потом в «Аполлон», заказывали таксомотор. <…> В «Аполлоне» был уже граф. <…> С Шервашидзе вчетвером обедали и вырабатывали условия. Долго спорили. Я с кн<язем> отправился к Бор<ису> Суворину добывать пистолеты, было занятно. Под дверями лежала девятка пик. Но пистол<етов> не достали, и князь поехал дальше, к Мейендорфу и т. п. добывать. У нас сидел уже окруженный трагической нежностью «башни» Коля. Он спокоен и трогателен. Пришел Сережа (Ауслендер. – Сост.) и ненужный Гюнтер, объявивший, что он всецело на Колиной стороне. Но мы их скоро спровадили. Насилу

через Сережу добыли доктора. Решили не ложиться. Я переоделся, надел высокие сапоги, старое платье. Коля спал немного. Встал спокойно, молился. Ели. Наконец приехал Женя, не знаю, достали ли пистолеты.

22 (воскресенье). Было тесно, болтали весело и просто. Наконец чуть не наскочили на первый автомобиль, застрявший в снегу. Не дойдя до выбранного места, расположились на болоте, проваливаясь в воду выше колен. Граф распоряжался на славу, противники стояли живописные, с длинными пистолетами в вытянутых руках. Когда грянул выстрел, они стояли целы; у Макса – осечка. Еще выстрел, еще осечка. Дуэль прекратили. Покатили назад. Бежа с револьверным ящиком, я упал и отшиб себе грудь. Застряли в сугробе. Кажется, записали номер. Назад ехали веселее, хотя Коля загрустил о безрезультатности дуэли. Дома не спали, волнуясь. Беседовали. <…> Лег рано, натеревшись иодом. Отлично помню длинный огонь выстрела в полумраке утра [15; 188–189].

Алексей Николаевич Толстой:

Дул мокрый морской ветер, и вдоль дороги свистели и мотались голые вербы. За городом мы нагнали автомобиль противников, застрявший в снегу. Мы позвали дворников с лопатами и все, общими усилиями, выставили машину из сугроба. Гумилев, спокойный и серьезный, заложив руки в карманы, следил за нашей работой, стоя в стороне.

Выехав за город, мы оставили на дороге автомобили и пошли на голое поле, где были свалки, занесенные снегом. Противники стояли поодаль, мы совещались, меня выбрали распорядителем дуэли. Когда я стал отсчитывать шаги, Гумилев, внимательно следивший за мной, просил мне передать, что я шагаю слишком широко. Я снова отмерил пятнадцать шагов, просил противников встать на места и начал заряжать пистолеты. Пыжей не оказалось, я разорвал платок и забил его вместо пыжей, Гумилеву я понес пистолет первому. Он стоял на кочке, длинным, черным силуэтом различимый в мгле рассвета. На нем был цилиндр и сюртук, шубу он сбросил на снег. Подбегая к нему, я провалился по пояс в яму с талой водой. Он спокойно выжидал, когда я выберусь, – взял пистолет, и тогда только я заметил, что он, не отрываясь, с ледяной ненавистью глядит на В., стоявшего, расставив ноги, без шапки.

Передав второй пистолет В., я по правилам в последний раз предложил мириться. Но Гумилев перебил меня, сказав глухо и недовольно: «Я приехал драться, а не мириться». Тогда я просил приготовиться и начал громко считать: раз, два… (Кузмин,

не в силах стоять, сел в снег и заслонился цинковым хирургическим ящиком, чтобы не видеть ужасов)… – три! – крикнул я. У Гумилева блеснул красноватый свет – и раздался выстрел. Прошло несколько секунд. Второго выстрела не последовало. Тогда Гумилев крикнул с бешенством: «Я требую, чтобы этот господин стрелял». В. проговорил в волнении: «У меня была осечка». – «Пускай он стреляет во второй раз, – крикнул опять Гумилев, – я требую этого…» В. поднял пистолет, и я слышал, как щелкнул курок, но выстрела не было. Я подбежал к нему, выдернул у него из дрожавшей руки пистолет и, целя в снег, выстрелил. Гашеткой мне ободрало палец. Гумилев продолжал неподвижно стоять: «Я требую третьего выстрела», – упрямо проговорил он. Мы начали совещаться и отказали. Гумилев поднял шубу, перекинул ее через руку и пошел к автомобилям [9; 324–325].

Сергей Константинович Маковский:

На следующее утро в меблированные комнаты на Театральной площади, где проживал кн. Шервашидзе <…>, явился квартальный надзиратель. Затем было что-то вроде суда, и присуждено наказание – десятирублевый штраф с каждого из участников [9; 410].

Михаил Алексеевич Кузмин. *Из дневника 1909 г. Ноябрь:*

23 (понедельник). Спешил в «Аполлон». В газетах уже все пропечатано. Составляли протокол. <…> Гумми поехал домой извещать о событиях. Толстой вывихнул ногу[15; 189].

Из сообщения газеты «Биржевые ведомости» 23 ноября 1909 г.:

В 5½ часов утра к дому № 24 по Мойке, где помещается редакция молодого журнала «Аполлон», были поданы для дуэлянтов и их секундантов два таксомотора. В одном моторе поместились М. Волошин и его секунданты – художник, князь А. К. Шервашидзе и граф А. Н. Толстой, в другом – Н. Гумилев и секунданты Е. А. Зноско-Боровский и М. А. Кузмин. По прибытии на место состоялась дуэль, и через десять минут таксомоторы мчались обратно. При осмотре места поединка в снегу найдена галоша одного из участников дуэли. <…> Сегодня дуэлянтов и секундантов допрашивал прибывший в Петербург становой пристав. Дуэль происходила на пистолетах, на расстоянии 20 шагов[24].

Максимилиан Александрович Волошин:

После этого я встретился с Гумилевым только один раз, случайно, в Крыму, за несколько месяцев до его смерти. Нас

представили друг другу, не зная, что мы знакомы; мы подали друг другу руки, но разговаривали недолго: Гумилев торопился уходить [9; 396].

Максимилиан Александрович Волошин:

Я все лето (1921 г. – Сост.) просидел в кресле. Сперва очень болели ноги и колени. До этого, за день, как мне слечь, я съездил в Феодосию – и там встретился случайно в Центросоюзе с Гумилевым. <…>

Мы не виделись с Гумилевым с момента нашей дуэли, когда я, после его двойного выстрела, когда секунданты объявили дуэль оконченной, тем не менее отказался подать ему руку. Я давно думал о том, что мне нужно будет сказать ему, если мы с ним встретимся. Поэтому я сказал: «Николай Степанович, со времени нашей дуэли прошло слишком много разных событий такой важности, что теперь мы можем, не вспоминая о прошлом, подать друг другу руки». Он нечленораздельно пробормотал мне что-то в ответ, и мы пожали друг другу руки. Я почувствовал совершенно неуместную потребность договорить то, что не было сказано в момент оскорбления:

«Если я счел тогда нужным прибегнуть к такой крайней мере, как оскорбление личности, то не потому, что сомневался в правде Ваших слов, но потому, что Вы об этом сочли возможным говорить вообще».

«Но я не говорил. Вы поверили словам той сумасшедшей женщины… Впрочем… если Вы не удовлетворены, то я могу отвечать за свои слова, как тогда…»

Это были последние слова, сказанные между нами. В это время кто-то ворвался в комнату и крикнул ему: «Адмирал Вас ждет, миноносец сейчас отваливает». Это был посланный наркомси (бывшего адмирала) Немица, с которым Гумилев в это лето делал прогулку вдоль берегов Крыма [7; 307–309].

Сергей Константинович Маковский:

Завязнувшая в снегу калоша принадлежала секунданту Гумилева Зноско-Боровскому [9; 411].

«Открытие» Африки

Анна Андреевна Гумилева:

Об своей мечте хоть недолго пожить «между берегом буйного Красного моря и Суданским таинственным лесом» поэт написал отцу, но отец категорически заявил, что ни денег, ни его благословения на такое (по тем временам) «экстравагантное путешествие» он не получит до окончания университета. Тем не менее Коля, невзирая ни на что, в 1907 году пустился в путь, сэкономив необходимые средства из ежемесячной родительской получки [9; 419].

Вера Константиновна Лукницкая:

Утром 10 сентября (1908 г. – Сост.) приехал в Одессу и тем же днем на пароходе Русского общества пароходов и торговли «Россия» отправился в Синоп. Там пробыл 4 дня в карантине. Дальше Константинополь – Пирей. В Афинах осматривал Акрополь и читал Гомера. 1 октября – в Александрии, 3-го – в Каире, 6-го – опять в Александрии. Осматривал достопримечательности, посетил Эзбекие, купался в Ниле – словом, развлекался сначала как обычный турист. Пока не кончились деньги. Поголодав изрядно и оставив мысль о путешествии в Рим, Палестину и Малую Азию, куда намеревался попасть, он занял деньги у ростовщика и тем же маршрутом, вплоть до заезда в Киев, вернулся домой [16; 67].

Николай Степанович Гумилев. *Из письма В. Я. Брюсову. Александрия, 6 (19) октября 1908 г.:*

Дорогой Валерий Яковлевич,

я не мог не вспомнить Вас, находясь «близ медлительного Нила, там, где озеро Мерида, в царстве пламенного Ра». Но увы! Мне не удается поехать в глубь страны, как я мечтал. Посмотрю сфинкса, полежу на камнях Мемфиса, а потом поеду не знаю куда, но только не в Рим. Может быть, в Палестину или Малую Азию [6; 11].

Анна Андреевна Гумилева:

Впоследствии поэт с восторгом рассказывал обо всем виденном: как он ночевал в трюме парохода вместе с пилигримами, как разделял с ними их скудную трапезу, как был арестован в Трувилле за попытку пробраться на пароход и проехать «зайцем». От родителей это путешествие скрывалось, и они узнали о нем лишь постфактум. Поэт заранее написал

письма родителям, и его друзья аккуратно каждые десять дней отправляли их из Парижа. После экзотического путешествия Петербург навел на поэта тоску. Он только и мечтал опять уехать в страну, где «Каналы, каналы, каналы, – Что несутся вдоль каменных стен, – Орошая Дамьетские скалы – Розоватыми брызгами пен» (Египет) [9; 419].

Николай Степанович Гумилев. *Из очерка «Африканская охота»:*

На старинных виньетках часто изображали Африку в виде молодой девушки, прекрасной, несмотря на грубую простоту ее форм, и всегда, всегда окруженной дикими зверями. Над ее головой раскачиваются обезьяны, за ее спиной слоны помахивают хоботами, лев лижет ее ноги, рядом на согретом солнцем утесе нежится пантера.

Художники не справлялись ни с ростом колонизации, ни с проведением железных дорог, ни с оросительными или осушительными земляными работами. И они были правы: это нам здесь, в Европе, кажется, что борьба человека с природой закончилась, или во всяком случае перевес уже, очевидно, на нашей стороне. Для побывавших в Африке дело представляется иначе.

Узкие насыпи железных дорог каждое лето размываются тропическими ливнями, слоны любят почесывать свои бока о гладкую поверхность телеграфных столбов и, конечно, ломают их, гиппопотамы опрокидывают речные пароходы. Сколько лет англичане заняты покореньем Сомалийского полуострова и до сих пор не сумели продвинуться даже на сто километров от берега. И в то же время нельзя сказать, что Африка не гостеприимна, – ее леса равно открыты для белых, как и для черных, к ее водопоям по молчаливому соглашению человек подходит раньше зверя. Но она ждет именно гостей и никогда не признает их хозяевами [11; 141–142].

Вера Константиновна Лукницкая:

30 ноября (1909 г. – Сост.) Толстой, Кузмин и Потемкин проводили Гумилева в Одессу, откуда он пароходом отправлялся в Африку.

Во время путешествия писал письма и открытки из Порт-Саида, Джедды, Каира, Джибути родителям, А. А. Горенко, приятелям по «Аполлону» – Зноско-Боровскому, Ауслендеру, Потемкину, Кузмину. Две открытки Брюсову.

В Одессу приехал 1 декабря. Из Одессы морем: Варна – 3 декабря, Константинополь – 5 декабря, Александрия – 8–

9 декабря, Каир – 12 декабря. В пути написал «Письмо о русской поэзии» и отправил его в «Аполлон». Порт-Саид – 16 декабря, Джедда – 19–20 декабря, Джибути – 22–23 декабря. Из Джибути 24 декабря выехал на мулах в Харрар. В дороге охотился на зверей [16; 104].

Николай Степанович Гумилев. *Из письма В. К. Шварсалон. Начало декабря 1909 г.:*

Вера Константиновна,

уже три дня я в Каире <…>. Здесь очень хорошо. Каждый вечер мне кажется, что я или вижу сон, или, наоборот, проснулся в своей родине. В Каире вблизи моего отеля есть сад, устроенный на английский лад, с искусственными горами, гротами, мостами из цельных деревьев. Вечером там почти никого нет, и светит большая бледно-голубая луна. Там дивно хорошо. Но каждый день мне приходит в голову ужасная мысль, которую я, конечно, не приведу в исполнение, это отправиться в Александрию и там не утопиться подобно Антиною, а просто сесть на корабль, идущий в Одессу. Я чувствую себя очень одиноким, и до сих пор мне не представилось ни одного случая выпрямиться во весь рост (это не самомнение, а просто оборот речи). Но сегодня я не смогу вытерпеть и отправлюсь на охоту. Часа два железной дороги – и я уже буду на границе Сахары, где водятся гиены. Я знаю, это дурно с моей стороны. Я сижу в Каире, чтобы кончить статью для «Аполлона» – как она меня мучит, если бы вы знали, – денег у меня мало, но лучше я буду работать в Абиссинии, там, кстати, строится железная дорога от Харрара до Аддис-Абебы, и нужны руки, лучше пусть меня проклянет за ожидание Маковский.

Я высаживался в Пирее, был в Акрополе и молился Афине Палладе перед ее храмом. Я понял, что она жива, как и во времена Одиссея, и с такой радостью думаю о ней [6; 155].

Николай Степанович Гумилев. *Из письма В. И. Иванову. Джибути, 23 декабря 1909 г. (5 января 1910 г.):*

Я прекрасно доехал до Джибути и завтра еду дальше. Постараюсь попасть в Аддис-Абебу, устраивая по дороге эскапады. Здесь уже настоящая Африка. Жара, голые негры, ручные обезьяны. Я совсем утешен и чувствую себя прекрасно. Приветствую отсюда Академию Стиха. Сейчас пойду купаться, благо акулы здесь редки [6; 156].

Николай Степанович Гумилев. *Из письма В. Я. Брюсову. Джибути, 24 декабря 1909 г. (6 января 1910 г.):*

Дорогой Валерий Яковлевич,

как видите, пишу Вам уже из Джибути. Завтра еду в глубь страны, по направлению к Аддис-Абебе, столице Менелика. По дороге буду охотиться. Здесь уже есть все до львов и слонов включительно, солнце палит немилосердно, негры голые. Настоящая Африка. Пишу стихи, но мало. Глупею по мере того, как чернею, а чернею я с каждым часом. Но впечатлений масса. Хватит на две книги стихов.

Если меня не съедят, я вернусь в конце января [6; 156].

Николай Степанович Гумилев. *Из письма В. Я. Брюсову. Харар, январь 1910 г.:*

< … > Пишу уже из Харрара.

Вчера сделал двенадцать часов (70 километров) на муле, сегодня мне предстоит ехать еще восемь часов (50 километров), чтобы найти леопардов. Так как княжество Харрар находится на горе, здесь не так жарко, как было в Дире-Дауа, откуда я приехал. Здесь только один отель и цены, конечно, страшные. Но сегодня ночью мне предстоит спать на воздухе, если вообще придется спать, потому что леопарды показываются обыкновенно ночью. Здесь есть и львы и слоны, но они редки, как у нас лоси, и надо надеяться на свое счастье, чтобы найти их.

Я в ужасном виде: платье мое изорвано колючками мимоз, кожа обгорела и медно-красного цвета, левый глаз воспален от солнца, нога болит, потому что упавший на горном перевале мул придавил ее своим телом. Но я махнул рукой на все. Мне кажется, что мне снятся одновременно два сна: один неприятный и тяжелый для тела, другой восхитительный для глаз. Я стараюсь думать только о последнем и забываю о первом. Как видишь из этого письма, я не совсем забыл русский язык: здесь я говорю на пяти языках сразу. Но я доволен своей поездкой. Она меня пьянит, как вино. Когда ты получишь это письмо, я буду, наверное, уже по дороге в Константинополь и через неделю увижу тебя. < … > Мой слуга абиссинец ждет меня у дверей. Кончаю писать [6; 157].

Николай Степанович Гумилев. *Из очерка «Африканская охота»:*

Там, где Абиссинское плоскогорье переходит в низменность, и раскаленное солнце пустыни нагревает большие круглые камни, пещеры и низкий кустарник, можно часто встретить леопарда, по большей части разленившегося на хлебах у какой-нибудь одной деревни. Изящный, пестрый, с тысячью уловок и капризов, он играет в жизни поселян роль какого-то блистательного

и враждебного домового. Он крадет их скот, иногда и ребят. Ни одна женщина, ходившая к источнику за водой, не упустит случая сказать, что видела его отдыхающим на скале и что он посмотрел на нее, точно собираясь напасть. С ним сравнивают себя в песнях молодые воины и стремятся подражать ему в легкости прыжка. Время от времени какой-нибудь предприимчивый честолюбец идет на него с отравленным копьем и, если не бывает искалечен, что случается часто, тащит торжественно к соседнему торговцу атласистую с затейливым узором шкуру, чтобы выменять ее на бутылку скверного коньяку. На месте убитого зверя поселяется новый, и все начинается сначала.

Однажды к вечеру я пришел в маленькую сомалийскую деревушку, где-то на краю Харрарской возвышенности. Мой слуга, юркий харрарит, тотчас же сбегал к старшине рассказать, какой я важный господин, и тот явился, неся мне в подарок яиц, молока и славного полугодовалого козленка. По обыкновению, я стал расспрашивать его об охоте. Оказалось, что леопард бродил полчаса тому назад на склоне соседнего холма. Так как известие было принесено стариком, ему можно было верить. Я выпил молока и отправился в путь; мой слуга вел, как приманку, только что полученного козленка.

Вот и склон с выцветшей, выжженной травой, с мелким колючим кустарником, похожий на наши свалочные места. Мы привязали козленка посередине открытого места, я засел в куст шагах в пятнадцати, сзади меня улегся с копьем мой харрарит. Он таращил глаза, размахивал оружьем, уверяя, что это восьмой леопард, которого он убьет; он был трус, и я велел ему замолчать. Ждать пришлось недолго; я удивляюсь, как отчаянное блеяние нашего козленка не собрало всех леопардов округа. Я вдруг заметил, как зашевелился дальний куст, покачнулся камень, и увидел приближающегося пестрого зверя, величиною с охотничью собаку. Он бежал на подогнутых лапах, припадая брюхом к земле и слегка махая кончиком хвоста, а тупая кошачья морда была неподвижна и угрожающа. У него был такой знакомый по книгам и картинкам вид, что первое мгновенье мне пришла в голову несообразная мысль, не бежал ли он из какого-нибудь странствующего цирка? Потом сразу забилось сердце, тело выпрямилось само собой, и, едва поймав мушку, я выстрелил.

Леопард подпрыгнул аршина на полтора и грузно упал на бок. Задние ноги его дергались, взрывая землю, передние подбирались, словно он готовился к прыжку. Но туловище было неподвижно, и голова все больше и больше клонилась на сторону:

пуля перебила ему позвоночник сейчас же за шеей. Я понял, что мне нечего ждать его нападения, опустил ружье и повернулся к моему ашкеру. Но его место было уже пусто, там валялось только брошенное копье, а далеко сзади я заметил фигуру в белой рубашке, отчаянно мчащуюся по направлению к деревне.

Я подошел к леопарду; он был уже мертв, и его остановившиеся глаза уже заволокла беловатая муть. Я хотел его унести, но от прикосновения к этому мягкому, точно бескостному телу меня передернуло. И вдруг я ощутил страх, нарастающий тягучим ознобом, очевидно, реакцию после сильного нервного подъема. Я огляделся: уже сильно темнело, только один край неба был сомнительно желтым от подымающейся луны; кустарники шелестели своими колючками, со всех сторон выгибались холмы. Козленок отбежал так далеко, как ему позволяла натянувшаяся веревка, и стоял, опустив голову и цепенея от ужаса. Мне казалось, что все звери Африки залегли вокруг меня и только ждут минуты, чтобы умертвить меня мучительно и постыдно.

Но вот я услышал частый топот ног, короткие, отрывистые крики, и, как стая воронов, на поляну вылетел десяток сомалей с копьями наперевес. Их глаза разгорелись от быстрого бега, а на шее и лбу, как бисер, поблескивали капли пота. Вслед за ними, задыхаясь, подбежал и мой проводник, харрарит. Это он всполошил всю деревню известием о моей смерти [11; 145–147].

Павел Николаевич Лукницкий. *Из дневника:*

АА (Ахматова. – Сост.): «Из Африки в 1910 году привез два бокала из рога носорога, подаренных ему» [16; 104].

Ольга Людвиговна Делла-Вос-Кардовская. *В записи Л. В. Горнунга:*

Зимой 1910–1911 года Николай Степанович еще раз ездил в Африку. Он привез оттуда много звериных шкур, среди которых были красивые шкуры обезьян. Я помню также и привезенную им очень любопытную миниатюру работы неизвестного абиссинского художника. Краски на ней были яркими, но сама она напоминала лубок, так как была исполнена довольно грубо [10; 194].

Вера Константиновна Лукницкая:

25 сентября (1910 г. – Сост.) Гумилев выехал из Петербурга в Одессу. Затем морем: Константинополь – 1 октября, Каир – 12 октября, Бейрут, Порт-Саид – 13 октября, Джедда, Джибути – 25 октября.

На пароходе написал песнь четвертую «Открытия Америки»

и послал ее в «Аполлон» [16; 112].

Орест Николаевич Высотский:

Наконец, пройдя Баб-эль-Мандебский пролив, пароход бросил якорь в порту Джибути. Обычная долгая и скучная процедура в таможне, скверная гостиница, а на следующий день (поезд ходил два раза в неделю – по вторникам и субботам), во вторник, Гумилев уже ехал по узкоколейке в Дире-Дауа.

Железную дорогу строили французы, получившие концессию от абиссинских властей. После присоединения Сомали и выхода к морю страна нуждалась в такой дороге для вывоза товаров.

Гумилев ехал в вагоне для белых с несколькими французскими инженерами. Вагоны для черных были битком набиты, оттуда слышались громкий хохот, пение и гортанный говор. Поезд то набирал скорость, когда дорога шла под уклон, и тогда вагоны трясло, качало так, что, казалось, они вот-вот опрокинутся, то тащился со скоростью пешехода, взбираясь на подъем. В вагоне стоял лязг и скрежет: рельсы были уложены на железные шпалы, чтобы защитить их от термитов. За окном простиралась красноватая, растрескавшаяся равнина с редким кустарником.

Только к вечеру следующего дня «бубука», как по-амхарски называют поезд, подошел к Дире-Дауа. Шумная толпа высыпала из вагонов и цветным потоком растеклась по пыльным улочкам с низенькими белыми домиками среди мимоз.

Дальше пути не было – только что стали строить дорогу, и первый паровоз в Аддис-Абебе увидели в 1917 году. Побывать в Аддис-Абебе Гумилев мечтал еще в свой первый приезд. Теперь он намеревался осуществить эту мечту.

Путь лежал через Харар, один из самых древних городов страны. Гумилев уже посетил его в прошлом году. Пришлось нанять мула и проводников.

Караванная тропа шла отрогами Черчерских гор, поросших лесом и колючим кустарником. Когда поднялись на 2500 метров над уровнем моря, жара, стоявшая в Дире-Дауа, спала, стало легче дышать.

В просветах между деревьями виднелись маленькие деревни, коричневые скалы, густая зелень долин. < … >

Когда встречались каменные завалы, приходилось, сойдя с мула, пробираться пешком. С вершины далеко внизу видно было озеро Адели. Местность изменилась: вместо мимоз и колючих кустарников зеленели банановые пальмы и изгороди молочаев, виднелись возделанные поля дурро.

Дальше была прямая дорога в Харар мимо озера Оромоло.

По его пологому берегу бродили красавцы чибисы и болотные птицы серого оперения с наростами на голове.

С возвышенности на город открывался величественный вид: дома из красного песчаника, мечети и острые минареты, белые дома европейцев. Город окружала невысокая стена с приземистыми воротами: в центре пошире – для провоза клади на мулах и верблюдах, по бокам – для пешеходов. После захода солнца ворота запирались. < … >

Дни шли за днями, а Гумилеву все не удавалось найти караван, с которым можно было отправиться в Аддис-Абебу. Только в конце ноября представился случай уехать на муле с большим караваном, идущим в столицу страны [9; 128–130].

Вера Константиновна Лукницкая:

В ноябре прошел пустыню Черчер. Достиг Аддис-Абебы. Поселился в «Hotel d'Imperatrisse», потом переехал в «Hotel Terrasse». Там его обокрали [16; 112].

Орест Николаевич Высотский:

Аддис-Абеба был совсем молодым городом. В центре стояло несколько европейских двух– и трехэтажных домов, окруженных хижинами под остроконечными тростниковыми крышами. На холме возвышался дворец негуса (императора. – Сост.) с двумя каменными львами, лежавшими у парадной лестницы.

Город стоял на высокогорье, днем прогревался, а ночи бывали холодными. В разреженном горном воздухе было трудно дышать.

Целыми днями Гумилев бродил по улицам, наблюдая местную жизнь. Все было интересно: обычай мужчин целовать друг другу руки при встрече, пестрые и яркие одеяния эфиопок (у самых знатных – непременно короткая черная мантия), разноголосый говор толпы на рынках, где продавали громадные огурцы-нумиш, красный берберийский перец, высушенную кору кустарника, которая дает ароматный дым [9; 131].

Вера Константиновна Лукницкая:

Был с визитом у русского миссионера в Абиссинии – Бориса Александровича Черемзина, потом, подружившись с ним, несколько раз бывал у него. Встречался с доктором А. И. Кохановским, русским офицером Бабичевым, с европейскими коммерсантами, инженерами, служащими банка.

Черемзин жил в нескольких верстах от Аддис-Абебы, на территории русской миссии, и Гумилев ездил к нему в гости на муле. Вместе с Черемзиным 25 декабря присутствовал

на парадном обеде во дворце негуса в честь наследника абиссинского императора Лидж-Ясу. На обеде был представлен весь дипломатический корпус и около трех тысяч абиссинцев [16; 112].

Николай Степанович Гумилев. *Из очерка «Африканская охота»:*

Мой друг, молодой и богатый абиссинец лидж Адену, пригласил меня погостить в его имении. – «О, только два дня пути от Аддис-Абебы, – уверял он, – только два дня по хорошей дороге». Я согласился и велел на завтра оседлать моего мула. Но лидж Адену настаивал, чтобы ехать на лошадях, и привел мне на выбор пять из своего табуна.

Я понял, почему он так хотел этого, сделав с ним в два дня по меньшей мере полтораста верст.

Чтобы рассеять мое недовольство, вызванное усталостью, лидж Адену придумал охоту, и не какую-нибудь, а облаву.

Облава в тропическом лесу – это совсем новое ощущение: стоишь и не знаешь, что покажется сейчас за этим круглым кустом, что мелькнет между этой кривой мимозой и толстым платаном; кто из вооруженных копытами, когтями, зубами выбежит с опущенной головой, чтобы пулей приобщить его к твоему сознанью; может быть, сказки не лгут, может быть, действительно есть драконы…

Мы стали по двум сторонам узкого ущелья, кончающегося тупиком; загонщики, человек тридцать быстроногих галласов, углубились в этот тупик. Мы прицепились к камням посреди почти отвесных склонов и слушали удаляющиеся голоса, которые раздавались то выше нас, то ниже и вдруг слились в один торжествующий рев. Зверь был открыт.

Это была большая полосатая гиена. Она бежала по противоположному скату в нескольких саженях над лидж Адену, а за ней с дубиной мчался начальник загонщиков, худой, но мускулистый, совсем голый негр. Временами она огрызалась, и тогда ее преследователь отставал на несколько шагов. Я и лидж Адену выстрелили одновременно. Задыхающийся негр остановился, решив, что его дело сделано, а гиена, перекувырнувшись, пролетела в аршине от лидж Адену, в воздухе щелкнула на него зубами, но, коснувшись ногами земли, как-то справилась и опять деловито затрусила вперед. Еще два выстрела прикончили ее.

Через несколько минут снова послышался крик, возвещающий зверя, но на этот раз загонщикам пришлось иметь дело с леопардом, и они не были так резвы.

Два-три могучих прыжка, и леопард был наверху ущелья, откуда ему повсюду была вольная дорога. Мы его так и не видели.

Третий раз пронесся крик, но уже менее дружный, вперемежку со смехом. Из глубины ущелья повалило стадо павианов. Мы не стреляли. Слишком забавно было видеть этих полусобак, полулюдей, удирающих с той комической неуклюжестью, с какой из всех зверей удирают только обезьяны. Но позади бежало несколько старых самцов с седой львиной гривой и оскаленными желтыми клыками. Это уже были звери в полном смысле слова, и я выстрелил. Один остановился и хрипло залаял, а потом медленно закрыл глаза и опустился на бок, как человек, который собирается спать. Пуля затронула ему сердце, и, когда к нему подошли, он был уже мертв.

Облава кончилась. Ночью, лежа на соломенной циновке, я долго думал, почему я не чувствую никаких угрызений совести, убивая зверей для забавы, и почему моя кровная связь с миром только крепнет от этих убийств. А ночью мне приснилось, что за участие в каком-то абиссинском дворцовом перевороте мне отрубили голову, и я, истекая кровью, аплодирую уменью палача и радуюсь, как все это просто, хорошо и совсем не больно [11; 150–152].

Павел Николаевич Лукницкий. *Из дневника:*

АА (Ахматова. – Сост.): «<…> Из Аддис-Абебы делал большие экскурсии… Раз заблудился в лесу (ашкеры остановились в палатке, а он отошел от них и потерял дорогу). Остановился на берегу Нигера (?). На противоположном берегу увидел стадо бегемотов – купались. Услыхал выстрелы ашкеров» [16; 104].

Вера Константиновна Лукницкая:

С дороги писал письма, а из Африки никому – ни родным, ни друзьям – не написал ни одного, только матери прислал телеграмму в конце путешествия.

Из Аддис-Абебы в Джибути опять шел через пустыню и с местным поэтом ато-Иосифом собирал абиссинские песни и предметы быта.

В конце февраля из Джибути на пароходе через Александрию, Константинополь, Одессу Гумилев отправился в Россию. В Царское Село вернулся в конце марта 1911 года больным сильнейшей африканской лихорадкой [16; 112].

Николай Степанович Гумилев. *В пересказе Г. Иванова:*

Путешествовать по Африке отвратительно. Жара. Негры не хотят слушаться, падают на землю и кричат: «Калас» (дальше не иду). Надо их поднимать плеткой. Злишься так, что сводит челюсти. Я вообще не люблю юга. Только на севере европеец может быть счастлив. Чем ближе к экватору, тем сильнее тоска. В Абиссинии я выходил ночью из палатки, садился на песок, вспоминал Царское, Петербург, северное небо и мне становилось страшно, вдруг я умру здесь от лихорадки и никогда больше всего этого не увижу [9; 470–471].

Неравный брак

Николай Степанович Гумилев. *Из письма В. Я. Брюсову. Киев, 21 апреля (4 мая) 1910 г.:*

Дорогой Валерий Яковлевич,

пишу Вам, как Вы можете видеть по штемпелю, из Киева, куда я приехал, чтобы жениться. Женюсь я на А. А. Горенко, которой посвящены «Романтические цветы». Свадьба будет, наверное, в воскресенье, и мы тотчас же уедем в Париж. К июлю вернемся и будем жить в Царском по моему старому адресу [6; 162].

Вадим Васильевич Бронгулеев *(ум. 1994), геолог, библиофил, биограф Гумилева:*

Долгожданный день свадьбы Гумилева и Ахматовой пришелся на 25.IV(8.V) .1910 года. Венчание состоялось в предместье Киева. Анна Андреевна приняла фамилию мужа. Шаферами были В. Ю. Эльснер и И. В. Аксенов.

Сохранилось свидетельство о браке: «Означенный в сем студент Санкт-Петербургского университета Николай Степанович Гумилев 1910 года апреля 25 дня причтом Николаевской церкви села Никольской Слободки Остерского уезда Черниговской губернии обвенчан с потомственной дворянкой Анной Андреевной Горенко, что удостоверяем подписями и приложением церковной печати 1910 года апреля 25 дня.

Николаевской церкви села Никольской Слободки Остерского уезда Черниговской губернии

священник (подпись)

псаломщик (подпись)» [6; 163].

Николай Степанович Гумилев. *В записи О. А. Мочаловой:*

Моим шафером в Киеве был Аксенов. Я не знал его, и когда предположили, только спросил – приличная ли у него фамилия, не Голопупенко какой-нибудь? [22; 283]

Вадим Васильевич Бронгулеев:

До конца месяца молодые люди жили в Киеве, а потом, получив в канцелярии киевского губернатора заграничные паспорта, выехали во Францию.

В записках Лукницкого имеются некоторые подробности пребывания Гумилева и его жены в Париже. Они поселились на Rue Buonaparte. Посетили Лувр, музеи Гиме и Гюстава Моро, средневековое аббатство Клюни, зоологический сад, где Гумилев, наверное, показывал Анне тех самых тибетских медведей,

которых он кормил здесь когда-то; были в Булонском лесу, где он хотел покончить с собой, а также и в любимых поэтом кафе Латинского квартала; посещали ночные кабаре. Несомненно, Гумилев считал себя знатоком Парижа, и ему было интересно и приятно изображать опытного гида.

Как вспоминала позднее Ахматова, Николай Степанович познакомил ее с Ж. Шюзевилем, А. Мерсеро, Ж. Аркосом, Н. Деникером. Они встречались здесь и с некоторыми своими соотечественниками – С. Маковским и А. Экстер. Нанесли даже визит французскому критику Танкреду де Визану [6; 163–164].

Павел Николаевич Лукницкий. *Из дневника:*

АА (Ахматова. – Сост.): «В Париже, в 1910 году, в кафе просил французских поэтов читать стихи. Они отказались. Николай Степанович очень удивился».

Я просил АА рассказать о пребывании ее с Николаем Степановичем в Париже в 1910 году. АА стала рассказывать подробно – о выставках, о музеях, о знакомых, которых они видели, о книгах, которые Николай Степанович покупал там (целый ящик книг он отправил в Россию – там были все новые французские поэты, был и Маринетти, тогда появившийся на сцене, и другие) [16; 105].

Сергей Константинович Маковский:

Я встретил молодых тогда в Париже. Затем мы вместе возвращались в Петербург.

В железнодорожном вагоне, под укачивающий стук колес, легче всего разговориться «по душе». Анна Андреевна, хорошо помню, меня сразу заинтересовала, и не только в качестве законной жены Гумилева, повесы из повес, у которого на моих глазах столько завязывалось и развязывалось романов «без последствий», – но весь облик тогдашней Ахматовой, высокой, худенькой, тихой, очень бледной, с печальной складкой рта, вызывал не то растроганное любопытство, не то жалость. По тому, как разговаривал с ней Гумилев, чувствовалось, что он ее полюбил серьезно и гордится ею. Не раз и до того он рассказывал мне о своем жениховстве. Говорил и впоследствии об этой своей единственной настоящей любви [9; 341].

Николай Степанович Гумилев. *В записи по памяти И. В. Одоевцевой:*

Возвращаясь домой, мы встретились с Маковским, с рара Mako, как мы все его называли, в wagon-lits[25]. Я вошел в купе, а Анна Андреевна осталась с рара Mako в коридоре, и тот,

обменявшись с ней впечатлениями о художественной жизни Парижа, вдруг задал ей ошеломивший ее вопрос: «А как вам нравятся супружеские отношения? Вполне ли вы удовлетворены ими?» На что она, ничего не ответив, ушла в наше купе и даже мне об этом рассказала только через несколько дней. И долгое время избегала оставаться с ним с глазу на глаз [23; 296].

Сергей Абрамович Ауслендер:

Когда осенью (1910 г. – Сост.) была наша свадьба, мы с невестой предполагали, что одним из шаферов у нас будет Гумилев.

Я поехал в Царское приглашать его. Анны Андреевны не было дома. Он был один в садике, был нежен. Но чувствовалось, что у него огромная тоска.

– Ну, ты вот счастлив. Ты не боишься жениться?

– Конечно боюсь. Все изменится, и люди изменятся.

И я сказал, что он тоже изменился. Он провожал меня парком, и мы холодно и твердо решили, что все изменится, что надо себя побороть. И это было для нас отнюдь не литературной фразой.

Гумилев сразу повеселел и ожил. «Ну, женился, ну, разведусь, буду драться на дуэли, что ж особенного!» [3; 201]

Ольга Людвиговна Делла-Вос-Кардовская. *В записи Л. В. Горнунга:*

После женитьбы Николай Степанович переехал в купленный его матерью дом на Малой улице (в Царском Селе. – Сост.). На новоселье я подарила ему свою небольшую работу, изображавшую царскосельскую статую на фоне весеннего неба и деревьев.

Так же, как и раньше, у Гумилева и Ахматовой собирались друзья и знакомые. Так же читались и подробно разбирались новые литературные произведения. Но центром внимания был теперь уже не Николай Степанович, а его жена Анна Андреевна Ахматова. Изменился и состав знакомых. Чаще здесь стали бывать В. Шилейко, А. Лурье, В. Недоброво, О. Мандельштам и другие [10; 194].

Анна Андреевна Гумилева:

Дом Гумилевых был очень гостеприимный, хлебосольный и радушный. Хозяева были рады всякому гостю, в которых не было недостатка везде, где бы Гумилевы ни жили. Я очень любила, когда поэт устраивал литературные вечера. Вспоминаю один эпизод. Однажды один молодой поэт читал с жаром

и увлечением свою поэму. Царила полная тишина. Вдруг раздался равномерный, громкий храп. Смущенный и обиженный, поэт прервал чтение. Все переглянулись. Коля встал. Окинул взором всех слушателей и видит, все сидят чинно, улыбаются, переглядываются и ищут храпящего гостя. Каково же было наше удивление, когда виновником храпа оказалась собака Молли, бульдог, любимица Анны Ахматовой. Все много смеялись и долгое время дразнили молодого чтеца, называя его Молли [9; 423].

Надежда Александровна Тэффи:

Они любили развлекать друзей забавной игрой. Открывали один из томов «Жизни животных» Брема и загадывали на присутствующих, кому что выйдет. Какому-нибудь эстету выходило: «Это животное отличается нечистоплотностью». «Животное» смущалось, и было очень забавно (не ему, конечно) [9; 455].

Анна Андреевна Ахматова:

Вначале я действительно писала очень беспомощные стихи, что Н<иколай> С<тепанович> и не думал от меня скрывать. Он действительно советовал мне заняться каким-нибудь другим видом искусства, напр<имер>, танцами. («Ты такая гибкая».) Осенью 1910 г. Гум<илев> уехал в Аддис-Абебу. Я осталась одна в гумилевском доме (Бульварная, д<ом> Георгиевского), как всегда, много читала, часто ездила в Петербург (главным образом к Вале Срезневской, тогда еще Тюльпановой), побывала у мамы в Киеве и сходила с ума от «Кипарисового ларца». Стихи шли ровной волной, до этого ничего похожего не было. Я искала, находила, теряла. Чувствовала (довольно смутно), что начинает удаваться. А тут и хвалить начали. А вы знаете, как умели хвалить на Парнасе серебряного века! На эти бешеные и бесстыдные похвалы я довольно кокетливо отвечала «А вот моему мужу не нравится». <…>

…«Башня» – ликовала.

25 марта 1911 г. (Благовещенье ст<арого> стиля) Гумилев вернулся из своего путешествия в Африку (Аддис-Абеба). В нашей первой беседе он, между прочим, спросил меня: «А стихи ты писала?» Я, тайно ликуя, ответила: «Да». Он попросил почитать, прослушал несколько стихотворений и сказал: «Ты поэт – надо делать книгу». Вскоре были стихи в «Аполлоне» (1911, № 4) [4; 134–135].

Павел Николаевич Лукницкий. *Из дневника:*

Когда АА читала стихи «Вечера» на «башне» или в других местах, люди спрашивали, что думает Николай Степанович об этих стихах. Николай Степанович «Вечер» не любил. Отсюда создалось впечатление, что он не понимает, не любит стихов АА.

Николай Степанович никогда ни в «Академии стиха», ни в других местах не выступал с критикой стихов АА, никогда не говорил о них. АА ему запретила [16; 115].

Павел Николаевич Лукницкий. *Из дневника:*

Н. А. Шишкина мне сообщила, что Николай Степанович, рассказывая ей об АА, сказал следующую фразу: «Ведь это я ее сделал. Я просматривал ее стихи, говорил, что они безвкусны, заставляя ее переделывать их… она самоуверенно спорила».

Оставив в стороне основания, по которым Н. А. Шишкина, давая мне такие сведения, могла быть небеспристрастной к АА, я приведу другое сообщение – Б. С. Мосолова. Давая мне воспоминания о Николае Степановиче (осенью 1925 г.), он сказал, что в годы 1910–1912 на «башне» В. Иванова и в «Бродячей собаке» многие иронически называли Н. Гумилева – «Н. С. Ахматов», желая показать обратное влияние, и раз, услышав это, АА была крайне обижена [16; 134].

Валерия Сергеевна Срезневская:

Конечно, они были слишком свободными и большими людьми, чтобы стать парой воркующих «сизых голубков». Их отношения были скорее тайным единоборством. С ее стороны – для самоутверждения как свободной от оков женщины; с его стороны – желание не поддаться никаким колдовским чарам, остаться самим собою, независимым и властным над этой вечно, увы, ускользающей от него женщиной, многообразной и не подчиняющейся никому [22; 241].

Ирина Владимировна Одоевцева:

– Разве она не любила вас? Ведь столько ее чудных стихов…

Он нетерпеливо перебивает меня:

– Стихи – одно, а жизнь – другое. Если она и любила меня, то очень скоро разлюбила. Мы абсолютно не подходили друг другу. Абсолютно! – повторяет он, будто стараясь убедить не столько меня, как себя в том, что они не подходили друг к другу. – Наш брак был ошибкой. Впрочем, как всякий брак… Счастливых браков не бывает. Это уже Ларошфуко заметил.

Он замолкает на минуту, и лицо его принимает какое-то несвойственное ему, мечтательное, умиленное выражение.

– А как восхитительно все началось, и как я был счастлив. Я,

как Толстой, думал, что такое счастье не может кончиться со смертью, что оно должно длиться вечно… – Он недоуменно разводит руками: – А оно не продлилось даже и года.

Нет повести печальнее на свете,
Чем повесть о Ромео и Джульетте…

если не считать повести о Николае и Анне, о ней и обо мне… Печальнее всего, что все было так просто, буднично и скучно. Сразу же выяснилось, что у нас диаметрально противоположные вкусы и характеры. Мне казалось, что раз мы женаты, ничто на свете уже не может разъединить нас. Я мечтал о веселой, общей домашней жизни, я хотел, чтобы она была не только моей женой, но и моим другом и веселым товарищем. А для нее наш брак был лишь этапом, эпизодом в наших отношениях, в сущности, ничего не менявшим в них. Ей по-прежнему хотелось вести со мной «любовную войну» по Кнуту Гамсуну – мучить и терзать меня, устраивать сцены ревности с бурными объяснениями и бурными примирениями. Все, что я ненавижу до кровомщения. Для нее «игра продолжалась», азартно и рискованно. Но я не соглашался играть в эту позорную, ненавистную мне игру. Мы оба были разочарованы. Недаром я уже в первый год писал:

Из города Киева,
Из логова змиева
Я взял не жену, а колдунью…

А она, правда, позже, уже после рождения Левушки:

Он любил три вещи на свете:
За вечерней пенье, белых павлинов,
Истертые карты Америки.

Не любил, когда плачут дети,
Не любил чая с малиной
И женской истерики.
…А я была его женой…

Он высоко поднимает брови и щурится.

– Полагаю, что все ясно. Комментарии излишни. А, казалось бы, кому как не ей быть счастливой? У нее было все, о чем другие

только мечтают. Но она проводила целые дни, лежа на диване, томясь и вздыхая. Она всегда умудрялась тосковать и горевать и чувствовать себя несчастной. Я шутя советовал ей подписываться не Ахматова, а Анна Горенко. Горе – лучше не придумать.

– Разве слава не радовала ее? – спрашиваю я.

– В том-то и дело, что почти не радовала. Она как будто не желала ее замечать. Зато необычайно страдала от всякой обиды, от всякого слова глупца-критика, а на успехи не обращала внимания.

И все-таки я продолжал любить ее не меньше, чем прежде. И никогда, если бы она сама не потребовала, не развелся бы с ней. Никогда! Мне и в голову не приходило.

Я всегда весело и празднично, с удовольствием возвращался к ней. Придя домой, я по раз установленному ритуалу кричал: «Гуси!» И она, если была в хорошем настроении – что случалось очень редко, – звонко отвечала: «И лебеди», или просто «Мы!», и я, не сняв даже пальто, бежал к ней в «ту темно-синюю комнату», и мы начинали бегать и гоняться друг за другом. Но чаще я на свои «Гуси!» не получал ответа и сразу отправлялся к себе в свой кабинет, не заходя к ней. Я знал, что она встретит меня обычной, ненавистной фразой: «Николай, нам надо объясниться!» – за которой неминуемо последует сцена ревности на всю ночь.

– Да, конечно, – продолжает он, – теперь я сознаю, я был во многом виноват. Я очень скоро стал изменять ей. Ведь «Святой Антоний может подтвердить, что плоти я никак не мог смирить». Но я не видел греха в моих изменах. Они, по-моему, прекрасно уживались с моей бессмертной любовью. А она требовала абсолютной верности. От меня. И от себя. Она даже каялась мне, что изменяет мне во сне, каялась со слезами и страшно сердилась, что я смеюсь. Смеюсь, значит, разлюбил. Или, вернее, никогда не любил [23; 298–300].

Анна Андреевна Ахматова:

Когда в 1916 г. я как-то выразила сожаление по поводу нашего в общем несостоявшегося брака, он сказал: «Нет – я не жалею. Ты научила меня верить в Бога и любить Россию» [4; 128].

Борис Васильевич фон Анреп *(1885–1969), художник мозаичных панелей, возлюбленный А. А. Ахматовой:*

Гумилев иногда любил представлять себя важным супругом. Вся тирада в разговоре по поводу «Муж хлестал меня узорчатым,

вдвое сложенным ремнем» и дальнейшее заявление, что «из-за этих строк он прослыл садистом», и его возмущение и упреки возможны, как и нелепы. Мне вспоминается день, когда он уезжал из Англии в Россию после революции. Я хотел послать маленький подарок Анне Андреевне. И, когда он уже укладывал свой чемодан, передал ему большую редкую серебряную монету Александра Македонского и несколько ярдов шелкового материала для нее. Он театрально отшатнулся и сказал: «Борис Васильевич, как вы можете это просить, ведь она все-таки моя жена!» Я рассмеялся: «Не принимайте моей просьбы дурно, это просто дружеский жест». Он взял мой подарок, но я не знаю, передал ли он его по назначению, так как я больше ничего об этом не слыхал. С другой стороны, мы, конечно, много раз говорили о стихах А. А. Я запомнил одну фразу его: «Я высоко ценю ее стихи, но понять всю красоту их может тот, кто понимает глубину ее прекрасной души». Мне, конечно, эти слова представились исповедью. Понимал ли он «всю красоту ее души» или нет, осталось для меня вопросом… [16; 203]

Павел Николаевич Лукницкий. *Из дневника 1925 г.:*

Когда Николай Степанович вернулся из-за границы в 1918 году, он позвонил к Срезневским. Они сказали, что АА у Шилейко, Николай Степанович, не подозревая ничего, отправился к Шилейко. Сидели вместе, пили чай, разговаривали.

Потом АА пошла к нему – он остановился в меблированных комнатах «Ира». Была там до утра. Ушла к Срезневским. Потом, когда Николай Степанович пришел к Срезневским, АА провела его в отдельную комнату и сказала: «Дай мне развод». Он страшно побледнел и сказал: «Пожалуйста…» Не просил ни остаться, ничего не расспрашивал даже. Спросил только: «Ты выйдешь замуж? Ты любишь?» АА ответила: «Да». – «Кто же он?» – «Шилейко». Николай Степанович не поверил: «Не может быть! Ты скрываешь, я не верю, что это Шилейко» [16; 204].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Он развел руками, будто недоумевая.

– До сих пор не понимаю, почему Анна Андреевна заявила мне, что хочет развестись со мной, что она решила выйти замуж за Шилейко. Ведь я ничем не мешал ей, ни в чем ее не стеснял. Меня – я другого выражения не нахожу – как громом поразило. Но я овладел собой. Я даже мог заставить себя улыбнуться. Я сказал: «Я очень рад, Аня, что ты первая предлагаешь развестись. Я не решался сказать тебе. Я тоже хочу жениться». Я сделал паузу – на ком, о Господи?.. Чье имя назвать? Но я сейчас

же нашелся: «На Анне Николаевне Энгельгардт, – уверенно произнес я. – Да, я очень рад». И я поцеловал ее руку: «Поздравляю, хотя твой выбор не кажется мне удачным. Я плохой муж, не спорю. Но Шилейко в мужья вообще не годится. Катастрофа, а не муж».

И гордый тем, что мне так ловко удалось отпарировать удар, я отправился на Эртелев переулок делать предложение Анне Энгельгардт – в ее согласии я был заранее уверен.

Было ли все именно так, как рассказывал Гумилев, или, «погружаясь в свое прошлое», он слегка разукрасил и исказил его – я не знаю [23; 118].

Павел Николаевич Лукницкий. *Из дневника:*

После разговора с АА о разводе (1918 г. – Сост.) Николай Степанович и АА поехали к Шилейко, чтобы поговорить втроем. В трамвае Николай Степанович, почувствовавший, что АА совсем уже эмансипировалась, стал говорить «по-товарищески»: «У меня есть, кто бы с удовольствием пошел за меня замуж. Вот Лариса Рейснер, например… Она с удовольствием бы…» (Он не знал еще, что Лариса Рейснер уже замужем.) [16; 190].

Павел Николаевич Лукницкий. *Из дневника 1925 г.:*

Вскоре после этого АА с Николаем Степановичем уехали в Бежецк.

Я: «После объяснения у Срезневских как держался с вами Николай Степанович?»

АА: «Все это время он очень выдержан был… Никогда ничего не показывал, иногда сердился, но всегда это было в очень сдержанных формах (расстроен, конечно, был очень)».

АА говорит, что только раз он заговорил об этом. Когда они сидели в комнате, а Лева разбирал перед ними игрушки, они смотрели на Леву.

Николай Степанович внезапно поцеловал руку АА и грустно сказал ей: «Зачем ты все это выдумала?»

О том, о первом… Н. С. помнил, по-видимому, всю жизнь, потому что уже после развода с АА он спросил ее: «Кто был первый?» и «Когда это было?»

Я: «Вы сказали ему?»

АА тихо: «Сказала…»

…Развод не был принуждением. Отношения с ней прекратились задолго до 18 года. Развод был очень мирным – ведь в 18 году, уже после того как развод был решен, они ездили в Бежецк, Николай Степанович был очень хорошо настроен к АА, да и тот разговор в Бежецке: «Зачем ты все это выдумала?» –

происходил с грустью, но без всякой неприязни. АА предполагает, что в теории Николай Степанович хотел развода с ней. Так, в Париже, думая о Синей звезде, он мог говорить себе, если бы рассчитывал на взаимность со стороны Синей звезды: «Вот разведусь с Ахматовой и… тут должны были быть планы в будущем…» Но на практике оказалось несколько иначе. Обида самолюбию, несомненно, была, психологически объяснимо, что все свои последующие неудачи, даже такой неудачный брак с Анной Николаевной, Николай Степанович мог относить на счет АА. АА сказала: «Развод вообще очень тяжелая вещь… Это с каждым десятилетием становится легче. Теперь – совсем легко…»

АА говорит про лето 18 года: «Очень тяжелое лето было… Когда я с Шилейко расставалась – так легко и радостно было, как бывает, когда сходишься с человеком, а не расходишься. А когда с Н. С. расставалась – очень тяжело было. Вероятно, потому, что перед Шилейко я была совершенно права, а перед Н. С. чувствовала вину».

АА говорит, что много горя причинила Н. С., считает, что она отчасти виновата в его гибели – нет, не гибели, АА как-то иначе сказала, и надо другое слово, но сейчас не могу его найти (смысл – «нравственный»).

АА говорит, что Срезневская ей передавала такие слова Н. С. про нее: «Она все-таки не разбила мою жизнь». АА сомневается в том, что Срезневская это не фантазирует… [16; 204–205]

Ольга Николаевна Гильдебрандт-Арбенина:

Гумилев говорил об Ахматовой всегда добродушно, с легкой иронией. О ее очередном муже, Шилейко, говорил с удивлением, что у нее будто и романа с Шилейко не было, а сам Шилейко был странный, ученый ассириолог – и странный человек – Гумилеву и Лозинскому ни с того, ни с сего целовал руку [20; 450].

Павел Николаевич Лукницкий. *Из дневника 1925 г.:*

АА: «В 19 году Николай Степанович часто заходил. Раз я вернулась домой и на столе нашла кусочек шоколаду… И сразу поняла, что это Коля оставил мне…» [16; 221]

Павел Николаевич Лукницкий. *Из дневника 1926 г.:*

АА рассказала о нескольких встречах в последние годы. Так, в январе 1920 года она пришла в Дом искусств получать какие-то деньги (думаю, что для Шилейко). Николай Степанович был на заседании. АА села на диван. В первой комнате. Подошел Б. М. Эйхенбаум. Стали разговаривать. <…> Через несколько

минут Николай Степанович вышел. АА обратилась к нему на «вы». Это поразило Николая Степановича, и он сказал ей: «Отойдем…» Они отошли, и Николай Степанович стал ей жаловаться: «Почему ты назвала меня на „вы“, да еще при Эйхенбауме! Может быть, тебе что-нибудь плохое передали обо мне? Может быть, ты думаешь, что на лекциях я плохо о тебе говорю? Даю тебе слово, что на лекциях я, если говорю о тебе, то только хорошо». АА добавила: «Видите, как он чутко относился ко мне, если обращение на „вы“ так его огорчило. Я была очень тронута тогда» [16; 229].

Валерия Сергеевна Срезневская:

У Ахматовой большая и сложная жизнь сердца… Но Николай Степанович, отец ее единственного ребенка, занимает в жизни ее сердца скромное место. Странно, непонятно, может быть, и необычно, но это так [22; 241].

В Царском Селе

Ольга Людвиговна Делла-Вос-Кардовская. *В записи Л. В. Горнунга:*

Весною 1907 года мы переехали из Петербурга в Царское Село и сняли квартиру в нижнем этаже небольшого двухэтажного дома Беловзоровой на Конюшенной улице. Во втором этаже этого дома жили Гумилевы.

Николай Степанович был в то время за границей, в Париже, где учился в Сорбонне. <…>

Николай Степанович вернулся из Парижа весной 1908 года и до своего путешествия в Египет поселился у родителей в Царском Селе. О нас он узнал от своей матери и выразил желание познакомиться. Знакомство произошло 9 мая в день его именин. С тех пор мы начали с ним встречаться и беседовать. Обычно это бывало, когда он выходил на свой балкон. Так продолжалось до нашего отъезда за границу.

<…> С осени возобновилось наше знакомство с семьей Гумилевых. Николай Степанович сделал нам официальный визит, а затем мы довольно часто стали бывать друг у друга.

<…> Обычно у Гумилевых собиралось интересное общество читателей и поэтов. Среди гостей нередко присутствовали Алексей Ремизов, Алексей Толстой, Михаил Кузмин, Сергей Маковский, Иннокентий Анненский, его сын Валентин Кривич, Потемкин и др. Большинство приезжало из Петербурга. Николай Степанович был всегда мил и приветлив и являлся центром внимания. Здесь читались и критически рассматривались готовящиеся к печати стихи и проза. Суждения бывали иногда очень резкими, а споры горячими. Однако сам Николай Степанович делал замечания большей частью сдержанно и осторожно. К его словам прислушивались и с его мнением очень считались. <…>

Он благоговел перед Пушкиным и также прекрасно его знал. С этих вечеров все уезжали в Петербург обычно с последним поездом, и хозяин всегда сам провожал гостей до вокзала [10; 190].

Сергей Абрамович Ауслендер:

Я стал бывать у него в Царском Селе. Там было очень хорошо. Старый уютный особняк. Тетушки. Обеды с пирогами. По вечерам мы с ним читали стихи, мечтали о поездках в Париж, в Африку.

Заходили царскоселы, и мы садились играть в винт. Гумилев превращался в завзятого винтера, немного важного. Кругом

помещичий быт, никакой Африки, никакой романтики [3; 198].

Дмитрий Иосифович Кленовский:

В «Городе Муз» – Царском Селе – долго, до самой революции, существовали бок о бок два совершенно несхожих мира. Один из них – торжественный мир пышных дворцов и огромных парков с прудами, лебедями, статуями, павильонами, мир, в котором, вопреки всякому здравому художественному смыслу, так гармонично уживались рядом классические колоннады, турецкие минареты и китайские пагоды. И второй мир (тут же, за углом!) – мир пыльного летом и заснеженного зимой полупровинциального гарнизонного городка с одноэтажными деревянными домиками за резными палисадниками, с марширующими в баню с вениками под мышкой гусарами в пешем строю, с белым собором на пустынной площади и со столь же пустынным гостиным двором, где единственная в городе книжная лавка Митрофанова торговала в сущности только раз в году – в августе, в день открытия местных учебных заведений. Эти два мира очень ладно уживались рядом, причем второй, старея, понемногу «врастал» в первый. И когда высокая белая гусарская лошадь, по старости лет «переведенная» из гвардии в извозчичьи оглобли, с неожиданной резвостью тряхнув стариной, лихо подкатывала к чугунным воротам парка – прыжок на столетье назад был как-то совершенно незаметен, как незаметно было потом возвращение в обыденность провинциальной (несмотря на близость столицы) современности [9; 308].

«Цех поэтов»

Павел Николаевич Лукницкий. *Из дневника 1926 г.:*

АА (Ахматова. – Сост.): «…стремление Николая Степановича к серьезной работе нашло почву в «Цехе». Там были серьезные, ищущие знаний товарищи-поэты: Мандельштам, Нарбут, которые все отдавали настоящей работе, самоусовершенствованию.

Городецкий сблизился с Николаем Степановичем осенью 1911 года – перед «Цехом», незадолго. Весной 1911-го с Городецким у Николая Степановича не было решительно ничего общего и никаких отношений. Интересно следить за датами собраний «Цеха»: с одной стороны – количество собраний в первом, втором, третьем году (сначала 3 раза, потом 2 раза в месяц, а потом и еще реже). С другой стороны, видно, что собрания у Городецкого перестали бывать [16; 156].

Владимир Алексеевич Пяст *(наст. фам. Омельянович-Павленко-Пестовский; 1886–1940), поэт, прозаик, переводчик, мемуарист:*

Цех поэтов был довольно любопытным литературным объединением, в котором не ставился знак равенства между принадлежностью к нему и к акмеистической школе. В него был введен несколько чуждый литературным обществам и традициям порядок «управления». Не то, чтобы было «правление», ведающее хозяйственными и организационными вопросами; но и не то, чтобы были «учителя-академики» и безгласная масса вокруг. В Цехе были «синдики», в задачу которых входило направление членов Цеха в области их творчества; к членам же предъявлялись требования известной «активности»; кроме того, к поэзии был с самого начала взят подход как к ремеслу. Это гораздо позднее Валерий Брюсов где-то написал: «Поэзия – ремесло не хуже всякого другого». Не формулируя этого так, вкладывая в эту формулу несколько иной, чем Брюсов, смысл, синдики, конечно, подписались бы под вышесказанным афоризмом.

Их было три. Каждому из них была вменена почетная обязанность по очереди председательствовать на собраниях; но это председательствование они понимали как право и обязанность «вести» собрание. И притом чрезвычайно торжественно. Где везде было принято скороговоркою произносить: «Так никто не желает больше высказаться? В таком случае собрание объявляется закрытым…» – там у них председатель торжественнейшим голосом громогласно объявлял: «Объявляю собрание закрытым».

А высказываться многим не позволял. Было, например, правило, воспрещающее «говорить без придаточных». То есть, высказывать свое суждение по поводу прочитанных стихов без мотивировки этого суждения.

Все члены Цеха должны были «работать» над своими стихами согласно указаниям собрания, то есть, фактически – двух синдиков. Третий же был отнюдь не поэт: юрист, историк и только муж поэтессы. Я говорю о Д. В. Кузьмине-Караваеве. Первые два были, конечно, Городецкий и Гумилев.

Синдики пользовались к тому же прерогативами и были чем-то вроде «табу». Когда председательствовал один из них, другой отнюдь не был равноправным с прочими членом собрания. Делалось замечание, когда кто-нибудь «поддевал» своей речью говорившего перед ним синдика № 2. Ни на минуту не забывали о своих чинах и титулах [21; 107–108].

Георгий Владимирович Иванов:

Официально Гумилев и Городецкий были равноправными хозяевами «Цеха» – синдиками. Они председательствовали поочередно и оба имели высокое преимущество сидеть в глубоких креслах во время заседания. Остальным – в том числе и Кузмину, и Блоку – полагались простые венские стулья.

Обычно Городецкий во всем поддерживал Гумилева, но изредка, вероятно для формы, вступал с ним в спор. Гумилев говорил: «Прекрасно». Городецкий возражал: «Позорно».

Разумеется, Гумилев неизменно торжествовал. Вообще он очень любил спорить, но почти никогда не оказывался побежденным. С собеседниками, столь робкими, как его тогдашние ученики, это было нетрудно. Но и с серьезным противником он почти всегда находил средство сказать последнее слово, даже если был явно неправ.

Отношения между синдиками и членами «Цеха» были вроде отношений молодых офицеров с командиром полка. «В строю», т. е. во время заседания, дисциплина была строжайшая. Естественно, что «мэтры» и считавшие себя таковыми вскоре пообижались по разным поводам и «Цех» посещать перестали. Осталась зеленая молодежь. Наиболее «верные» впоследствии образовали группу акмеистов [9; 464].

Владимир Алексеевич Пяст:

За исключением этих забавных особенностей, в общем был Цех благодарной для работы средой, – именно тою «рабочей комнатой», которую провозглашал в конце своей статьи «Они» покойный И. Ф. Анненский. Я лично посетил только первые два-

три собрания Цеха, а потом из него «вышел», – снова войдя лишь через несколько лет, к минутам «распада», – и с удовольствием проведя время за писанием уже шуточных конкурсных стихотворений тут же на месте. Помню, был задан сонет на тему «Цех ест Академию» в виде акростиха. < … >

В обычаях Цеха было хорошее угощение после делового собрания [21; 108–109].

Георгий Владимирович Иванов:

После заседания – весело ужинали. И опять, как в полковом собрании, командир Гумилев пил с «молодежью» «на ты», шутил, рассказывал анекдоты, был радушным и любезным хозяином, но «субординация» никогда не забывалась [9; 464].

Владимир Алексеевич Пяст:

Собрания Цеха по очереди происходили на квартирах Городецкого, жены Кузьмина-Караваева и Лозинского в Петербурге и у Гумилева в Царском Селе [21; 109].

Георгий Викторович Адамович:

Собрание «Цеха» происходило раз в месяц или немного чаще. Каждый участник читал новые стихи, после чего стихи эти обсуждались. Первым неизменно говорил Гумилев и давал обстоятельный, поистине удивительный в своей принципиальности и меткости формальный разбор прочитанного. Подчеркиваю, разбор только формальный. Мне приходилось несколько раз слышать критические разборы Вячеслава Иванова. Бесспорно, он взлетал выше, углублялся дальше. Но такой безошибочной, чисто формальной зоркости, как у Гумилева, не было ни у кого. Он сразу видел промахи, сразу оценивал удачи. Ахматова больше молчала. Оживлялась она лишь тогда, когда стихи читал Мандельштам. Как, впрочем, и сам Мандельштам оживлялся, когда очередь чтения доходила до Ахматовой [9; 514].

Всеволод Александрович Рождественский:

История «Цеха поэтов» делится на два периода. Первый из них относится к 1910–1914 гг. Тогда в эту группу входили: основоположники ее Ник. Гумилев и Сергей Городецкий, несколько позднее выступившие с программными статьями нового литературного течения, Осип Мандельштам, Анна Ахматова, Михаил Лозинский, Мих. Зенкевич, Георгий Иванов и Георгий Адамович. Акмеисты занимали прочные позиции в журнале «Аполлон», сами, помимо индивидуальных книг,

выпускали периодические коллективные сборники в виде тонких тетрадей под маркою «Гиперборей».

«Цех» работал довольно интенсивно и оказал несомненное влияние на все развитие предреволюционной поэзии, хотя одновременно с ним существовали и другие поэтические школы, не говоря уже об эпигонах символизма. Первая империалистическая война прекратила существование «Цеха». И только в первые годы после Октября он возродился по инициативе Гумилева, но уже в несколько ином составе [20; 419–420].

Николай Корнеевич Чуковский:

Восстановленный «Цех поэтов» был как бы штабом Гумилева. В него входили только самые близкие, самые проверенные. «Цех» был восстановлен в восемнадцатом году и вначале – на самой узкой основе. Из дореволюционных акмеистов в него не входили ни Ахматова, ни Зенкевич, ни Городецкий, ни Мандельштам. (Из этих четверых одна только Ахматова в то время находилась в Петрограде.) Первоначально членами «Нового цеха» были только Гумилев, Георгий Иванов, Георгий Адамович, Николай Оцуп и Всеволод Рождественский. Потом была принята Ирина Одоевцева – взамен изгнанного Всеволода Рождественского. К началу 21-го года членами «Цеха» стали С. Нельдихен и Конст. Вагинов. Но настоящим штабом был не весь «Цех», а только четверо: Гумилев, Иванов, Адамович и Одоевцева [29; 32].

Всеволод Александрович Рождественский:

Участники прежнего «Цеха» именовались «мастерами», а глава его «синдиком». Эти названия придумал Н. С. Гумилев по образцу средневековых артелей каменщиков, воздвигавших готические соборы. Он, как признанный глава, синдик, ввел в обиход строгую цеховую дисциплину. Собирались регулярно в определенный день недели, новые стихи разбирались детально «с точностью до единой строчки, единого слова», нельзя ничего было печатать или читать на публичных выступлениях без общего одобрения. В ряде случаев требовалась обязательная доработка. Композиция отдельных сборников составлялась коллективно. Переговоры с издательствами велись тем же порядком. Обязательными были крепкое дружество и взаимная поддержка. Дело доходило чуть ли не до масонских знаков при встречах, не говоря уже о том, что и критические наскоки отражались сомкнутым строем.

Гумилев был, несомненно, прекрасным организатором и уверенной рукой вел всю работу «Цеха». Его воле и авторитету

подчинялись охотно. Мнения его всегда были весомы и обоснованны. Но все это относилось только к формальной стороне дела. Синдик не стеснял тематической свободы каждого из участников. Более того, он старался всех их поддержать в развитии той или иной близкой темы, опытным педагогическим чутьем угадывая индивидуальные пристрастия. Так, Георгий Иванов с антикварной точностью воссоздавал мир аксессуаров прошлого века, рисовал пейзажи, заимствованные из произведений классической западноевропейской живописи («Матросы пристаней Лоррэна, вы собеседники мои»), Георгий Адамович представлял собой лирику неврастенической разочарованности, Ирина Одоевцева специализировалась на писании бойких иронических баллад в духе английской «Озерной школы», но с современным бытовым содержанием, Сергею Нельдихену была отведена область лирических сентенций, которые произносились автором в несколько высокопарном «библейском стиле», Константину Вагинову надлежало развивать мотивы античной поэзии александрийского периода, но также с приближением к современности в духе «трагического крушения прежней культуры», мне же на долю достались мотивы русского деревенского пейзажа и вообще провинциального быта в духе живописи Б. М. Кустодиева.

Разумеется, такое распределение тематики было чисто условным и никак не отменяло, не стесняло собственной лирики и могло считаться только дисциплинирующим учебным приемом, да и сам Гумилев к этому времени нередко отступал от привычных ему экзотических тем [20; 420].

Николай Корнеевич Чуковский:

Оставшись без Гумилева, члены «Цеха поэтов» в течение нескольких ближайших месяцев энергично продолжали начатую при нем деятельность. Они издали второй выпуск альманаха «Цех поэтов», включив в него в траурной рамке два предсмертных стихотворения Гумилева, выпустили посмертно стихи Гумилева отдельным сборником, выпустили сборник стихотворений Георгия Адамовича «Чистилище» с посвящением «Памяти Андре Шенье». Но потом они, вероятно, решили, что продолжение их деятельности небезопасно, и в первой половине 1922 года Георгий Иванов, Георгий Адамович, Ирина Одоевцева и Николай Оцуп уехали за границу [29; 45–46].

«Африканский поход» 1913 года

Николай Степанович Гумилев. *Из «Африканского дневника»:*

Однажды в декабре 1912 года я находился в одном из тех прелестных заставленных книгами уголков Петербургского университета, где студенты, магистранты, а иногда и профессора пьют чай, слегка подтрунивая над специальностью друг друга. Я ждал известного египтолога, которому принес в подарок вывезенный мной из предыдущей поездки абиссинский складень: Деву Марию с младенцем на одной половине и святого с отрубленной ногой на другой. В этом маленьком собранье мой складень имел посредственный успех; классик говорил о его антихудожественности, исследователь Ренессанса о европейском влиянии, обесценивающем его, этнограф о преимуществе искусства сибирских инородцев. Гораздо больше интересовались моим путешествием, задавая обычные в таких случаях вопросы: много ли там львов, очень ли опасны гиены, как поступают путешественники в случае нападения абиссинцев. И как я ни уверял, что львов надо искать неделями, что гиены трусливее зайцев, что абиссинцы страшные законники и никогда ни на кого не нападают, я видел, что мне почти не верят. Разрушать легенды оказалось труднее, чем их создавать.

В конце разговора профессор Ж. спросил, был ли я с рассказом о моем путешествии в Академии наук. Я сразу представил себе это громадное белое здание с внутренними дворами, лестницами, переулками, целую крепость, охраняющую официальную науку от внешнего мира; служителей с галунами, допытывающихся, кого именно я хочу видеть; и наконец, холодное лицо дежурного секретаря, объявляющего мне, что Академия не интересуется частными работами, что у Академии есть свои исследователи и тому подобные обескураживающие фразы. Кроме того, как литератор, я привык смотреть на академиков как на своих исконных врагов. Часть этих соображений, конечно в смягченной форме, я и высказал профессору Ж. Однако не прошло и получаса, как с рекомендательным письмом в руках я оказался на витой каменной лестнице перед дверью в приемную одного из вершителей академических судеб.

С тех пор прошло пять месяцев. За это время я много бывал и на внутренних лестницах, и в просторных, заставленных еще не разобранными коллекциями кабинетах, на чердаках и в подвалах музеев этого большого белого здания над Невой. Я встречал ученых, точно только что соскочивших со страниц

романа Жюля Верна, и таких, что с восторженным блеском глаз говорят о тлях и кокцидиях, и таких, чья мечта добыть шкуру красной дикой собаки, водящейся в Центральной Африке, и таких, что, подобно Бодлеру, готовы поверить в подлинную божественность маленьких идолов из дерева и слоновой кости. И почти везде прием, оказанный мне, поражал своей простотой и сердечностью. Принцы официальной науки оказались, как настоящие принцы, доброжелательными и благосклонными.

У меня есть мечта, живучая при всей трудности ее выполнения. Пройти с юга на север Данакильскую пустыню, лежащую между Абиссинией и Красным морем, исследовать нижнее течение р. Гаваш, узнать рассеянные там неизвестные загадочные племена. Номинально они находятся под властью абиссинского правительства, фактически свободны. И так как все они принадлежат к одному племени данакилей, довольно способному, хотя очень свирепому, их можно объединить и, найдя выход к морю, цивилизовать или, по крайней мере, арабизировать. В семье народов прибавится еще один сочлен. А выход к морю есть. Это Регейта, маленький независимый султанат, к северу от Обока. Один русский искатель приключений – в России их не меньше, чем где бы то ни было, – совсем было приобрел его для русского правительства. Но наше министерство иностранных дел ему отказало.

Этот мой маршрут не был принят Академией. Он стоил слишком дорого. Я примирился с отказом и представил другой маршрут, принятый после некоторых обсуждений Музеем антропологии и этнографии при Императорской Академии наук.

Я должен был отправиться в порт Джибути в Баб-эль-Мандебском проливе, оттуда по железной дороге к Харрару, потом, составив караван, на юг, в область, лежащую между Сомалийским полуостровом и озерами Рудольфа, Маргариты, Звай; захватить возможно больший район исследования; делать снимки, собирать этнографические коллекции, записывать песни и легенды. Кроме того, мне предоставлялось право собирать зоологические коллекции. Я просил разрешения взять с собой помощника, и мой выбор остановился на моем родственнике Н. Л. Сверчкове, молодом человеке, любящем охоту и естественные науки. Он отличался настолько покладистым характером, что уже из-за одного желания сохранить мир пошел бы на всевозможные лишения и опасности [6; 293–294].

Анна Андреевна Гумилева:

Насколько я помню, Коля поехал на свои средства. Анна Ивановна дала ему крупную сумму из своего капитала, это я

наверное знаю. Но так как Академия наук тоже заинтересовалась его путешествием, то обещала купить у него те редкие экземпляры, которые он брался привезти [9; 426].

Николай Степанович Гумилев. *Из «Африканского дневника»:*

Приготовления к путешествию заняли месяц упорного труда. Надо было достать: палатку, ружья, седла, вьюки, удостоверенья, рекомендательные письма и пр., и пр.

Я так измучился, что накануне отъезда весь день лежал в жару. Право, приготовления к путешествию труднее самого путешествия [6; 294].

Георгий Владимирович Иванов:

Последняя его экспедиция (за год перед войной) была широко обставлена на средства Академии Наук. Я помню, как Гумилев уезжал в эту поездку. Все было готово, багаж отправлен вперед, пароходные и железнодорожные билеты давно заказаны. За день до отъезда Гумилев заболел – сильная головная боль, 40° температура. Позвали доктора, тот сказал, что, вероятно, тиф. Всю ночь Гумилев бредил. Утром на другой день я навестил его. Жар был так же силен, сознание не вполне ясно: вдруг, перебивая разговор, он заговаривал о каких-то белых кроликах, которые умеют читать, обрывал на полуслове, опять начинал говорить разумно и вновь обрывал.

Когда я прощался, он не подал мне руки: «Еще заразишься» и прибавил: «Ну, прощай, будь здоров, я ведь сегодня непременно уеду».

На другой день я вновь пришел его навестить, так как не сомневался, что фраза об отъезде была тем же, что читающие кролики, т. е. бредом. Меня встретила заплаканная Ахматова: «Коля уехал».

За два часа до отхода поезда Гумилев потребовал воды для бритья и платье. Его пытались успокоить, но не удалось. Он сам побрился, сам уложил то, что осталось неуложенным, выпил стакан чаю с коньяком и уехал [9; 465].

Николай Степанович Гумилев. *Из «Африканского дневника»:*

10 апреля на пароходе Добровольного Флота «Тамбов» мы вышли в море. Какие-нибудь две недели тому назад бушующее и опасное Черное море было спокойно, как какое-нибудь озеро. Волны мягко раздавались под напором парохода, где рылся, пульсируя, как сердце работающего человека, невидимый винт. Не было видно пены, и только убегала бледно-зеленая малахитовая полоса потревоженной воды. Дельфины дружными

стаями мчались за пароходом, то обгоняя его, то отставая, и по временам, как бы в безудержном припадке веселья, подскакивали, показывая лоснящиеся мокрые спины. Наступила ночь, первая на море, священная. Горели давно не виданные звезды, вода бурлила слышнее. Неужели есть люди, которые никогда не видели моря?

12-го утром – Константинополь. Опять эта никогда не приедающаяся, хотя откровенно декоративная красота Босфора, заливы, лодки с белыми латинскими парусами, с которых веселые турки скалят зубы, дома, лепящиеся по прибрежным склонам, окруженные кипарисами и цветущей сиренью, зубцы и башни старинных крепостей и солнце, особенное солнце Константинополя, светлое и жгучее. < … >

В Константинополе к нам присоединился еще пассажир, турецкий консул, только что назначенный в Харрар. Мы подолгу с ним беседовали о турецкой литературе, об абиссинских обычаях, но чаще всего о внешней политике. Он был очень неопытный дипломат и большой мечтатель. Мы с ним уговорились предложить турецкому правительству послать инструкторов на Сомалийский полуостров, чтобы устроить иррегулярное войско из тамошних мусульман. Оно могло бы служить для усмирения вечно бунтующих арабов Йемена, тем более что турки почти не переносят аравийской жары.

Два, три других плана в том же роде, и мы в Порт-Саиде. Там нас ждало разочарование. Оказалось, что в Константинополе была холера, и нам запрещено было иметь сношение с городом. Арабы привезли нам провизии, которую передали, не поднимаясь на борт, и мы вошли в Суэцкий канал.

Не всякий может полюбить Суэцкий канал, но тот, кто полюбит его, полюбит надолго. Эта узкая полоска неподвижной воды имеет совсем особенную грустную прелесть.

На африканском берегу, где разбросаны домики европейцев, заросли искривленных мимоз с подозрительно темной, словно после пожара, зеленью, низкорослые толстые банановые пальмы, на азиатском берегу волны песка пепельно-рыжего, раскаленного. Медленно проходит цепь верблюдов, позванивая колокольчиками. Изредка показывается какой-нибудь зверь, собака, может быть, гиена или шакал смотрит с сомнением и убегает. Большие белые птицы кружат над водой или садятся отдыхать на камни. Кое-где полуголые арабы, дервиши или так, бедняки, которым не нашлось места в городах, сидят у самой воды и смотрят в нее, не отрываясь, будто колдуя. Впереди и позади нас движутся другие пароходы. Ночью, когда загораются прожекторы, это имеет вид похоронной процессии. Часто приходится останавливаться,

чтобы пропустить встречное судно, проходящее медленно и молчаливо, словно озабоченный человек. Эти тихие часы на Суэцком канале усмиряют и убаюкивают душу, чтобы потом ее застала врасплох буйная прелесть Красного моря.

Самое жаркое из всех морей, оно представляет картину грозную и прекрасную. Вода как зеркало отражает почти отвесные лучи солнца, точно сверху и снизу расплавленное серебро. Рябит в глазах, и кружится голова. Здесь часты миражи, и я видел у берега несколько обманутых ими и разбившихся кораблей. Острова, крутые утесы, разбросанные там и сям, похожи на еще неведомых африканских чудовищ. Особенно один совсем лев, приготовившийся к прыжку, кажется, что видишь гриву и вытянутую морду. Эти острова необитаемы из-за отсутствия источников для питья. Подойдя к борту, можно видеть и воду, бледно-синюю, как глаза убийцы. Оттуда временами выскакивают, пугая неожиданностью, странные летучие рыбы. Ночь еще более чудесна и зловеща. Южный Крест как-то боком висит на небе, которое, словно пораженное дивной болезнью, покрыто золотистой сыпью других бесчисленных звезд. На западе вспыхивают зарницы: это далеко в Африке тропические грозы сжигают леса и уничтожают целые деревни. В пене, оставляемой пароходом, мелькают беловатые искры – это морское свечение. Дневная жара спала, но в воздухе осталась неприятная сырая духота. Можно выйти на палубу и забыться беспокойным, полным причудливых кошмаров сном.

Мы бросили якорь перед Джиддой, <…> куда нас не пустили, так как там была чума. Я не знаю ничего красивее ярко-зеленых мелей Джидды, окаймленных чуть розовой пеной. Не в честь ли их и хаджи мусульмане, бывшие в Мекке, носят зеленые чалмы?

Пока агент компании приготовлял разные бумаги, старший помощник капитана решил заняться ловлей акулы. Громадный крюк с десятью фунтами гнилого мяса, привязанный к крепкому канату, служил удочкой, поплавок изображало бревно. Три с лишним часа длилось напряженное ожидание.

То акул совсем не было видно, то они проплывали так далеко, что их лоцманы не могли заметить приманки.

Акула крайне близорука, и ее всегда сопровождают две хорошенькие небольшие рыбки, которые и наводят ее на добычу. Наконец, в воде появилась темная тень сажени в полторы длиною, и поплавок, завертевшись несколько раз, нырнул в воду. Мы дернули за веревку, но вытащили лишь крючок. Акула только кусала приманку, но не проглотила ее. Теперь, видимо, огорченная исчезновением аппетитно пахнущего мяса, она

плавала кругами почти на поверхности и всплескивала хвостом по воде. Сконфуженные лоцманы носились туда и сюда. Мы поспешили забросить крюк обратно. Акула бросилась к нему, уже не стесняясь. Канат сразу натянулся, угрожая лопнуть, потом ослаб, и над водой показалась круглая лоснящаяся голова с маленькими злыми глазами. Десять матросов с усилиями тащили канат. Акула бешено вертелась, и слышно было, как она ударяла хвостом о борт корабля. Помощник капитана, перегнувшись через борт, разом выпустил в нее пять пуль из револьвера. Она вздрогнула и немного стихла. Пять черных дыр показалось на ее голове и беловатых губах. Еще усилие – и ее подтянули к самому борту. Кто-то тронул ее за голову, и она щелкнула зубами. Видно было, что она еще совсем свежа и собирается с силами для решительной битвы. Тогда, привязав нож к длинной палке, помощник капитана сильным и ловким ударом вонзил его ей в грудь и, натужившись, довел разрез до хвоста. Полилась вода, смешанная с кровью, розовая селезенка аршина в два величиною, губчатая печень и кишки вывалились и закачались в воде, как странной формы медузы. Акула сразу сделалась легче, и ее без труда вытащили на палубу. Корабельный кок, вооружившись топором, стал рубить ей голову. Кто-то вытащил сердце и бросил его на пол. Оно пульсировало, двигаясь то туда, то сюда лягушачьими прыжками. В воздухе стоял запах крови.

А в воде у самого борта суетился осиротелый лоцман. Его товарищ исчез, очевидно, мечтая скрыть где-нибудь в отдаленных бухтах позор невольного предательства. А этот, верный до конца, подскакивал из воды, как бы желая взглянуть, что там делают с его госпожой, кружился вокруг плавающих внутренностей, к которым уже приближались другие акулы с весьма недвусмысленными намерениями, и высказывал свое безутешное отчаяние.

Акуле отрубили челюсти, чтобы вырвать зубы, остальное выбросили в море. Закат в этот вечер над зелеными мелями Джидды был широкий и ярко-желтый с алым пятном солнца посередине. Потом он стал нежно-палевым, потом зеленоватым, точно море отразилось в небе. Мы подняли якорь и пошли прямо на Южный Крест. Вечером мне принесли доставшиеся на мою долю три белых и зубчатых зуба акулы. Через четыре дня, миновав неприветливый Баб-эль-Мандебский пролив, мы остановились в Джибути. <…>

Мы съехали с парохода на берег в моторной лодке. Это нововведение. Прежде для этого служили весельные ялики, на которых гребли голые сомалийцы, ссорясь, дурачась

и по временам прыгая в воду, как лягушки. На плоском берегу белели разбросанные там и сям дома. На скале возвышался губернаторский дворец посреди сада кокосовых и банановых пальм. Мы оставили вещи в таможне и пешком дошли до отеля. Там мы узнали, что поезд, с которым мы должны были отправиться в глубь страны, отходит по вторникам и субботам. Нам предстояло пробыть в Джибути три дня.

Я не очень огорчился подобной проволочке, так как люблю этот городок, его мирную и ясную жизнь. От двенадцати до четырех часов пополудни улицы кажутся вымершими, все двери закрыты, изредка, как сонная муха, проплетется какой-нибудь сомалиец. В эти часы принято спать так же, как у нас ночью. Но затем неведомо откуда появляются экипажи, даже автомобили, управляемые арабами в пестрых чалмах, белые шлемы европейцев, даже светлые костюмы спешащих с визитом дам. Террасы обоих кафе полны народом. <…> Потом все идут на прогулку. Улицы полны мягким предвечерним сумраком, в котором четко вырисовываются дома, построенные в арабском стиле, с плоскими крышами и зубцами, с круглыми бойницами и дверьми в форме замочных скважин, с террасами, аркадами и прочими затеями – все в ослепительно белой извести. <…>

По утрам ко мне в гостиницу приходили сомалийцы племени исса, и я записывал их песни. От них же я узнал, что это племя имеет своего короля <…> Гуссейна, который живет в деревне Харауа, в трехстах километрах к юго-западу от Джибути; что оно находится в постоянной вражде с живущими на север от них данакилями и, увы, всегда побеждаемо последними; что Джибути (по-сомалийски Хападу) построено на месте ненаселенного прежде оазиса и что в нескольких днях пути от него есть еще люди, поклоняющиеся камням; большинство все же правоверные мусульмане. Европейцы, хорошо знающие страну, рассказали мне еще, что это племя считается одним из самых свирепых и лукавых во всей Восточной Африке. Они нападают обыкновенно ночью и вырезают всех без исключения. Проводникам этого племени доверяться нельзя [6; 293–296].

Николай Степанович Гумилев. *Из письма А. А. Ахматовой. Джибути, апрель 1913 г.:*

Мое нездоровье прошло совершенно, силы растут с каждым днем. Вчера я написал стихотворение, посылаю его тебе. Напиши в Дире-Дауа, что ты о нем думаешь. На пароходе попробовал однажды писать в стиле Гилей, но не смог. Это подняло мое уважение к ней. Мой дневник идет успешно, и я пишу его так, чтобы прямо можно было печатать. В Джидде с парохода мы

поймали акулу; это было действительно зрелище. Оно заняло две страницы дневника [6; 296].

Николай Степанович Гумилев. *Из «Африканского дневника»:*

Три дня прошли. На четвертый, когда было еще темно, слуга-араб со свечой обошел комнаты отеля, будя уезжающих в Дире-Дауа. Еще сонные, но довольные утренним холодком, таким приятным после слепящей жары полудней, мы отправились на вокзал. Наши вещи заранее свезли туда в ручной тележке. Проезд во втором классе, где обыкновенно ездят все европейцы, третий класс предназначен исключительно для туземцев, а в первом, который вдвое дороже и нисколько не лучше второго, обыкновенно ездят только члены дипломатических миссий и немногие немецкие снобы, стоил 62 франка с человека, несколько дорого за десять часов пути, но таковы все колониальные железные дороги. Паровозы носят громкие, но далеко не оправдываемые названия: «Слон», «Буйвол», «Сильный» и т. д. Уже в нескольких километрах от Джибути, когда начался подъем, мы двигались с быстротой одного метра в минуту, и два негра шли впереди, посыпая песком мокрые от дождя рельсы.

Вид из окна был унылый, но не лишенный величественности. Пустыня коричневая и грубая, выветрившаяся, все в трещинах и провалах горы и, так как был сезон дождей, мутные потоки и целые озера грязной воды. Из куста выбегает диг-диш, маленькая абиссинская газель, пара шакалов, они всегда ходят парами, смотрят с любопытством. Сомалийцы и данакили с громадной всклокоченной шевелюрой стоят, опираясь на копья. Европейцами исследована лишь небольшая часть страны, именно та, по которой проходит железная дорога, что справа и слева от нее – тайна. На маленьких станциях голые черные ребятишки протягивали к нам ручонки и заунывно, как какую-нибудь песню, тянули самое популярное на всем Востоке слово: бакшиш (подарок).

В два часа дня мы прибыли на станцию Айша в 160 км от Джибути, то есть на половине дороги. Там буфетчик-грек приготовляет очень недурные завтраки для проезжающих. Этот грек оказался патриотом и нас, как русских, принял с распростертыми объятиями, отвел нам лучшие места, сам прислуживал, но, увы, из того же патриотизма отнесся крайне неласково к нашему другу турецкому консулу. Мне пришлось отвести его в сторону и сделать надлежащее внушение, что было очень трудно, так как он, кроме греческого, говорил только немного по-арабски.

После завтрака нам было объявлено, что поезд дальше не пойдет, так как дождями размыло путь и рельсы висят на воздухе. Кто-то вздумал сердиться, но разве это могло помочь. Остаток дня прошел в томительном ожидании, только грек не скрывал своей радости – у него не только завтракали, у него и обедали. Ночью всяк разместился как мог. Мой спутник остался спать в вагоне, я неосторожно принял предложение кондукторов-французов лечь в их помещении, где была свободная кровать, и до полуночи должен был выслушивать их казарменно-нелепую болтовню. Утром выяснилось, что путь не только не исправлен, но что надо по меньшей мере восемь дней, чтобы иметь возможность двинуться дальше, и что желающие могут вернуться в Джибути. Пожелали все, за исключением турецкого консула и нас двоих. Мы остались, потому что на станции Айша жизнь стоила много дешевле, чем в городе. Турецкий консул, я думаю, только из чувства товарищества; кроме того, у нас троих была смутная надежда каким-нибудь образом добраться до Дире-Дауа раньше чем в восемь дней. Днем мы пошли на прогулку; перешли невысокий холм, покрытый мелкими острыми камнями, навсегда погубившими нашу обувь, погнались за большой колючей ящерицей, которую наконец поймали, и незаметно отдалились километра на три от станции. Солнце клонилось к закату; мы уже повернули назад, как вдруг увидели двух станционных солдат-абиссинцев, которые бежали к нам, размахивая оружием. «Мындерну?» («в чем дело?») – спросил я, увидев их встревоженные лица. Они объяснили, что сомалийцы в этой местности очень опасны, бросают из засады копья в проходящих, частью из озорства, частью потому, что, по их обычаю, жениться может только убивший человека. Но на вооруженного они никогда не нападают. После мне подтвердили справедливость этих рассказов, и я сам видел в Дире-Дауа детей, которые подбрасывали на воздух браслет и пронзали его на лету ловко брошенным копьем. Мы вернулись на станцию, конвоируемые абиссинцами, подозрительно оглядывающими каждый куст, каждую кучу камней.

На другой день из Джибути прибыл поезд с инженерами и чернорабочими для починки пути. С ним же приехал и курьер, везущий почту для Абиссинии.

К этому времени уже выяснилось, что путь испорчен на протяжении восьмидесяти километров, но что можно попробовать проехать их на дрезине. После долгих препирательств с главным инженером мы достали две дрезины: одну для нас, другую для багажа. С нами поместились ашкеры (абиссинские солдаты), предназначенные нас охранять, и курьер.

Пятнадцать рослых сомалийцев, ритмически выкрикивая «ейдехе, ейдехе» – род русской «Дубинушки», не политической, а рабочей, – взялись за ручки дрезины, и мы отправились. <…>

Как быть путешественнику, добросовестно заносящему в дневник свои впечатления? Как признаться ему при въезде в новый город, что первое привлекает его внимание? Это чистые постели с белыми простынями, завтрак за столом, покрытым скатертью, книги и возможность сладкого отдыха.

Я далек от того, чтобы отрицать отчасти пресловутую прелесть «пригорков и ручейков». Закат солнца в пустыне, переправа через разлившиеся реки, сны ночью, проведенной под пальмами, навсегда останутся одними из самых волнующих и прекрасных мгновений моей жизни. Но когда культурная повседневность, уже успевшая для путника стать сказкой, мгновенно превращается в реальность, – пусть смеются надо мной городские любители природы – это тоже прекрасно. И я с благодарностью вспоминаю ту гекко, маленькую, совершенно прозрачную ящерицу, бегающую по стенам комнат, которая, пока мы завтракали, ловила над нами комаров и временами поворачивала к нам свою безобразную, но уморительную мордочку.

Надо было составлять караван. Я решил взять слуг в Дире-Дауа, а мулов купить в Харраре, где они много дешевле. Слуги нашлись очень быстро. Хайле, негр из племени шангалей, скверно, но бойко говорящий по-французски, был взят как переводчик, харрарит Абдулайе, знающий лишь несколько французских слов, но зато имеющий своего мула, как начальник каравана, и пара быстроногих черномазых бродяг, как ашкеры. Потом наняли на завтра верховых мулов и со спокойным сердцем отправились бродить по городу. <…>

В туземной части города можно бродить целый день, не соскучась. В двух больших лавках, принадлежащих богатым индусам, Джиоваджи и Мохаметали, шелковые шитые золотом одежды, кривые сабли в красных сафьяновых ножнах, кинжалы с серебряной чеканкой и всевозможные восточные украшения, так ласкающие глаза. Их продают важные толстые индусы в ослепительно белых рубашках под халатами и в шелковых шапочках блином. Пробегают йеменские арабы, тоже торговцы, но главным образом комиссионеры. Сомалийцы, искусные в различного рода рукодельях, тут же на земле плетут циновки, приготовляют по мерке сандалии. Проходя перед хижинами галассов, слышишь запах ладана, их любимого куренья. Перед домом данакильского нагадраса (собственно говоря, начальника купцов, но в действительности – просто важного начальника)

висят хвосты слонов, убитых его ашкерами. Прежде висели и клыки, но с тех пор, как абиссинцы завоевали страну, бедным данакилям приходится довольствоваться одними хвостами. Абиссинцы с ружьями за плечами ходят без дела с независимым видом. Они завоеватели, им работать неприлично. И сейчас же за городом начинаются горы, где стада павианов обгрызают молочаи и летают птицы с громадными красными носами. <…>

Днем прошел ливень, настолько сильный, что ветром снесло крышу с одного греческого отеля, правда не особенно прочной постройки. Под вечер мы вышли пройтись и, конечно, посмотреть, что стало с рекой. Ее нельзя было узнать, она клокотала, как мельничный омут. Особенно перед нами один рукав, огибавший маленький островок, неистовствовал необычайно. Громадные валы совершенно черной воды, и даже не воды, а земли и песка, поднятого со дна, летели, перекатываясь друг через друга, и, ударяясь о выступ берега, шли назад, поднимались столбом и ревели. В тот тихий матовый вечер это было зрелище страшное, но прекрасное. На островке прямо перед нами стояло большое дерево. Волны с каждым ударом обнажали его корни, обдавая его брызгами пены. Дерево вздрагивало всеми ветвями, но держалось крепко. Под ним уже почти не оставалось земли, и лишь два-три корня удерживали его на месте. Между зрителями даже составлялись пари: устоит оно или не устоит. Но вот, другое дерево, вырванное где-то в горах потоком, налетело и как тараном ударило его. Образовалась мгновенная запруда, которой было достаточно, чтобы волны всей своей тяжестью обрушились на погибающего. Посреди рева воды слышно было, как лопнул главный корень, и, слегка качнувшись, дерево как-то сразу нырнуло в водоворот всей зеленой метелкой ветвей. Волны бешено подхватили его, и через мгновенье оно было уже далеко. А в то время, как мы следили за гибелью дерева, ниже нас по течению утонул ребенок, и весь вечер мы слышали, как голосила мать. <…>

Наутро мы отправились в Харрар. <…>

Дорога напоминала рай на хороших русских лубках: неестественно зеленая трава, слишком раскидистые ветви деревьев, большие разноцветные птицы и стада коз по откосам гор. Воздух мягкий, прозрачный и словно пронизанный крупинками золота. Сильный и сладкий запах цветов. И только странно дисгармонируют со всем окружающим черные люди, словно грешники, гуляющие в раю, по какой-нибудь еще не созданной легенде.

Мы ехали рысью, и наши ашкеры бежали впереди, еще находя время подурачиться и посмеяться с проходящими женщинами.

Абиссинцы славятся своей быстроногостью, и здесь общее правило, что на большом расстоянии пешеход всегда обгонит конного. Через два часа пути начался подъем: узкая тропинка, иногда переходящая прямо в канавку, вилась почти отвесно, на гору. Большие камни заваливали дорогу, и нам пришлось, слезши с мулов, идти пешком. Это было трудно, но хорошо. Надо взбегать, почти не останавливаясь, и балансировать на острых камнях: так меньше устаешь. Бьется сердце, и захватывает дух: словно идешь на любовное свидание. И за то бываешь вознагражден неожиданным, как поцелуй, свежим запахом горного цветка, внезапно открывшимся видом на нежно затуманенную долину. И, когда, наконец, полузадохшиеся и изнеможенные, мы взошли на последний кряж, нам сверкнула в глаза так давно невиданная вода, словно серебряный щит, горное озеро Адели. Я посмотрел на часы: подъем длился полтора часа. Мы были на Харрарском плоскогорье. Местность резко изменилась. Вместо мимоз зеленели банановые пальмы и изгороди молочаев; вместо дикой травы – старательно возделанные поля дурро[26]. В галасской деревушке мы купили инжиры – род толстых блинов из черного теста, заменяющие в Абиссинии хлеб, и съели ее, окруженные любопытными ребятишками, при малейшем нашем движении бросающимися удирать. Отсюда в Харрар шла прямая дорога, и кое-где на ней были даже мосты, переброшенные через глубокие трещины в земле. Мы проехали второе озеро – Оромайя, вдвое больше первого, застрелили болотную птицу с двумя белыми наростами на голове, пощадили красивого ибиса и через пять часов очутились перед Харрараром.

Уже с горы Харрар представлял величественный вид со своими домами из красного песчаника, высокими европейскими домами и острыми минаретами мечетей. Он окружен стеной, и через ворота не пропускают после заката солнца. Внутри же это совсем Багдад времен Гаруна аль-Рашида. Узкие улицы, которые то поднимаются, то опускаются ступенями, тяжелые деревянные двери, площади, полные галдящим людом в белых одеждах, суд, тут же на площади – все это полно прелести старых сказок. <…>

Вечером мы отправились в театр. Дедъязмач[27] Тафари увидел однажды в Дире-Дауа спектакли заезжей индийской труппы и так восхитился, что решил во что бы то ни стало доставить то же зрелище и своей жене. Индийцы на его счет отправились в Харрар, получили бесплатно помещение и прекрасно обжились. Это был первый театр в Абиссинии, и он имел огромный успех. Мы с трудом нашли два места в первом

ряду; для этого пришлось отсадить на приставные стулья двух почтенных арабов. Театр оказался просто-напросто балаганом: низкая железная крыша, некрашеные стены, земляной пол – все это было, быть может, даже слишком бедно. Пьеса была сложная, какой-то индийский царь в лубочно-пышном костюме увлекается красивой наложницей и пренебрегает не только своей законной супругой и молодым прекрасным сыном, но и делами правления. Наложница, индийская Федра, пытается обольстить принца и в отчаянии от неудачи клевещет на него царю. Принц изгнан, царь проводит все свое время в пьянстве и чувственных наслаждениях. Нападают враги, он не защищается, несмотря на уговоры верных воинов, и ищет спасения в бегстве. В город вступает новый царь. Случайно на охоте он спас от руки разбойников законную жену прежнего царя, последовавшую в изгнание за своим сыном. Он хочет жениться на ней, но, когда та отказывается, говорит, что согласен относиться к ней, как к своей матери. У нового царя есть дочь, ей надо выбрать жениха, и для этого собираются во дворец все окружные принцы. Кто сможет выстрелить из заколдованного лука, тот будет избранником. Изгнанный принц в одежде нищего тоже приходит на состязание. Конечно, только он может натянуть лук, и все в восторге, узнав, что он королевской крови. Царь вместе с рукой своей дочери отдает ему и престол, прежний царь, раскаявшись в своих заблуждениях, возвращается и тоже отказывается от своих прав на царствование.

Единственный режиссерский трюк состоял в том, что, когда опускался занавес, изображавший улицу большого восточного города, перед ним актеры, переодетые горожанами, разыгрывали маленькие забавные сценки, лишь отдаленно относившиеся к общему действию пьесы.

Декорации, увы, были в очень дурном европейском стиле, с претензиями на красивость и реализм. Самое интересное было то, что все роли исполнялись мужчинами. Как ни странно, но это не только не вредило впечатлению, но даже усиливало его. Получалось приятное единообразие голосов и движений, которое так редко встречается в наших театрах. Особенно хорош был актер, игравший наложницу: набеленный, нарумяненный, с красивым цыганским профилем, он выказал столько страсти и кошачьей грации в сцене обольщения короля, что зрители были искренно взволнованы. Особенно разгорелись глаза у переполнявших театр арабов.

Мы вернулись в Дире-Дауа, взяли весь наш багаж и новых ашкеров и через три дня были уже на обратной дороге. Ночевали на половине подъема, и это была наша первая ночь в палатке. Там

уместились только две наши кровати, и между них, как ночной столик, два поставленных один на другой чемодана типа выработанного Грум-Гржимайло. Еще не обгоревший фонарь распространял зловоние. Мы поужинали китой (мука, размешанная в воде и поджаренная на сковородке, обычная здесь еда в пути) и вареным рисом, который мы ели сперва с солью, потом с сахаром. Утром встали в шесть часов и двинулись дальше [6; 297–310].

Николай Степанович Гумилев. *Из письма старшему этнографу Музея антропологии и этнографии Л. Я. Штернбергу. Дире-Дауа, 20 мая 1913 г.:*

Многоуважаемый Лев Яковлевич, как видите по штемпелю, мы уже в Абиссинии. Нельзя сказать, чтобы путешествие началось совсем без приключений. Дождями размыло железную дорогу, и мы ехали 80 км на дрезине, а потом на платформе для перевозки камней. Прибыв в Дире-Дауа, мы тотчас отправились в Харрар покупать мулов, так как здесь они дороги. Купили пока четырех, очень недурных, в среднем по 45 р. за штуку. Потом вернулись в Дире-Дауа за вещами и здесь взяли 4-х слуг, двух абиссинцев и двух галласов, и пятого переводчика, бывшего ученика католической миссии, галласа. Из Харрара я телеграфировал русскому посланнику в Аддис-Абебе, прося достать мне разрешение на проезд, но ответа пока не получил.

Мой маршрут более или менее устанавливается. Я думаю пройти к Бари, оттуда по реке Уаби Сидамо к озеру Зваи и, пройдя по земле Арусси по горному хребту Черчер, вернуться в Дире-Дауа. Таким образом я все время буду в наименее изученной части страны Галла. Благодаря дождям не жарко, всюду есть трава и вода, т. е. все, что нужно для каравана. Правда, реки иногда разливаются, и в Дире-Дауа почти ежедневно есть несчастные случаи с людьми, но с такими мулами, как у меня, опасность сведена до минимума.

Завтра я надеюсь уже выступить, и месяца три Вы не будете иметь от меня вестей. Вернее всего в конце августа я прямо приеду в Музей. Очень прошу Вас в половине июня послать через Лионский кредит в Banc of Abyssinie в Dire-Daua 200 р. Я на них рассчитываю, чтобы расплатиться с ашкерами и возвратиться. Русский вице-консул в Джибути m-r Галеб оказал мне ряд важных услуг: устроил бесплатный пропуск оружия в Джибути и в Абиссинии, скидку на провоз багажа на железной дороге, дал рекомендательные письма [6; 310–311].

Николай Степанович Гумилев. *Из «Африканского дневника»:*

Чтобы путешествовать по Абиссинии, необходимо иметь пропуск от правительства. Я телеграфировал об этом русскому поверенному в делах в Аддис-Абебе и получил ответ, что приказ выдать мне пропуск отправлен начальнику харрарской таможни нагадрасу[28] Бистрати. Но нагадрас объявил, что он ничего не сможет сделать без разрешения своего начальника дедъязмача Тафари. К дедъязмачу следовало идти с подарком. Два дюжих негра, когда мы сидели у дедъязмача, поставили к его ногам купленный мной ящик с вермутом. Сделано это было по совету Калиль Галеба, который нас и представил. Дворец дедъязмача, большой двухэтажный деревянный дом с крашеной верандой, выходящей во внутренний, довольно грязный двор, напоминал не очень хорошую дачу, где-нибудь в Парголове или Териоках. На дворе толкалось десятка два ашкеров, державшихся очень развязно. Мы поднялись по лестнице и после минутного ожидания на веранде вошли в большую устланную коврами комнату, где вся мебель состояла из нескольких стульев и бархатного кресла для дедъязмача. Дедъязмач поднялся нам навстречу и пожал нам руки. Он был одет в шамму, как все абиссинцы, но по точеному лицу, окаймленному черной вьющейся бородой, по большим, полным достоинства газельим глазам и по всей манере держаться в нем сразу можно было угадать принца. И неудивительно: он был сын раса Макконена, двоюродного брата и друга императора Менелика, и вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской. Мы просили его о пропуске, но он, несмотря на подарок, ответил, что без приказания из Аддис-Абебы он ничего сделать не может. К несчастью, мы не могли даже достать удостоверения от нагадраса, что приказ получен, потому что нагадрас отправился искать мула, пропавшего с почтой из Европы по дороге из Дире-Дауа в Харрар.

Тогда мы просили дедъязмача о разрешении сфотографировать его, и на это он тотчас согласился. Через несколько дней мы пришли с фотографическим аппаратом. Ашкеры расстелили ковры прямо на дворе, и мы сняли дедъязмача в его парадной синей одежде. Затем была очередь за принцессой, его женой. Она сестра Лидж Ияссу, наследника престола, и, следовательно, внучка Менелика. Ей двадцать два года, на три года больше, чем ее мужу, и черты ее лица очень приятны, несмотря на некоторую полноту, которая уже испортила ее фигуру. Впрочем, кажется, она находилась в интересном положении. Дедъязмач проявлял к ней самое трогательное внимание. Сам усадил в нужную позу, оправил платье и просил нас снять ее несколько раз, чтобы наверняка иметь успех.

При этом выяснилось, что он говорит по-французски, но только стесняется, не без основания находя, что принцу неприлично делать ошибки. Принцессу мы сняли с ее двумя девочками-служанками.

Мы послали в Аддис-Абебу новую телеграмму и принялись за работу в Харраре. Мой спутник стал собирать насекомых в окрестностях города. Я его сопровождал раза два. Это удивительно умиротворяющее душу занятие: бродить по белым тропинкам между кофейных полей, взбираться на скалы, спускаться к речке и везде находить крошечных красавцев – красных, синих, зеленых и золотых. Мой спутник собирал их в день до полусотни, причем избегал брать одинаковых. Моя работа была совсем иного рода: я собирал этнографические коллекции, без стеснения останавливая прохожих, чтобы посмотреть надетые на них вещи, без спроса входил в дома и пересматривал утварь, терял голову, стараясь добиться сведений о назначении какого-нибудь предмета у не понимающих, к чему все это, харраритов. Надо мной насмехались, когда я покупал старую одежду, одна торговка прокляла, когда я вздумал ее сфотографировать, и некоторые отказывались продать мне то, что я просил, думая, что это нужно мне для колдовства. < … >

Однако всему должен наступить конец. Мы решили, что Харрар изучен, насколько нам позволяли наши силы, и, так как пропуск мог быть получен только дней через восемь, налегке, т. е. только с одним грузовым мулом и тремя ашкерами, отправились в Джиджигу к сомалийскому племени габаризаль [6; 311–320].

Александра Степановна Сверчкова *(урожд. Гумилева), мать Н. Л. Сверчкова:*

Н. С. и в дикой Африке никогда не терял присутствия духа. Так, рассказывал Коля Маленький, понадобилось им найти человека-переводчика, знающего французский язык. Отцы иезуиты прислали несколько молодых людей, но никто из них не пожелал идти в неизведанные места к дикарям. Нашелся один – Фасика, который даже знал несколько слов по-русски. Но вот беда: его не пускала тетка и, в то время когда надо было выступать каравану, прислала людей, чтобы его увести. Начался спор, Фасику тянули вправо, тянули влево, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы вдруг не появился какой-то абиссинец, размахивавший палочкой над головой. Н. С., долго не думая, вырвал у него из рук палочку и замахнулся на него. «Что вы, что вы, – закричал Фасика, – ведь это же судья!» Все кончилось

вполне благополучно, судья, рассмотрев бумаги, разрешил взять переводчика и даже подарил Н. С. свою палочку, знак своего могущества, после чего все отправились к тетке Фасики, где засиделись до заката солнца [22; 236].

Николай Степанович Гумилев. *Из путевого дневника*[29]*:*

1.

Вышли в 12 через Тоамские Ворота.

Остановились у дома нагадраса, по приглашению мальчика-переводчика зашли попрощаться, затем удрал Абдулай, а мы пошли на землю Горикьяна. Переночевали, поужинав курицей и китой в прованском масле, которая чудесна.

2.

Вышли в 11. Утром Коля собрал много насекомых. Дорога прямо на запад, та же, что и в Дире-Дауа. Много трещин в дождливое время рек.

Вначале дорога совсем красная, потом река Амаресса, озеро Оромайя и Адели, оба соленые. Забавное запрещение стрелять птиц. Мул хромает, я шел почти все время пешком. По обе стороны были поля маиса и изгороди молочаев, кое-где посеяна трава.

3.

Вышли в 10, остановились в пять; первую половину на юг, вторую – на запад; в половине пути видели Гара Мулета к северу километров 15 от нас; пробивались сквозь заросли молочаев, рубя их; дорога была завалена колючками, во многих местах местность – дега; рощи древовидных молочаев, редкие поля дурро; остановились у реки Уотер (ручья) подножия горы Голя; убили утку, ночью стреляли по гиенам. Страна называется Мета, начальник кеньязмач[30] Уолде-Мариам Абайнех с 1000 солдатами.

4.

Начинаются леса; мы прошли гору Голя и остановились на горе Уалджира; ссора с герезмачем[31] Кайлю и судья. <…>

7.

Были в гостях у жены герезмача; обед в английской палатке, беседа; русский доктор; дитя и падчерица (из сказок Гримма).

8.

Шли 6 часов на юг; пологий спуск в Апиа; дорога между

цепью невысоких холмов; колючки и мимозы; странные цветы – один словно безумный с откинутыми назад лепестками и тычинками вперед; отбились от каравана; решили идти в город; поднимались под обрывами полтора часа; спящий город; встречный вице-губернатор доводит до каравана и пьет с нами чай, сидя на полу.

Город основан лет тридцать назад абиссинцами, называется Ганами (по-галласски – Утренитб, т. е. Хороший), в нем живет начальник области фитаурари Асфау с 1000 солдатами гарнизона; домов сто. Церковь Святого Михаила; странные камни, с дырами, и один на другом, есть даже три друг на друге, одни напоминают крепостцу с бойницей, другие – сфинкса, третьи – циклопические постройки. Тут же мы видели забавное приспособление для дикобраза (джарта); он ночью приходит есть дурро, и абиссинцы поставили род телеграфной проволоки или веревки консьержа, один конец которой в доме, а на другом повешено деревянное блюдо и пустые тыквы. Ночью дергают за веревку, в поле раздается шум, и джарт убегает. В дне пути к югу есть львы, в двух днях – носороги.

Вышли в 12 часов дня. Большой и нетрудный спуск. Деревни все реже и реже. Начинается барха (пустыня) и кола. Высокие молочаи и мимозы. Дикая кошка, индюки, леопард. Прошли воду, остановились в пустыне в 5 часов. В маленькой деревушке, которую мы прошли, таможня. Чиновники бежали за нами и не хотели принять разрешения, требуя такового от нагадраса Бифати. «Собака не знает господина своего господина». Мы прогнали их. <…>

10.

Вышли в 6 часов. Жара смертельная. Ашкеры бунтуют. Успокаиваю их обещанием кормить их в пустыне. Идем среди колючек. Потеряли дорогу. Ночь без воды и палатки. Боязнь скорпионов.

11.

Вышли в 6 часов. Шли без дороги. Через два часа цистерна с проточной водой. К 11 часам разошлись искать дорогу; все колючки, наконец условный выстрел. Пришли к галласской деревне. Стали просить продать молока, но нам объявили, что его нет. В это время подъехали абиссинцы (два конных, пять слуг – ашкеры Ато Надо, которые просились ехать с нами в Ганами). Они тотчас вошли в деревню, проникли в дома и достали молока. Мы выпили и заплатили. Галласские старухи были очарованы. Абиссинцы не пили, была пятница, они старались для нас и,

отыскивая нас по следам, заехали в эту трущобу. Мы не знали дороги и схватили галласа, чтобы он нас провел. В это время прибежали с пастбища мужчины, страшные, полуголые, угрожающие. Особенно один – прямо человек каменного века. Мы долго ругались с ними, но, наконец, они же, узнав, что мы за все заплатили, пошли нас провожать и на дороге, получив от меня бакшиш, благодарили, и мы расстались друзьями.

Остановились в 4 часа у воды. Вечером история. Накануне у нас пропал бурнус, и по абиссинскому обычаю мои ашкеры должны были платить за него. Они пересмотрели все свои вещи и, наконец, принялись за вещи приставшего к нам по дороге ашкера, отбившегося от своих хозяев нагоди, шангаля. Тот пришел жаловаться к нам и предлагал идти к судье. Ему резонно поставили на вид, что в бархе судей нет, и в то время, как одни его держали, другие вспороли его мешок. Первой вещью там оказался наш бурнус. Вор хотел бежать, его схватили и связали. Пришедшие наши друзья абиссинцы ссудили нам кандалы, и вора заковали. Тогда он объявил, что у него украли 6 талеров. Мне следовало платить, и я объявил, что раскладываю эти деньги на своих ашкеров. Тогда вора обыскали и нашли деньги в его плаще. Это всех возмутило.

12.

Вышли в 6 часов. Часам к 11 покупали масло у начальника деревушки (города). Купили подойник.

В доме живут телята и верблюжата. Потом долго не могли найти воды и шли до 4,5 ч. Всего десять часов. Устали страшно. Купались в цистерне аршин глубиной. Заснули на камнях без палатки, ночью шел дождь и вымочил нас.

13.

Шли 1,5 часа. Потом абиссинцы застрелили антилопу, и мы долго снимали с нее кожу. Прилетели коршуны и кондоры. Мы убили четырех, с двух сняли кожу. Стрелял по вороне. Пули скользят по перьям. Абиссинцы говорят, что это вещая птица. Вечером проявляли. < … >

14.

Абиссинцы потеряли своих мулов и пошли их искать. Мои ашкеры требуют их ждать, так как только они знают дорогу. Я соглашаюсь ждать до 12 часов. В страшную жару выходим. Идем до 5.

Барха похожа на фруктовый сад. Здесь она становится светлее и реже. Остановились у деревни, у входа. Чтобы коровы

не бросались все сразу в ворота и не ломали их, перед ними вырыта большая яма. Мы вошли в деревню из шести только соломенных хижин (женщины и дети носят куски кожи вместо одежды). Посетили школу. Купили ложку и смолы для чернил. Учитель страшный жулик. Учился у сомалей. Дети на каникулах, п<отому> ч<то> падеж скота.

Впервые видел молитву Шейх Нура Укейну.

15.

Наутро профессор получил рубашку, чтобы показать дорогу, но долго хотел убежать, и мы его били. Абиссинцы догнали нас. Шли четыре часа и остановились без воды и палатки.

16.

Спуск к Рамису, который начинается в Мете и в этом месте впадает в Уаби. Мы перешли его вброд и через полчаса красивого пути достигли Уаби, которая разлилась. Кричали и стреляли, чтобы спугнуть крокодилов, потом пустились вплавь. Крокодилы кружились тут же и пугали мулов, которые начали тонуть и нестись по течению. С Коли, мул которого опрокинулся, крокодил сорвал гетру, другого мальчика он схватил за палец. Мокрые, мы вылезли и долго голые сушились на берегу. Потом ловили рыбу. Поймали 14 белых, двух черных с усами. Клев чудный.

Под вечер подъем 2 ч<аса> трудный. Спим в пустыне без палатки.

17.

Вышли в 6, шли до 11 на запад, все барха; встретили гиганта галласа, в Аруссии они все такие. Он за деньги показал воду, продал масло. Мука кончилась. Отдыхали; пили ужасное кислое молоко. В 4 вышли, шли до 6,5; <нрзб> мула. Спим в палатке.

18.

Вышли в 6, шли на запад 2 ч<аса>, потом убили амбарайли (антилопу) и по обыкновению остановились снимать шкуру и есть. Подошли галласы – старик с мальчиком и юноша с ребенком, что должно изображать их ашкеров. Старику дали хребет зверя. Потом искали насекомых, сняли шкуры с двух попугаев.

Фасика писал сказку.

19.

Удалились от каравана, чтобы посетить деревню, там долго

торговались, ничего не купили. По дороге видели свиней, убили маленькую, сняли шкуру; вечером шли опять, всего 5 часов. <…>

21.

Идем по равнине; дичи масса, убили шакала. Остановились после трех часов хода, потому что галласы зарезали двух быков на кладбище и пригласили нас есть. Вечером ходили на охоту: убили громадную птицу, видели оленей. У меня лихорадка и почки. Пить нечего.

22.

Шли 8 часов. Несли гнилую птицу. Остановились перед городом по ту сторону обрыва.

23.

Шли три часа до города; остановились на окраине под двумя молочаями. Пришли два галласа, которые советовали гнать других. Аба Муда прислал провизии. Мы пошли к нему, он принял нас в доме с плоской крышей, где было три комнаты: одна отгороженная кожами, другая глиной. Была навалена утварь. Хотел войти осел. Муда подражает абиссинским вождям и важничает.

Потом после дня ужасной жары пошли смотреть гробницу Шейх Гуссейна. <…> Это огороженное высокой каменной стеной кладбище с каменным домиком привратника из Джиммы снаружи. Сняли обувь, камни кололись. Выбеленные снаружи домики не штукатурены внутри. Лучший дом – круглый гроб Ш. Г. (Шейх Гуссейна. – *Сост.*), потом есть гробница его сына, дочери, шейх Бушера (сын шейха Магомеда), шейх Абдул Кадира и знатных галласов. Вечером писали историю Ш<ейх> Г<уссейна> с хаджи Абдул Меджидом и Кабир Аббасом.

Утром пошли в обрыве смотреть место чудес. Видели пещеру, где он жил, и там беременную женщину, и змею, и святилище. Потом еще две пещеры, во второй дыры, где пролезает только безгрешный; пролез Аба Муда и я.

Потом камень на дне обрыва, где Ш<ейх> Г<уссейн> молился, когда к нему пришел его любимый ученик и слетел с высоты 40 саженей; потом после тяжелого сна фотографировали книгу и город [6; 322–332].

Александра Степановна Сверчкова:

В пути караван Н. С. встретился с двумя абиссинцами, которые шли к Гуссейну, чтобы он помог им отыскать пропавшего

мула. Н. С. заинтересовался и повел караван к жилищу пророка. По дороге туземцы рассказали ему много чудесного: как святой превратил неприятельское войско в камни, как гора перешла вслед за святым со старого места на новое и т. д. <…> Для испытания греховности человека служили два больших камня, между которыми был узкий проход. Надо было раздеться догола и пролезть между камнями. Если кто застревал, он умирал в страшных мучениях, и никто не смел протянуть ему руки, никто не смел подать ему кусок хлеба или чашку воды. В этом месте валялось немало черепов и костей. Как ни отговаривал дядю Коля Маленький, он все-таки рискнул сделать опыт – пролезть между камнями. Коля Маленький говорил, что он боялся за дядю, как никогда в жизни. Это уже не смелость, а какое-то безрассудство! Все кончилось благополучно, и Коля Маленький поспешил увести караван подальше, пока дядюшка не выдумает еще какой-нибудь опыт [22; 236–237].

Николай Степанович Гумилев. *Из путевого дневника:*

25.

Вышли в 11, в три встретили коровий водопой, но не остановились, и потом выяснилось, что воды долго нет, и мы шли до 8 часов, т. е. до дега.

Последний час был подъем в темноте.

С утра ничего не ели, все больны. Путь Ю<го->з<апад>, погода облачная, дождя нет.

26.

Шли четыре часа; зашли в деревню купить молока, осматривали избы. Купили машину для очищения хлопка. <…> Остановились кормить мулов. Искали золото в реке.

27.

Шли 10 часов до Гинира, местность унылая – дега. Остановились за городом; Фасики – друг – начальник рынка; мы обедаем у двух сирийцев дома Галеба.

28.

Отдыхаем, покупаем провизию, вечером я с Фасикой, возвращаясь из города, заблудились. Расспрашивал Уаккине об Уолага. <…>

31.

17/4 июля. Идем шесть часов на запад; к югу горная цепь отделяет нас от Габбы; унылая дега, много шакалов. <…>

32.

Идем четыре часа, потому что Фасика болен; остановились в лощине, едим пару уток.

33.

Идем четыре часа до спуска к Уаби; по дороге ловили крысу; везде абиссинские поселения, базар без деревни; начальник в будке, объявление о беглом рабе; красавицы; женщина с зобом; купили глин<яную> и плетеную вазу из-под масла.

34.

Спуск к Уаби 4 часа; переправа, дождь, хлопоты с мулами; заплатили 4 талера, шли час от воды, ища травы [6; 332–335].

Александра Степановна Сверчкова:

В другой раз подошли к реке Уаби. Вместо моста была устроена переправа таким образом: на одном берегу и на противоположном были два дерева, между ними был протянут канат, на котором висела корзина. В нее могли поместиться три человека и, перебирая канат руками, двигать корзину к берегу. Н. С. очень понравилось такое оригинальное устройство. Заметив, что деревья подгнили или корни расшатались, он начал раскачивать корзину, рискуя ежеминутно упасть в реку, кишащую крокодилами. Действительно, едва они вылезли из корзины, как одно дерево упало и канат оборвался [22; 236].

Николай Степанович Гумилев. *Из путевого дневника:*

35.

Встали в два часа ночи, чтобы выйти из колы до жары. Шли 6 ч[асов] и остановились отдыхать. Потом шли от трех до пяти <…>. Остановились у строящегося абиссинского города. У галласа взамен соли взяли молока.

36.

Идем 5 ч<асов> по дега, деревень мало, дров нет, Днем капал от 1 до 3-х дождь, ночью ливень. В деревне нам приготовили <нрзб>. Фасика убил утку, которую жарил я.

37.

Идем пять часов на северо-восток; убили двух уток; много снимали в деревне; в стороне служанка Ш<ейх> Г<уссейна>.

38.

Шли 5 ч<асов>. На востоке город <нрзб> Кабада; Тичо в горах. Много <нрзб>. Вечером пришел бык и лизал осла. Ибрагим говорит, что хозяин быка умрет; Магомет, что быки любят пот.

39.

Идем шесть часов. Остановились в пустой деревне, жители выселились на время дождей в кола, т<ак> к<ак> слишком много грязи и быки тонут. Уаккине болен; спим в доме.

40.

Сидим на месте, т<ак> к<ак> Уак<кине> болен. Видели галласа-фермера. Ходили за медафьелями (дикими козами), их масса, но они не подпускают. Я ранил одну, и мы два часа бегали за ней. Пошел дождь, мы спрятались в бурнус галласа. Пропал револьвер.

41.

Шли пять часов по дега; много покинутых деревень, в одной переждали дождь, сидя на кровати. 2-х часовой спуск в Война-дега. Уже видно Иту.

42.

Через три часа прелестной дороги с павианами и [нрзб] палатка; из нее выходит белый m-r Rey, мы садимся и решаем ночевать, чтобы завтра вместе пройти таможню – у него кобылы, у меня разрешение. Вечером ему приносят еды от жены Ато Мандафры, едим вместе. Мул кашляет. <…>

49.

Подходим к Монаху.

50.

Сидим у Монаха.

51.

Ушли от Монаха.

52.

Пришли в Лагохардам.

53.

Дорога… (На этом записи обрываются. – *Сост.*) [6; 336–337]

Вадим Васильевич Бронгулеев:

В Петербург и Царское Село молодые люди прибыли лишь во второй половине сентября. Целую неделю, с 26.IX (9.X) по 30.IX (13.X) 1913 года, они сдавали в этнографический музей привезенные ими предметы, но полностью рассчитались с его администрацией лишь к началу 1914 года.

В соответствии с существовавшими правилами, как рассказал позднее известный африканист Д. А. Ольдерогге, Гумилеву пришлось разделить свои сборы на три части, каждая из которых характеризовала определенную народность. В результате заказчику были переданы три коллекции, зарегистрированные под номерами 2154, 2155 и 2156. Но опись экспонатов всех трех коллекций оказалась общей, что явствует из помещенного ниже факсимиле ее первого листа, написанного рукой Гумилева.

Первая коллекция была собрана в Харраре и состояла из многочисленных вещей харраритов – их домашней утвари, одежды и т. п. На выборе предметов сказались и личные интересы поэта. В свои сборы он включил кожаные переплеты для рукописей и книг, транспарант и орнаменты для тиснения. Ольдерогге обратил внимание на присутствовавшую в этой коллекции небольшую деревянную ступку с пестиком, армированным каменным кольцом. По его мнению, она интересна не только с этнографической, но и с археологической точки зрения. Гумилев в своей описи отметил, что ступка предназначалась для растирания листьев кустарника кат, возделывавшегося в окрестностях Харрара. Листья ката использовались как наркотик, вызывающий легкое опьянение. Растертые же в кашицу, они действовали гораздо сильнее, вызывая галлюцинации и даже транс.

Вторая коллекция содержала предметы быта сомалийцев. В ней было много оружия: щитов, колчанов, копий, палиц, ножей, приобретенных у членов делегации, приехавшей в Харрар, как помнит читатель, приветствовать нового турецкого консула. Помимо перечня предметов в описи содержались и кое-какие дополнительные сведения, например о том, как сомалийцы стреляли из лука, зажимая стрелы между указательным и средним пальцами, о способах нанесения яда на наконечники стрел и копий и др. Любопытно, что изготовлением ядов занимались специальные люди, жившие уединенно в пустыне и строго хранившие тайны своего опасного ремесла.

Последняя, третья коллекция была собрана в провинциях Мета, Бали, Аппия и Арусси у галласских племен коту и арусси. В ее составе имелись всевозможные хозяйственные вещи – кувшины, корзины, женские украшения, обувь, а также предметы,

опять-таки особо интересовавшие Гумилева, а именно письменные принадлежности: перья, чернильницы, доски с вырезанными на них текстами и др. В тех же местах был куплен и целый ткацкий станок со всеми необходимыми к нему принадлежностями.

Помимо перечисленных коллекций в музее хранятся и привезенные Гумилевым картины абиссинских мастеров [6; 338–339].

Анна Андреевна Гумилева:

Привез Коля и красивого живого попугая, светло-серого с розовой грудкой [9; 427].

Николай Степанович Гумилев. *В записи О. А. Мочаловой:*

Самое ужасное – мне в Африке нравится обыденность – быть пастухом, ходить по тропинкам, вечером стоять у плетня… [22; 281]

В дни великой войны

Андрей Яковлевич Левинсон:

Войну он принял с простотою совершенной, с прямолинейной горячностью. Он был, пожалуй, одним из тех немногих людей в России, чью душу война застала в наибольшей боевой готовности. Патриотизм его был столь же безоговорочен, как безоблачно было его религиозное исповедание. <…> Его переживание войны было легким, восторженным, подвиг был радостным. Сборник «Колчан», памятка об этой поре, свидетельствует об этом состоянии его души, просветленном и экзальтированном. Он «земно кланяется сей священной войне», но до чего он чужд кровожадному фанфаронству тыла! Нет, помнится, в книге ни единого слова о чужой крови, о чужой жизни, есть лишь готовность отдать свою. Нет врага, есть только воин, готовый претерпеть и восприять чин ангельский [9; 553].

Орест Николаевич Высотский:

Он отправился в воинское присутствие, подав прошение не об отсрочке, а о призыве. При освидетельствовании еще в 1907 году Гумилева признали совершенно неспособным к военной службе. Полистав дело, полковник отказал в его просьбе о немедленной отправке на фронт.

На другой день Гумилев поехал на Варшавский вокзал проводить брата. Жена Мити гостила у своей матери в Витебской губернии, и провожал его только племянник, Коля-маленький. Оказалось, что его, несмотря на белый билет, берут в армию. Добиться этого было просто: пойти не к начальнику, а к писарю и не пожалеть нескольких рублей. Свое призывное свидетельство Коля-маленький оформил за полчаса.

Что предпринял Гумилев, к кому обратился, неизвестно, но уже 30 июля получил свидетельство, подписанное доктором медицины Воскресенским: «Николай Степанович Гумилев, 28 л<ет> от роду, по исследовании его здоровья, оказался не имеющим физических недостатков, препятствующих ему поступить на действительную военную службу, за исключением близорукости правого глаза и некоторого косоглазия, причем, по словам Гумилева, он прекрасный стрелок» [9; 196].

Георгий Владимирович Иванов:

Осенью 1914 года Гумилев на редакторском заседании в «Аполлоне» неожиданно сообщил, что поступает в армию.

Все удивились, Гумилев был ратником второго разряда,

которых в то время и не думали призывать. Военным он никогда не был.

Значит, добровольцем, солдатом?

Не одному мне показалась странной идея безо всякой необходимости надевать солдатскую шинель и отправляться в окопы.

Гумилев думал иначе. На медицинском осмотре его забраковали, ему пришлось долго хлопотать, чтобы добиться своего. Месяца через полтора он надел форму вольноопределяющегося Л<ейб>-Гв<ардии> Уланского полка и вскоре уехал на фронт [9; 465–466].

Орест Николаевич Высотский:

24 августа Гумилев был зачислен в 1-й эскадрон и прибыл в Кречевицы Новгородской губернии, где новобранцам предстояло пройти короткую подготовку – строй, стрельбу и верховую езду. Как раз из-за неумения ездить верхом более половины новобранцев отправились в пехоту. Николай Степанович хорошо держался в седле и метко стрелял, но пришлось отрабатывать навыки верховой езды по всем правилам этого искусства. Кроме того, он брал уроки владения шашкой и пикой у опытного улана, по целым часам отрабатывая приемы ближнего боя [9, 197].

Ю. В. Янишевский, *ротмистр, сослуживец Гумилева по Лейб-Гвардии Уланскому полку:*

Оба мы одновременно приехали в Кречевицы (Новгородской губернии) в Гвардейский запасной полк и были зачислены в маршевой эскадрон Лейб-Гвардии Уланского Ее Величества полка. Там вся восьмидневная подготовка состояла лишь в стрельбе, отдании чести и езде. На последней больше 60 % провалилось и было отправлено в пехоту, а на стрельбе и Гумилев, и я одинаково выбили лучшие и были на первом месте. <…>

Гумилев был на редкость спокойного характера, почти флегматик, спокойно храбрый и в боях заработал два креста. Был он очень хороший рассказчик, и слушать его, много повидавшего в своих путешествиях, было очень интересно. И особенно мне – у нас обоих была любовь к природе и скитаниям. И это нас быстро сдружило. Когда я ему рассказал о бродяжничествах на лодке, пешком и на велосипеде, он сказал: «Такой человек мне нужен, когда кончится война, едем на два года на Мадагаскар…» [11; 535–536]

Николай Степанович Гумилев. *Из письма А. А. Ахматовой, сентябрь 1914 г.:*

Дорогая моя Анечка, я уже в настоящей армии, но мы пока не сражаемся и когда начнем, неизвестно. Все-то приходится ждать, теперь, однако, уже с винтовкой в руках и с отпущенной шашкой. И я начинаю чувствовать, что я подходящий муж для женщины, которая «собирала французские пули, как мы собирали грибы и чернику». Эта цитата заставляет меня напомнить тебе о твоем обещании быстро дописать твою поэму и прислать ее мне. Право, я по ней скучаю. Я написал стишок, посылаю его тебе, хочешь продай, хочешь читай кому-нибудь. Я ведь утерял критические способности и не знаю, хорош он или плох.

Пиши мне в 1-ю дейст<вующую> армию, в мой полк Ее Величества. Письма, оказывается, доходят, и очень аккуратно.

Я все здоровею и здоровею: все время на свежем воздухе (а погода прекрасная, тепло, скачу верхом, а по ночам сплю как убитый).

Раненых привозят немало, и раны все какие-то странные: ранят не в грудь, не в голову, как описывают в романах, а в лицо, в руки, в ноги. Под одним нашим уланом пуля пробила седло как раз в тот миг, когда он приподнимался на рыси, секунда до или после, и его бы ранило.

Сейчас случайно мы стоим на таком месте, откуда легко писать. Но скоро, должно быть, начнем переходить, тогда писать будет труднее. Но вам совершенно не надо беспокоиться, если обо мне не будет известий. Трое вольноопределяющихся знают твой адрес и, если со мной что-нибудь случится, напишут тебе немедленно. Так что отсутствие писем будет означать только то, что я в походе, здоров, но негде и некогда писать. Конечно, когда будет возможность, я писать буду.

Целую тебя, моя дорогая Анечка, а также маму, Леву и всех. Напишите Коле-маленькому, что после первого боя я ему напишу. *Твой Коля* [16; 169–170].

Николай Степанович Гумилев. *Из «Записок кавалериста»:*

Помню, был свежий солнечный день, когда мы подходили к границе Восточной Пруссии. Я участвовал в разъезде, посланном, чтобы найти генерала М., к отряду которого мы должны были присоединиться. Он был на линии боя, но где протянулась эта линия, мы точно не знали. Так же легко, как на своих, мы могли выехать на германцев. Уже совсем близко, словно большие кузнечные молоты, гремели германские пушки, и наши залпами ревели им в ответ. Где-то убедительно быстро

на своем ребячьем и странном языке пулемет лепетал непонятное.

Неприятельский аэроплан, как ястреб над спрятавшейся в траве перепелкой, постоял над нашим разъездом и стал медленно спускаться к югу. Я увидел в бинокль его черный крест.

Этот день навсегда останется священным в моей памяти. Я был дозорным и первый раз на войне почувствовал, как напрягается воля, прямо до физического ощущения какого-то окаменения, когда надо одному въезжать в лес, где, может быть, залегла неприятельская цепь, скакать по полю, вспаханному и поэтому исключающему возможность быстрого отступления, к движущейся колонне, чтобы узнать, не обстреляет ли она тебя. И в вечер этого дня, ясный нежный вечер, я впервые услышал за редким перелеском нарастающий гул «ура», с которым был взят В. Огнезарная птица победы в этот день слегка коснулась своим огромным крылом и меня [11; 443–444].

Николай Степанович Гумилев. *Из письма М. М. Лозинскому, 1 ноября 1914 г.:*

Пишу тебе уже ветераном, много раз побывавшим в разведках, много раз обстрелянным и теперь отдыхающим в зловонной ковенской чайной. Все, что ты читал о боях под Владиславовом и о последующем наступлении, я видел своими глазами и во всем принимал посильное участие. Дежурил в обстреливаем < ом > Владиславове, ходил в атаку (увы, отбитую орудийным огнем), мерз в сторожевом охраненьи, ночью срывался с места, заслыша ворчанье подкравшегося пулемета, и опивался сливками, объедался курятиной, гусятиной, свининой, будучи дозорным при следованьи отряда по Германии. В общем, я могу сказать, что это лучшее время моей жизни. Оно несколько напоминает мои абиссинские эскапады, но менее лирично и волнует гораздо больше. Почти каждый день быть под выстрелами, слышать визг шрапнели, щелканье винтовок, направленных на тебя, – я думаю, такое наслаждение испытывает закоренелый пьяница перед бутылкой очень старого, крепкого коньяка. Однако бывает и реакция, и минута затишья – в то же время минута усталости и скуки [9; 200–201].

Николай Степанович Гумилев. *Из «Записок кавалериста»:*

Самое тяжелое для кавалериста на войне это – ожидание. Он знает, что ему ничего не стоит зайти во фланг движущемуся противнику, даже оказаться у него в тылу, и что никто его не окружит, не отрежет путей к отступлению, что всегда окажется спасительная тропинка, по которой целая кавалерийская дивизия

легким галопом уйдет из-под самого носа одураченного врага.

Каждое утро, еще затемно, мы, путаясь среди канав и изгородей, выбирались на позицию и весь день проводили за каким-нибудь бугром, то прикрывая артиллерию, то просто поддерживая связь с неприятелем. Была глубокая осень, голубое холодное небо, на резко-чернеющих ветках золотые обрывки парчи, но с моря дул пронзительный ветер, и мы с синими лицами, с покрасневшими веками плясали вокруг лошадей и засовывали под седла окоченелые пальцы. Странно, время тянулось совсем не так долго, как можно было предполагать. Иногда, чтобы согреться, шли взводом на взвод, и, молча, целыми кучами барахтались на земле. Порой нас развлекали рвущиеся поблизости шрапнели, кое-кто робел, другие смеялись над ним и спорили, по нам или не по нам стреляют немцы. Настоящее томление наступало только тогда, когда уезжали квартирьеры на отведенный нам бивак, и мы ждали сумерек, чтобы последовать за ними. <…> О, низкие, душные халупы, где под кроватью кудахтают куры, а под столом поселился баран; о, чай! который можно пить только с сахаром в прикуску, но зато никак не меньше шести стаканов; о, свежая солома! расстеленная для спанья по всему полу, – никогда ни о каком комфорте не мечтается с такой жадностью, как о вас! И безумно-дерзкие мечты, что на вопрос о молоке и яйцах, вместо традиционного ответа: «Вшистко германи забрали», хозяйка поставит на стол крынку с густым налетом сливок, и что на плите радостно зашипит большая яичница с салом! И горькие разочарования, когда приходится ночевать на сеновалах или на снопах немолоченного хлеба, с цепкими, колючими колосьями, дрожать от холода, вскакивать и сниматься с бивака по тревоге! [11; 448–449]

Николай Степанович Гумилев. *Из письма А. А. Ахматовой. Осень 1914 г.:*

Дорогая моя Анечка, наконец могу написать тебе довольно связно. Сижу в польской избе перед столом на табурете, очень удобно и даже уютно. Вообще война мне очень напоминает мои абиссинские путешествия. Аналогия почти полная: недостаток экзотичности покрывается более сильными ощущеньями. Грустно только, что здесь инициатива не в моих руках, а ты знаешь, как я привык к этому. Однако и повиноваться мне не трудно, особенно при таком милом ближайшем начальстве, как у меня. Я познакомился со всеми офицерами своего эскадрона и часто бываю у них. Za me pose parmi les soldats[32], хотя они и так относятся ко мне хорошо и уважительно. Если бы только почаще

бои, я был бы вполне удовлетворен судьбой. А впереди еще такой блистательный день, как день вступления в Берлин! В том, что он наступит, сомневаются, кажется, только «вольные», т. е. не военные. Сообщенья главного штаба поражают своей сдержанностью, и по ним трудно судить о всех наших успехах. Австрийцев уже почти не считают за врагов, до такой степени они не воины, что касается германцев, то их кавалерия удирает перед нашей, наша артиллерия всегда заставляет замолчать их, наша пехота стреляет вдвое лучше и бесконечно сильнее в атаке, уже потому, что наш штык навинчен с начала боя и солдат стреляет с ним, а у германцев и австрийцев штык закрывает дуло, и поэтому его надо надевать в последнюю минуту, что психологически невозможно. < … >

Мы, наверно, скоро опять попадем в бой, и в самый интересный, с кавалерией. Так что вы не тревожьтесь, не получая от меня некоторое время писем, убить меня не убьют (ты ведь знаешь, что поэты – пророки), а писать будет некогда. Если будет можно, после боя я пришлю телеграмму, не пугайтесь, всякая телеграмма непременно успокоительная.

Теперь про свои дела: я тебе послал несколько стихотворений, но их в «Войне» надо заменить, строфы 4-ю и 5-ю про дух следующими:

Тружеников, медленно идущих
На полях, омоченных в крови,
Подвиг сеющих и славу жнущих,
Ныне, Господи, благослови.

Как у тех, что гнутся над сохою,
Как у тех, что молят и скорбят,
Их сердца горят перед тобою,
Восковыми свечками горят.

Но тому, о Господи, и силы… и т. д.

Вот человек предполагает, а Бог располагает. Приходится дописывать письмо стоя и карандашом.

Вот мой адрес: 102 полевая контора. Остальное все как прежде. *Твой всегда Коля* [16; 172–174].

Николай Степанович Гумилев. *Из «Записок кавалериста»:*

Предприняли мы однажды разведывательное наступление, перешли на другой берег реки Ш. и двинулись по равнине к далекому лесу. Наша цель была – заставить заговорить

артиллерию, и та, действительно, заговорила. Глухой выстрел, протяжное завывание, и шагах в ста от нас белеющим облачком лопнула шрапнель. Вторая разорвалась уже в пятидесяти шагах, третья – в двадцати. Было ясно, что какой-нибудь оберлейтенант, сидя на крыше или на дереве, чтобы корректировать стрельбу, надрывается в телефонную трубку: «Правее, правее!»

Мы повернули и галопом стали уходить.

Новый снаряд разорвался прямо над нами, ранил двух лошадей и прострелил шинель моему соседу. Где рвались следующие, мы уже не видели. Мы скакали по тропинкам холеной рощи вдоль реки под прикрытием ее крутого берега. Германцы не догадались обстрелять брод, и мы без потерь оказались в безопасности. Даже раненых лошадей не пришлось пристреливать, их отправили на излечение. <…>

Через несколько дней в одно прекрасное, даже не холодное, утро свершилось долгожданное. Эскадронный командир собрал унтер-офицеров и прочел приказ о нашем наступлении по всему фронту. Наступать – всегда радость, но наступать по неприятельской земле, это – радость, удесятеренная гордостью, любопытством и каким-то непреложным ощущением победы. Люди молодцеватее усаживаются в седлах. Лошади прибавляют шаг. Время, когда от счастья спирается дыхание, время горящих глаз и безотчетных улыбок.

Справа по три, вытянувшись длинной змеею, мы пустились по белым, обсаженным столетними деревьями дорогам Германии. Жители снимали шапки, женщины с торопливой угодливостью выносили молоко. Но их было мало, большинство бежало, боясь расплаты за преданные заставы, отравленных разведчиков. <…>

Вот за лесом послышалась ружейная пальба – партия отсталых немецких разведчиков. Туда помчался эскадрон, и все смолкло. Вот над нами раз за разом разорвалось несколько шрапнелей. Мы рассыпались, но продолжали подвигаться вперед. Огонь прекратился. Видно было, что германцы отступают решительно и бесповоротно. Нигде не было заметно сигнальных пожаров, и крылья мельниц висели в том положении, которое им придал ветер, а не германский штаб. Поэтому мы были крайне удивлены, когда услыхали невдалеке частую, частую перестрелку, точно два больших отряда вступили между собой в бой. Мы поднялись на пригорок и увидали забавное зрелище. На рельсах узкоколейной железной дороги стоял горящий вагон и из него и неслись эти звуки. Оказалось, он был наполнен патронами для винтовок, немцы в своем отступлении бросили его, а наши подожгли. Мы расхохотались, узнав в чем дело, но отступающие враги наверно долго и напряженно ломали голову, кто это там

храбро сражается с наступающими русскими.

Вскоре навстречу нам стали попадаться партии свежепойманных пленников. <…>

Дики были развалины города Ш. Ни одной живой души. Моя лошадь пугливо вздрагивала, пробираясь по заваленным кирпичами улицам мимо зданий с вывороченными внутренностями, мимо стен с зияющими дырами, мимо крыш каждую минуту готовых обвалиться. На бесформенной груде обломков виднелась единственная уцелевшая вывеска «Ресторан». Какое счастье было вырваться опять в простор полей, увидеть деревья, услышать милый запах земли.

Вечером мы узнали, что наступление будет продолжаться, но наш полк переводят на другой фронт. Новизна всегда пленяет солдат, но, когда я посмотрел на звезды и вдохнул ночной ветер, мне вдруг стало очень грустно расставаться с небом, под которым я как-никак получил мое боевое крещенье [11; 449–454].

Ольга Людвиговна Делла-Вос-Кардовская. *В записи Л. В. Горнунга:*

Началась война. Гумилев уехал на фронт добровольцем. Анна Андреевна приходила к нам в это время одна. Иногда она читала присланные мужем с фронта военные стихи. Они нам очень нравились.

Однажды к нам позвонили, и когда дверь распахнулась, мы увидели их обоих. Оказалось, что Николай Степанович приехал в отпуск. Он показался нам загоревшим, был оживлен и естественно прост. В другой раз он появился у нас, украшенный Георгиевским крестом. Он много рассказывал о войне, о своих вылазках и пережитом жутком чувстве, когда приходилось переползать по открытому месту под огнем неприятеля [10; 194–196].

Николай Степанович Гумилев. *Из «Записок кавалериста»:*

Нам было поручено наблюдать район версты в четыре и сообщать обо всем, что мы заметим. Местность была совершенно ровная, и перед нами, как на ладони, виднелись три деревни. Одна была занята нами, о двух других ничего не было известно.

Держа винтовки в руках, мы осторожно въехали в ближайшую деревню, проехали ее до конца, и, не обнаружив неприятеля, с чувством полного удовлетворения напились парного молока, вынесенного нам красивой, словоохотливой старухой. Потом офицер, отозвав меня в сторону, сообщил, что хочет дать мне самостоятельное поручение ехать старшим над двумя дозорными

в следующую деревню. Поручение пустяшное, но все-таки серьезное, если принять во внимание мою неопытность в искусстве войны, и главное – первое, в котором я мог проявить свою инициативу. Кто не знает, что во всяком деле начальные шаги приятнее всех остальных.

Я решил идти не лавой, то есть в ряд, на некотором расстоянии друг от друга, а цепочкой, то есть один за другим. Таким образом я подвергал меньшей опасности людей и получал возможность скорее сообщить разъезду что-нибудь новое. Разъезд следовал за нами. Мы въехали в деревню и оттуда заметили большую колонну германцев, двигавшуюся верстах в двух от нас. Офицер остановился, чтобы написать донесение, я для очистки совести проехал дальше. Круто загибавшаяся дорога вела к мельнице. Я увидел около нее кучку спокойно стоявших жителей и, зная, что они всегда удирают, предвидя столкновение, в котором может достаться и им шальная пуля, рысью подъехал, чтобы расспросить о немцах. Но едва мы обменялись приветствиями, как они с искаженными лицами бросились врассыпную, и передо мной взвилось облачко пыли, а сзади послышался характерный треск винтовки. Я оглянулся. <…> На той дороге, по которой я только что проехал, куча всадников и пеших в черных, жутко-чужого цвета шинелях изумленно смотрела на меня. Очевидно, меня только что заметили. Они были шагах в тридцати.

Я понял, что на этот раз опасность действительно велика. Дорога к разъезду мне была отрезана, с двух других сторон двигались неприятельские колонны. Оставалось скакать прямо на немцев, но там далеко раскинулось вспаханное поле, по которому нельзя идти галопом, и я десять раз был бы подстрелен, прежде чем вышел бы из сферы огня. Я выбрал среднее и, огибая врага, помчался перед его фронтом к дороге, по которой ушел наш разъезд. Это была трудная минута моей жизни. Лошадь спотыкалась о мерзлые комья, пули свистели мимо ушей, взрывали землю передо мной и рядом со мной, одна оцарапала луку моего седла. Я не отрываясь смотрел на врагов. Мне были ясно видны их лица, растерянные в момент заряжания, сосредоточенные в момент выстрела. Невысокий пожилой офицер, странно вытянув руку, стрелял в меня из револьвера. Этот звук выделялся каким-то дискантом среди остальных. Два всадника выскочили, чтобы преградить мне дорогу. Я выхватил шашку, они замялись. Может быть, они просто побоялись, что их подстрелят их же товарищи.

Все это в ту минуту я запомнил лишь зрительной и слуховой памятью, осознал же это много позже. Тогда я только

придерживал лошадь и бормотал молитву Богородице, тут же мною сочиненную и сразу забытую по миновании опасности.

Но вот и конец пахотному полю – и зачем только люди придумали земледелие?! – вот канава, которую я беру почти бессознательно, вот гладкая дорога, по которой я полным карьером догоняю свой разъезд. Позади него, не обращая внимания на пули, сдерживает свою лошадь офицер. Дождавшись меня, он тоже переходит в карьер и говорит со вздохом облегчения: «Ну, слава Богу! Было бы ужасно глупо, если б вас убили». Я вполне с ним согласился [11; 458–460].

Георгий Владимирович Иванов:

Война его не изменила. О фронте он рассказывал забавные пустяки, точно о пикнике, читал мадригалы, сочиненные полковым дамам:

Как гурия в магометанском
Эдеме в розах и шелку,
Так Вы в Лейб-Гвардии Уланском
Ея Величества полку.

Когда его поздравляли с Георгиевским крестом, он смеялся: «Ну, что это, игрушки. К весне собираюсь заработать „полный бант“». <…>

Только раз я почувствовал, что на войне Гумилеву было не так уж весело и приятно, как он хотел показать. Мы засиделись где-то ночью, поездов в Царское больше не было, и я увел Гумилева к себе.

– Славная у тебя комната, – сказал он мне, прощаясь утром. – У меня в Париже была вроде этой. Вот бы и мне пожить так, а то все окопы да окопы. Устал я немножко [9; 466].

Николай Степанович Гумилев. *Из «Записок кавалериста»:*

Сборный пункт был назначен в местечке С. По нему так и сыпались снаряды, но германцы, как всегда, избрали мишенью костел, и стоило только собираться на другом конце, чтобы опасность была сведена к минимуму.

Со всех сторон съезжались разъезды, подходили с позиций эскадроны. Пришедшие раньше варили картошку, кипятили чай. Но воспользоваться этим не пришлось, потому что нас построили в колонну и вывели на дорогу. Спустилась ночь, тихая, синяя, морозная. Зыбко мерцали снега. Звезды словно просвечивали сквозь стекло. Нам пришел приказ остановиться и ждать дальнейших распоряжений. И пять часов мы стояли на дороге.

Да, эта ночь была одной из самых трудных в моей жизни. Я ел хлеб со снегом, сухой он не пошел бы в горло; десятки раз бегал вдоль своего эскадрона, но это больше утомляло, чем согревало; пробовал греться около лошади, но ее шерсть была покрыта ледяными сосульками, а дыханье застывало, не выходя из ноздрей. Наконец, я перестал бороться с холодом, остановился, засунул руки в карманы, поднял воротник и с тупой напряженностью начал смотреть на чернеющую изгородь и дохлую лошадь, ясно сознавая, что замерзаю. Уже сквозь сон я услышал долгожданную команду: «К коням… садись». Мы проехали версты две и вошли в маленькую деревушку. Здесь можно было наконец согреться. Едва я очутился в халупе, как лег, не сняв ни винтовки, ни даже фуражки, и заснул мгновенно, словно сброшенный на дно самого глубокого, самого черного сна.

Я проснулся со страшной болью в глазах и шумом в голове, оттого что мои товарищи, пристегивая шашки, толкали меня ногами: «Тревога! Сейчас выезжаем».

Как лунатик, ничего не соображая, я поднялся и вышел на улицу. Там трещали пулеметы, люди садились на коней. Мы опять выехали на дорогу и пошли рысью. Мой сон продолжался ровно полчаса.

Мы ехали всю ночь на рысях, потому что нам надо было сделать до рассвета пятьдесят верст, чтобы оборонять местечко К. на узле шоссейных дорог. Что это была за ночь! Люди засыпали в седлах, и никем не управляемые лошади выбегали вперед, так что сплошь и рядом приходилось просыпаться в чужом эскадроне.

Низко нависшие ветви хлестали по глазам и сбрасывали с головы фуражку. Порой возникали галлюцинации. Так, во время одной из остановок, я, глядя на крутой, запорошенный снегом откос, целые десять минут был уверен, что мы въехали в какой-то большой город, что передо мной трехэтажный дом с окнами, с балконами, с магазинами внизу. Несколько часов подряд мы скакали лесом. В тишине, разбиваемой только стуком копыт да храпом коней, явственно слышался отдаленный волчий вой. Иногда, чуя волка, лошади начинали дрожать всем телом и становились на дыбы. Эта ночь, этот лес, эта нескончаемая белая дорога казались мне сном, от которого невозможно проснуться. И все же чувство странного торжества переполняло мое сознание. Вот мы, такие голодные, измученные, замерзающие, только что выйдя из боя, едем навстречу новому бою, потому что нас принуждает к этому дух, который так же реален, как наше тело, только бесконечно сильнее его. И в такт лошадиной рыси в моем уме плясали ритмические строки:

Расцветает дух, как роза мая,
Как огонь, он разрывает тьму,
Тело, ничего не понимая,
Слепо повинуется ему.

Мне чудилось, что я чувствую душный аромат этой розы, вижу красные языки огня.

Часов в десять утра мы приехали в местечко К. Сперва стали на позицию, но вскоре, оставив караулы и дозорных, разместились по халупам. Я выпил стакан чаю, поел картошки и, так как все не мог согреться, влез на печь, покрылся валявшимся там рваным армяком и, содрогнувшись от наслаждения, сразу заснул. Что мне снилось, я не помню, должно быть что-нибудь очень сумбурное, потому что я не слишком удивился, проснувшись от страшного грохота и кучи посыпавшейся на меня известки. Халупа была полна дымом, который выходил в большую дыру в потолке прямо над моей головой. В дыру было видно бледное небо. «Ага, артиллерийский обстрел», – подумал я, и вдруг страшная мысль пронизала мой мозг и в одно мгновенье сбросила меня с печи. Халупа была пуста, уланы ушли.

Тут я действительно испугался. Я не знал, с каких пор я один, куда направились мои товарищи, очевидно не заметившие, как я влез на печь, и в чьих руках было местечко. Я схватил винтовку, убедился, что она заряжена, и выбежал из дверей. Местечко пылало, снаряды рвались там и сям. Каждую минуту я ждал увидеть направленные на меня широкие штыки и услышать грозный окрик: «Halt!» Но вот я услышал топот и, прежде чем успел приготовиться, увидел рыжих лошадей, уланский разъезд. Я подбежал к нему и попросил подвезти меня до полка. Трудно было в полном вооружении вспрыгивать на круп лошади, она не стояла, напуганная артиллерийскими разрывами, но зато какая радость была сознавать, что я уже не несчастный, заблудившийся, а снова часть уланского полка, а следовательно, и всей русской армии.

Через час я уже был в своем эскадроне, сидел на своей лошади, рассказывал соседям по строю мое приключение [11; 498–501].

Николай Степанович Гумилев. *В пересказе Г. Иванова:*

На войне <…> страшно и скучно. Когда идешь в конную атаку: «Пригнись!» Я не пригибался. Но прекрасно сознавал, какой это риск. Храбрость в том и заключается, чтобы подавить страх перед опасностью. Ничего не боящийся Козьма Крючков

не храбрец, а чурбан [9; 471].

Николай Степанович Гумилев. *В записи О. А. Мочаловой:*

Физически мне, конечно, было очень трудно, но духовно – хорошо! [22; 279]

Орест Николаевич Высотский:

После окончания школы прапорщиков приказом главнокомандующего армиями Западного фронта генерал-адъютанта Иванова 28 марта 1916 года Гумилев получил первый офицерский чин и был переведен в 5-й гусарский Александрийский полк. В отличие от других этот полк называли «Черные гусары», иногда – «бессмертные» или даже «гусары смерти». Служившие в полку носили черную форму.

Несколько лет спустя художница Наталья Гончарова нарисовала дружеский шарж, изобразив поэта в форме черного гусара верхом на жирафе.

10 апреля 1916 года Гумилев прибыл в штаб полка, стоявший в Аузини, или, по-русски, в Овсеевке, неподалеку от Двинска, и получил назначение в 4-й эскадрон к подполковнику Алексею фон Радецкому.

Полк занимал позиции по Двине в районе фольварка Арандоль. Появление в полку нового прапорщика было встречено с недоверием – какой-то, говорят, литератор, был в уланах, теперь за что-то переведен в гусары… Подозрительной казалась и внешность: медлительный в движениях, он выглядел человеком необщительным или застенчивым, хотя хорошо воспитанным, деликатным.

Но с первых же вылазок отношение к Гумилеву стало меняться: в храбрости ему бы не отказал никто [9; 212–213].

Со слов А. В. Посажного, сослуживца Н. С. Гумилева, в записи Ю. А. Топоркова:

В 1916 году, когда Александрийский гусарский полк стоял в окопах па Двине, штаб-ротмистру А. Посажному пришлось в течение двух месяцев жить в одной с Гумилевым хате. Однажды, идя в расположение 4-го эскадрона по открытому месту, штаб-ротмистры Шахназаров и Посажной быстро спрыгнули в окоп. Гумилев же нарочно остался на открытом месте и стал зажигать папироску, бравируя своим спокойствием. Закурив папиросу, он затем тоже спрыгнул с опасного места в окоп, где командир эскадрона сильно разнес его за ненужную в подобной обстановке храбрость – стоять без цели на открытом месте под неприятельскими пулями… [11; 540]

В. А. Карамзин, *штаб-ротмистр, сослуживец Н. С. Гумилева:*

Помню, как весной 1916 года я прибыл по делам службы в штаб полка, расквартированный в прекрасном помещичьем доме. <…>

На обширном балконе меня встретил совсем мне не знакомый дежурный по полку офицер и тотчас же мне явился. «Прапорщик Гумилев», – услышал я среди других слов явки и понял, с кем имею дело. <…>

При встрече с командиром четвертого эскадрона, подполковником А. Е. фон Радецким, я его спросил: «Ну, как Гумилев у тебя поживает?» На это Аксель, со свойственной ему краткостью, ответил: «Да-да, ничего. Хороший офицер и, знаешь, парень хороший». А эта прибавка в словах добрейшего Радецкого была высшей похвалой [11; 538–539].

Орест Николаевич Высотский:

Пробыл Гумилев в гусарском полку меньше месяца: опять начался процесс в легких, поднялась температура, усилился кашель. 5 мая его отправили в привилегированный лазарет Большого дворца в Царском Селе. Этот лазарет часто навещали августейшие особы: великая княжна Ольга Николаевна, ее сестра Татьяна Николаевна. Однажды появилась в сопровождении большой свиты вдовствующая царица Мария Федоровна – маленькая, морщинистая женщина, говорившая с заметным немецким акцентом [9; 214].

Сергей Абрамович Ауслендер:

Война сделала его проще, скинула надменность. Он сидел на кровати и играл с кем-то в шашки. Мы встретились запросто (я был тоже в военной форме), посидели некоторое время, потом он решил потихоньку удрать. Ему было нужно в редакцию газеты «Биржевые ведомости», а из лазарета не выпускали. Он просил меня помочь ему пронести шинель. Сам он был в больших сапогах, и от него пахло кожей. Мы выбрались из лазарета благополучно. В этом поступке было что-то казарменное и озорное. На ходу сели в трамвай. Затем простились. Весело и бодро он соскочил с трамвая и побежал на Галерную. На нем была длинная кавалерийская шинель [3; 202].

Орест Николаевич Высотский:

Сестра милосердия Ольга Арбенина навестила палату со своей подругой по лазарету – Аней Энгельгардт. Эта тоненькая, хрупкая девушка с большими карими глазами, нежным

и безвольным ртом очень понравилась Николаю Степановичу. Когда 14 мая на вечере в Тенишевском училище Гумилев среди публики узнал Энгельгардт, он очень обрадовался и, протиснувшись, сел рядом с ней. Говорили о поэзии. Она знала на память много стихов, и его, гумилевских, тоже, и внимательно слушала его слова, доверчиво смотря в глаза.

Через две недели врачи отправили Гумилева на лечение в Массандру, опасаясь, что бронхиты приведут к чахотке. <…>

Пройдя медицинскую комиссию в Петрограде, Гумилев 25 июля возвратился в полк. Черные гусары продвинулись с боями к Шлосс-Ленбургу, близ Сигулды. <…>

Август выдался сухой и жаркий. На фронте наступило затишье. В расположении эскадрона стоял благостный покой.

С восходом солнца отряд седлал коней для парфорской охоты – так называли в полку скачки по бездорожью. Участие в скачках было добровольным, но на тех, кто боялся сломать себе шею, смотрели с презрением. А опасность действительно была большая. Особенно трудно было справиться с изгородями, за которыми обычно оказывались канавы, полные воды. Каждый раз кто-нибудь из всадников падал вместе с лошадью – счастье, если отделывался ушибами.

Николай Степанович сразу по возвращении в эскадрон принял участие в этой охоте. И не только не слетел с коня, а опередил испытанных всадников. Отношение к нему сразу изменилось. Одни прониклись уважением, другие – недоброжелательством [9; 214–215, 216, 217].

Николай Степанович Гумилев. *В пересказе Г. Иванова:*

И еще неприятно на войне – целые дни в сапогах, нельзя надеть туфлей, болят ноги [9; 471].

Конквистадор на распутье

Георгий Владимирович Иванов:

Наступило двадцать седьмое февраля. Гумилев вернулся в Петербург. Для него революция пришла не вовремя. Он устал и днями не выходил из своего царскосельского дома. Там, в библиотеке, уставленной широкими диванами, под клеткой с горбоносым какаду, тем самым, о котором Ахматова сказала:

А теперь я игрушечной стала,
Как мой розовый друг какаду…

Гумилев сидел над своими рукописями и книгами. Худой, желтый после недавней болезни, закутанный в пестрый азиатский халат, он мало напоминал недавнего блестящего кавалериста.

Когда навещавшие его заговаривали о событиях, он устало отмахивался: «Я не читаю газет».

Газеты он читал, конечно. Ведь и на вопрос, что он испытал, увидев впервые Сахару, Гумилев сказал: «Я не заметил ее. Я сидел на верблюде и читал Ронсара».

Помню одну из его редких обмолвок на злобу дня: «Какая прекрасная тема для трагедии лет через сто – Керенский» [9; 467].

Сергей Константинович Маковский:

Весной того же года, в мае, получил он, по своему желанию, командировку от Временного правительства в русский экспедиционный корпус на Салоникский фронт. Путь лежал через Финляндию, Норвегию, Лондон, Париж, Марсель и т. д. Но с 27 февраля 1917 года изменилось многое не только в России. Союзники отказались от наступления в Эгейском море, и Гумилев, приехав из Лондона в Париж, был оставлен в распоряжении генерала Занкевича. Гумилеву было предложено принять другое назначение. Он избрал «месопотамский», или «персидский», фронт. Чтобы получить транзитные визы, надо было вернуться в Лондон за инструкциями от военного начальства. Но в Париже он завяз… опять из-за несчастной любви!

Георгий Владимирович Иванов:

Из-за него возникла сложная переписка между Петербургом и Парижем – из Петербурга слали приказы «прапорщику

Гумилеву» немедленно ехать в Салоники, из Парижа какое-то военное начальство, которое Гумилев успел очаровать, этим приказам сопротивлялось. Пока шла переписка, случился октябрьский переворот. Гумилев долго оставался в Париже, потом переехал в Лондон [9; 467–468].

Сергей Константинович Маковский:

Целую зиму, забыв все на свете, он старался пленить красивую русскую девушку из дворянской семьи, рассказывая ей и стихами и прозой о своих дальних странствиях и подвигах. Но и парижская «райская птица» оказалась рассудочно-осторожной. Предложение его она отвергла и предпочла бедному поэту статного, красивого и «вовсе обыкновенного» американца с достатком, за которого и вышла замуж [9; 380].

Николай Максимович Минский:

После войны я встречался с ним в Париже. Прежняя его словоохотливость заменилась молчаливым раздумьем, и в мудрых, наивных глазах его застыло выражение скрытой решимости. В общей беседе он мало участвовал, и оживлялся только тогда, когда речь заходила о его персидских миниатюрах. Я часто заставал его углубленным в чтение. Оказалось, что он читал Майн-Рида [21; 170].

Георгий Владимирович Иванов:

За год заграничной жизни Гумилевым было написано много стихов, большая пьеса «Отравленная туника», ряд переводов. Он наверстывал время, потерянное на фронте.

За границей Гумилев отдыхал. Но этот «отдых» стал слишком затягиваться. На русских смотрели косо, деньги кончались. Гумилев рассказывал, как он и несколько его приятелей-офицеров, собравшись в кафе, стали обсуждать, что делать дальше. Один предлагал поступить в Иностранный Легион, другой – ехать в Индию охотиться на диких зверей. Гумилев ответил: «Я дрался с немцами три года, львов тоже стрелял. А вот большевиков я никогда не видел. Не поехать ли мне в Россию. Вряд ли это опаснее джунглей». Гумилева отговаривали, но напрасно. Он отказался от почетного и обеспеченного назначения в Африку, которое ему устроили его влиятельные английские друзья. Подоспел пароход, шедший в Россию. Сборы были недолги. Провожающие поднесли Гумилеву серую кепку из блестящего шляпочного магазина на Пиккадилли, чтобы он имел соответствующий вид в пролетарской стране [9; 468].

В революционном Петрограде

Николай Корнеевич Чуковский:

За годы с 1918-го по 1921-й он проделал в Ленинграде колоссальную организационную работу. Он организовал несколько издательств – в невероятно трудных условиях разрухи – и издал и переиздал в этих издательствах ряд сборников стихов, своих и своих друзей. Он воссоздал «Цех поэтов» – так называемый «Новый цех», в отличие от старого «Цеха поэтов», существовавшего перед революцией. Он создал «Звучащую раковину» – нечто вроде дочернего предприятия при «Цехе поэтов». Он создал петроградское отделение «Союза Поэтов» и стал его председателем, потеснив Блока. Он принимал самое деятельное участие в создании Дома поэтов на Литейном и Дома искусств на Мойке и играл важную роль в обоих этих учреждениях. Он организовал семинар по поэзии в Студии при Доме искусств и был бессменным его руководителем. В созданном Горьким издательстве «Всемирная литература» он тоже был влиятельным человеком, руководя там всеми стихотворными переводами с западных языков. Таким образом, все многочисленные поэты Петрограда того времени, и молодые и старые, находились в полной от него зависимости. Без санкции Николая Степановича трудно было не только напечатать свои стихи, но даже просто выступить с чтением стихов на каком-нибудь литературном вечере [29; 31].

Владислав Фелицианович Ходасевич:

Мы познакомились осенью 1918 года, в Петербурге, на заседании коллегии «Всемирной Литературы». Важность, с которою Гумилев «заседал», тотчас мне напомнила Брюсова.

Он меня пригласил к себе и встретил так, словно это было свидание двух монархов. В его торжественной учтивости было нечто столь неестественное, что сперва я подумал – не шутит ли он? Пришлось, однако, и мне взять примерно такой же тон: всякий другой был бы фамильярностью. В опустелом, голодном, пропахшем воблою Петербурге, оба голодные, исхудалые, в истрепанных пиджаках и дырявых штиблетах, среди нетопленого и неубранного кабинета сидели мы и беседовали с непомерною важностью. Памятуя, что я москвич, Гумилев счел нужным предложить мне чаю, но сделал это таким неуверенным голосом (сахару, вероятно, не было), что я отказался и тем, кажется, вывел его из затруднения [9; 538].

Всеволод Александрович Рождественский:

Он был одним из самых деятельных участников Редакционного совета, многое редактировал, немало переводил и сам: народные баллады о Робине Гуде, баллады Саути, «Старый моряк» Кольриджа. Его постоянно можно было видеть в обширной приемной, почти всегда в сопровождении верных спутников – Георгия Иванова и Георгия Адамовича. Дом на Моховой, где помещалась «Всемирная литература», наискосок от Тенишевского училища (впоследствии «Театра юного зрителя»), был своеобразным клубом творческой интеллигенции 1918–1921 гг. <…>

Гумилев этого периода остался в моей памяти как неутомимый собеседник, любивший собирать вокруг себя почтительных слушателей из молодежи [20; 414].

Ольга Николаевна Гильдебрандт-Арбенина:

Мне казалось, что его литературные занятия и «Всемирная литература» ему вполне нравились. Он никогда на жизнь не жаловался. Помню, я как-то сказала «Всемирка» – он меня поправил, смеясь: «Ну, зачем вы так? это наша всемирочка, наша девочка…» (т. е. его самое нежное слово!) [20; 452].

Николай Авдеевич Оцуп:

В 1918–1921 гг. не было, вероятно, среди русских поэтов никого равного Гумилеву в динамизме непрерывной и самой разнообразной литературной работы <…>.

Секрет его был в том, что он, вопреки поверхностному мнению о нем, никого не подавлял своим авторитетом, но всех заражал своим энтузиазмом [16; 238].

Анна Андреевна Гумилева:

В 1919 году Коля женился вторым браком на Анне Николаевне Энгельгардт. После того как семье Гумилевых пришлось покинуть свой дом в Царском Селе с его чудной библиотекой, они переехали в Петербург. Художник Маковский предложил Коле временно свою квартиру на Ивановской улице. Мы все соединились, кроме Александры Степановны Сверчковой. Времена стали тяжелые. Анне Ивановне трудно было добывать продукты, стоять в очередях, и Коля просил меня взять на себя хозяйство. Анна Николаевна – в семье называвшаяся Ася – была еще слишком молода [9; 431].

Георгий Владимирович Иванов:

До сих пор Гумилеву не приходилось зарабатывать на жизнь –

он жил на ренту. Но Гумилев не растерялся.

– Теперь меня должны кормить мои стихи, – сказал он мне.

Я улыбнулся.

– Вряд ли они тебя прокормят.

– Должны!

Он добился своего – до самой своей смерти Гумилев жил литературным трудом. Сначала изданием новых стихов и переизданием старых. Потом переводами (сколько он их сделал!) для «Всемирной литературы». У него была большая семья на руках. Гумилев сумел ее «прокормить стихами».

Кроме переводов и книг были еще лекции в Пролеткульте, Балтфлоте и всевозможных студиях. Тут платили натурой – хлебом, крупой. Это очень нравилось Гумилеву – насущный хлеб в обмен на духовный [9; 468–469].

Николай Авдеевич Оцуп:

Кто из петербуржцев не помнит какой-то странной, гладким мехом наружу, шубы Гумилева с белыми узорами по низу (такие шубы носят зажиточные лопари). В этой шубе, в шапке с наушниками, в больших тупоносых сапогах, полученных из Кубу (Комиссии по улучшению быта ученых), важный и приветливый Гумилев, обыкновенно окруженный учениками, шел на очередную лекцию в Институт Живого Слова, Дом Искусств, Пролеткульт, Балтфлот и тому подобные учреждения. Лекции он, как и все мы, читал почти никогда не снимая шубы, так холодно было в нетопленых аудиториях. Пар валит изо рта, руки синеют, а Гумилев читает о новой поэзии, о французских символистах, учит переводить и даже писать стихи. Делал он это не только затем, чтобы прокормить семью и себя, но и потому, что любил, всем существом любил поэзию и верил, что нужно помочь каждому человеку стихами облегчать свое недоумение, когда спросит он себя: зачем я живу? [9; 477–478]

Орест Николаевич Высотский:

В Петербурге началась зима, в квартире стоял лютый холод, Аня сидела с ребенком на кровати, укутанная кофтами и одеялами. Дров не было ни полена, и Николай Степанович, вооружившись топором, снял с петель дверь, разрубил и сжег вместе с ручками и задвижкой. Но этого топлива едва хватило до утра. На счастье, при содействии Чуковского Гумилев получил дрова от заведующего хозяйством Главархива и написал Корнею Ивановичу: «Дрова получил, сажень, дивные. Вечная моя благодарность Вам. Вечно Ваш Н. Г.».

Предстояло выполнить еще одно важное дело.

В реквизированном доме Гумилевых в Царском Селе осталась его библиотека. Николаю Степановичу хотелось получить свои книги. На помощь пришел Оцуп: он съездил в Царское и, узнав, что все книги в больших ящиках вынесены в дровяной сарай во дворе дома, где и лежат уже два года, позвал двух студистов из Института живого слова. Ночью сбили замок с дверей сарая и на салазках вывезли ящики в дом матери Оцупа. Через два месяца книги уже стояли в книжном шкапу на Преображенской.

Если с дровами на некоторое время все уладилось, то с продуктами становилось все хуже и хуже. В столовой для писателей на обед давали тарелку жидкого пшенного супа, ложку пшенной каши на воде и пайку хлеба, по виду и вкусу похожего на кусок торфа. В буфете если и можно было купить пирожок с кислой капустой, то надо было отдать чуть не весь гонорар, полученный за поэму.

Каждый день Гумилев отправлялся на «охоту»: добыть для девочки хоть немного молока, раздобыть полфунта пшена или десяток картофелин, найти какое-нибудь советское учреждение, готовое послушать лекцию о творчестве Лермонтова или Леконта де Лиля, согласиться на проведение занятий по теории стихосложения – за это платили несколько тысяч рублей и кормили супом с куском пшенного хлеба.

Корней Чуковский вспоминал, как «к годовщине Октябрьских дней военные курсанты, наши слушатели, получили откуда-то много муки. Каждому из нас, „лекторов“, они выдали не менее полпуда. Весело было нам в этот предпраздничный день везти через весь город на своих легких салазках такой неожиданный клад. Мы бодро шагали рядом и вскоре где-то близ Марсового поля завели разговор о ненавистных Гумилеву символистах.

В пылу разговора мы так и не заметили, что везем за собой пустые салазки, так как какой-то ловкач, воспользовавшись внезапно разыгравшейся вьюгой, срезал наши крепко прикрученные к салазкам мешки. Я был в отчаянии: что скажу я дома голодной семье, обреченной надолго остаться без хлеба?

Но Гумилев, не тратя ни секунды на вздохи и жалобы, сорвался с места и с каким-то воинственным криком ринулся преследовать вора – очень молодо, напористо, с такой неоглядной стремительностью, с таким, я бы сказал, боевым упоением, словно только и ждал той минуты, когда ему посчастливится мчаться по снежному полю, чтобы отнять свое добро у врага. Кругом было темно – из-за вьюги. Сквозь тусклую и зыбкую муть этого мокрого снежного шквала люди – даже те, что брели по ближайшей тропе, – казались пятнами без ясных очертаний. Гумилев мгновенно стал таким же пятном и исчез. Я ждал его

в тоске и тревоге.

Вернулся он очень нескоро и, конечно, ни с чем, но глаза его сияли торжеством. Оказывается, в этой мгле он налетел на какого-то мирного прохожего, который нес свой собственный мешок на спине, и, приняв его за нашего вора, стал отнимать у него этот мешок. Прохожий со своей стороны принял его за грабителя: громко закричал „караул“, и у них произошла потасовка, которая, хоть и кончилась победой прохожего, доставила поэту какую-то мальчишескую – мне непонятную – радость. Он возвратился ко мне триумфатором и, взяв за веревочку пустые салазки, тотчас же возобновил свою обвинительную речь против символизма, против творчества Блока, которую всегда начинал одной и той же канонической фразой:

– Конечно, Александр Александрович гениальный поэт, но вся система его германских абстракций и символов…

И больше о нашей катастрофе – ни слова» [9; 263–264].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Гумилев достает из шкафа кулек с «академическим изюмом».

– Я сегодня получил академический паек. И сам привез его на саночках, – рассказывает он. – Запрягся в саночки и в своей оленьей дохе чувствовал себя оленем, везущим драгоценный груз по тайге. Вы бы посмотрели, с какой гордостью я выступал по снегу [23; 72].

Николай Семенович Тихонов *(1896–1979), советский писатель, поэт, публицист, общественный деятель:*

Однажды он встретил меня в Доме искусств и спросил, не пойду ли я в дом Мурузи. Я сказал, что пойду.

– Ну, пойдемте вместе.

По дороге он предложил зайти на Миллионную, в здание ЦКБУ, где ему надо было получить паек. Я согласился. И вот я увидел очередь за пайком, в которой стояли самые известные ученые и поэты. И там я увидел Блока. Он был похож, как кто-то правильно сказал, на моряка, не военного, конечно, загорелый, очень серьезный.

Гумилев получил паек, положил его в рюкзак за плечи, и мы пошли. Пересекли Марсово поле, мимо Летнего сада вышли к старинной церкви святого Пантелеймона. Место это тогда было пустынное. Гумилев остановился против Пантелеймоновской церкви. Я не понял зачем. Оказывается, он дожидался прохожих. Вскоре появились какие-то женщины. При виде их он стал театрально креститься на церковь, и было заметно, что он хочет

обратить на себя внимание.

Женщины, конечно, остановились, потому что видеть человека, который так истово крестится на церковь, в то время было не совсем обычно.

Я тоже удивился, но ничего не сказал. Потом мы пошли в дом Мурузи [27; 122–123].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Проходя мимо церкви, Гумилев всегда останавливался, снимал свою оленью ушастую шапку и истово осенял себя широким крестным знамением, «на страх врагам». Именно «осенял себя крестным знамением», а не просто крестился.

Прохожие смотрели на него с удивлением. Кое-кто шарахался в сторону. Кое-кто смеялся. Зрелище действительно было удивительное. Гумилев, длинный, узкоплечий, в широкой дохе с белым рисунком по подолу, развевающемуся как юбка вокруг его тонких ног, без шапки на морозе, перед церковью, мог казаться не только странным, но и смешным.

Но чтобы в те дни решиться так резко подчеркивать свою приверженность к гонимому «культу», надо было обладать гражданским мужеством.

Гражданского мужества у Гумилева было больше, чем требуется. Не меньше, чем легкомыслия.

Однажды на вечере поэзии у балтфлотцев, читая свои африканские стихи, он особенно громко и отчетливо проскандировал:

Я бельгийский ему подарил пистолет
И портрет моего государя.

По залу прокатился протестующий ропот. Несколько матросов вскочило, Гумилев продолжал читать спокойно и громко, будто не замечая, не удостаивая вниманием возмущенных слушателей.

Кончив стихотворение, он скрестил руки на груди и спокойно обвел зал своими косыми глазами, ожидая аплодисментов.

Гумилев ждал и смотрел на матросов, матросы смотрели на него.

И аплодисменты вдруг прорвались, загремели, загрохотали.

Всем стало ясно: Гумилев победил. Так ему здесь еще никогда не аплодировали.

– А была минута, мне даже страшно стало, – рассказывал он, возвращаясь со мной с вечера. – Ведь мог же какой-нибудь товарищ-матрос, «краса и гордость красного флота», вынуть свой

небельгийский пистолет и пальнуть в меня, как палил в «портрет моего государя». И, заметьте, без всяких для себя неприятных последствий. В революционном порыве, так сказать.

Я сидела в первом ряду между двумя балтфлотцами. И так испугалась, что у меня, несмотря на жару в зале, похолодели ноги и руки. Но я не думала, что и Гумилеву было страшно.

– И даже очень страшно, – подтвердил Гумилев. – А как же иначе? Только болван не видит опасности и не боится ее. Храбрость и бесстрашие не синонимы. Нельзя не бояться того, что страшно. Но необходимо уметь преодолеть страх, а главное, не показывать вида, что боишься. Этим я сегодня и подчинил их себе. И до чего приятно. Будто я в Африке на львов поохотился. Давно я так легко и приятно не чувствовал себя [23; 65–66].

Владимир Казимирович Шилейко. *В записи П. Н. Лукницкого:*

Его пожирал голод (и всех нас). Во всех смыслах голод. И физический, и духовный…

Вся организационная работа делалась для денег, но у Николая Степановича был принцип – всему, что он делает, придавать какую-то субъективно-приятную окраску, и уж если приходится что-нибудь делать, то нужно, чтоб это было веселее. С Блоком они как-то вместе старались не оставлять <этот принцип> с самого начала [16; 212].

Виктор Яковлевич Ирецкий:

Я как-то шутливо сказал ему:

– Вы были бы хорошим купцом.

Он ответил серьезно:

– Я и есть купец. Я продаю стихи. И смею вас уверить, делаю это толковее других. Попробуйте-ка стихами прокормить семью. А я это делаю. И мне это даже нравится, потому что это всем кажется невозможным.

Отправляясь в свою последнюю поездку в Крым, он пришел ко мне в библиотеку и просил меня передать Дому Литераторов его предложение: пусть Дом Литераторов выдаст ему известную сумму денег; на эти деньги он приобретет изюм, сахар и белую муку; половину этого «товара» он возьмет себе, а другую часть отдаст Дому Литераторов.

Я обещал ему доложить об этом на ближайшем заседании, но не утерпел, чтобы не заметить:

– Вы, Николай Степанович, что-то не своим делом занимаетесь.

– Нет, нет, – возразил он серьезно. – Я предпочитаю добывать

себе еду таким способом, чем литературной халтурой. Вот халтурой заниматься не буду [13; 208].

Анна Андреевна Гумилева:

Когда я теперь отдаюсь воспоминаниям о моей совместной жизни с ним, то он представляется мне, каким я его видела в эти последние памятные мне дни. Бодрый, полный жизненных сил, в зените своей славы и личного счастья со своей второй хорошенькой женой, всецело отдававшийся творчеству. Ни тяжелые годы войны, ни еще более тяжелая обстановка того времени не изменили его морального облика. Он был все таким же отзывчивым, охотно делившимся с каждым всем, что он имел. Как часто приходили в дом разные бедняки! Коля никогда не мог никому отказать в помощи [9; 432–433].

«Заблудившийся трамвай»

Николай Авдеевич Оцуп:

Вероятно, будущим биографам поэта будет небезынтересно узнать, как и когда был написан «Заблудившийся трамвай», одно из центральных стихотворений «Огненного столпа». Гумилев в это время был со мной в самой тесной дружбе, дни и ночи просиживал у меня на Серпуховской. Ночь с 29-го на 30 декабря 1919 года мы провели у моего приятеля, импровизированного мецената, инженера Александра Васильевича К., по случаю договора, который он заключил с Гумилевым <…>.

Разумеется, К. переиздавать Гумилева не собирался, но, узнав, что поэт нуждается в деньгах, подписал бумагу, по которой автор «Колчана» получал 30 тысяч рублей. Мы веселились, пили, ночью нельзя было выходить, мы вышли уже под утро.

Когда мы направлялись к мосту, неожиданно за нами, несмотря на очень ранний час, загремел трамвай. Я должен был провожать даму, Гумилев пустился бежать.

Как я вскочил на его подножку,
Было загадкою для меня,
В воздухе огненную дорожку
Он оставлял и при свете дня…

На следующий день Гумилев читал мне «Заблудившийся трамвай» [9; 507].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Я зашла за Гумилевым в 11 часов утра, чтобы идти вместе с ним в Дом искусств.

Он сам открыл мне дверь кухни и неестественно обрадовался моему приходу. Он находился в каком-то необычайно возбужденном состоянии. Даже его глаза, обыкновенно сонные и тусклые, странно блестели, будто у него жар.

– Нет, мы никуда не пойдем, – сразу заявил он. – Я недавно вернулся домой и страшно устал. Я всю ночь играл в карты и много выиграл. Мы останемся здесь и будем пить чай.

Я поздравила его с выигрышем, но он махнул на меня рукой.

– Чушь! Поздравить вы меня можете, но совсем не с выигрышем. Ведь мне в картах, на войне и в любви всегда везет.

«Разве всегда?..» – спросила я себя. А он уже продолжал:

– Поздравить вы меня можете с совершенно необычайными стихами, которые я сочинил, возвращаясь домой. И так неожиданно, – он задумался на мгновение. – Я и сейчас не понимаю, как это произошло. Я шел по мосту через Неву – заря и никого кругом. Пусто. Только вороны каркают. И вдруг мимо меня совсем близко пролетел трамвай. Искры трамвая, как огненная дорожка на розовой заре. Я остановился. Меня что-то вдруг пронзило, осенило. Ветер подул мне в лицо, и я как будто что-то вспомнил, что было давно, и в то же время как будто увидел то, что будет потом. Но все так смутно и томительно. Я оглянулся, не понимая, где я и что со мной. Я постоял на мосту, держась за перила, потом медленно двинулся дальше, домой. И тут-то и случилось. Я сразу нашел первую строфу, как будто получил ее готовой, а не сам сочинил. Слушайте:

Шел я по улице незнакомой
И вдруг услышал вороний грай,
И звоны лир, и дальние громы –
Передо мной летел трамвай.

Я продолжал идти. Я продолжал произносить строчку за строчкой, будто читаю чужое стихотворение. Все, все до конца. Садитесь! Садитесь и слушайте!

Я сажусь тут же в кухне за стол, а он, стоя передо мной, взволнованно читает. <…>

Это совсем не похоже на прежние его стихи. Это что-то совсем новое, еще небывалое. Я поражена, но он и сам поражен не меньше меня.

Когда он кончил читать, у него дрожали руки, и он, протянув их вперед, с удивлением смотрел на них.

– Оттого, должно быть, что я не спал всю ночь, пил, играл в карты – я ведь очень азартный – и предельно устал, оттого, должно быть, такое сумасшедшее вдохновение. Я все еще не могу прийти в себя. У меня голова кружится. Я полежу на диване в кабинете, а вы постарайтесь вскипятить чай. Сумеете?..

«Это ведь почти чудо», – говорил Гумилев, и я согласна с ним. Все пятнадцать строф сочинены в одно утро, без изменений и поправок. <…>

Сам Гумилев очень ценил «Трамвай».

– Не только поднялся вверх по лестнице, – говорил он, – но даже сразу через семь ступенек перемахнул.

– Почему семь? – удивилась я.

– Ну, вам-то следует знать почему. Ведь и у вас в «Толченом

стекле» семь гробов, семь ворон, семь раз прокаркал вороний поп. Семь – число магическое, и мой «Трамвай» магическое стихотворение [23; 272–273].

Лев Владимирович Горнунг:

Богомазов, познакомившийся с Гумилевым в 1921 году в Москве, рассказывал, что тогда поэт читал стихи во многих литературных организациях (союзы писателей, поэтов, литературные кафе и пр.). В большой аудитории Политехнического музея Гумилев читал в дохе – Кузмин и прочие были в шубах. Во время чтения «Заблудившегося трамвая» в верхней боковой двери показался Маяковский с дамой. Он прислушался, подался вперед и так замер до конца стихотворения [10; 184].

Рядом с Блоком

Георгий Викторович Адамович:

Заслуживает внимания его отношение к Блоку. Гумилев высоко ценил его, никогда не позволял себе сколько-нибудь пренебрежительного отзыва о нем, но Блок ему мешал. Он предпочел бы, чтобы Блок остался одиночкой и, в особенности, чтобы не тянулись к нему отовсюду нити какой-то страстной любви. С любовью этой Гумилев поделать ничего не мог и бессилие свое сознавал. Это его раздражало. В последние годы жизни оба поэта стали друг друга чуждаться, даже совсем разошлись. Со стороны Гумилева ревность к Блоку и к окружающему его ореолу еще усилилась. Не знаю, отдавал ли он себе отчет в том, что поэтическое дарование его уступает блоковскому [9; 515].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Я смутно догадывалась, что Гумилев завидует Блоку, хотя тщательно скрывает это. Но разве можно было не завидовать Блоку, его всероссийской славе, его обаянию, кружившим молодые головы и покорявшим молодые сердца? Это было понятно и простительно.

Я знала, что со своей стороны и Блок не очень жалует Гумилева, относится отрицательно – как и Осип Мандельштам – к его «учительству», считает его вредным и не признает акмеизма. Знала, что Блок и Гумилев идейные противники.

Но я знала также, что их отношения в житейском плане всегда оставались не только вежливо-корректными (Блок был вежлив и корректен решительно со всеми), но даже не были лишены взаимной симпатии [23; 165].

Ольга Николаевна Гильдебрандт-Арбенина:

Отношения «человеческие» между ними были хорошие и простые. Но он сказал как-то, если бы в Блока стреляли, он бы его заслонил. Меня подобная «вассальность» взорвала. (Конечно, я ничего не сказала.) [20; 447]

Всеволод Александрович Рождественский:

А Блок относился к Гумилеву спокойно, если не сказать, сдержанно. Признавал его мастером стиха, и этим, видимо, все и ограничивалось. Когда Н. С. подарил ему один из своих сборников, Блок вежливо поблагодарил его и на следующий день принес «Седое утро» с такой надписью: «Н. С. Гумилеву, стихи

которого я читаю при ярком свете дня». В устах Блока это, видимо, значило, что поэзия Гумилева слишком ясна и понятна и что в ней нет того четвертого измерения, того лунного света, той ночной тревоги души, рвущейся к рассвету, которой так был богат его собственный мир [20; 416].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Сверкающий, пьянящий, звенящий от оттепели и капели мартовский день 1920 года.

В синих лужах на Бассейной, как в зеркалах, отражается небо и чудная северная весна.

Мы с Гумилевым возвращаемся из «Всемирной литературы», где он только что заседал.

– Вы посмотрите, какой я сегодня подарок получил. Совершенно незаслуженно и неожиданно. – Он на ходу открывает свой пестрый африканский портфель, достает из него завернутую в голубую бумагу книгу и протягивает мне.

– Представьте себе, я на прошлой неделе сказал при Блоке, что у меня, к сожалению, пропал мой экземпляр «Ночных часов», и вдруг он сегодня приносит мне «Ночные часы» с той же надписью. И как аккуратно по-блоковски запаковал. Удивительный человек!

Я беру книгу и осторожно разворачиваю голубую бумагу. На заглавном листе крупным, четким, красивым почерком написано:

Николаю Гумилеву
стихи которого я читаю не только днем, когда не понимаю, но и ночью, когда понимаю.

Ал. Блок

Господи, я отдала бы десять лет своей жизни, если бы Блок сделал мне такую надпись. <…>

– Николай Степанович, вы рады? Очень, страшно рады?

Гумилев не может сдержать самодовольной улыбки. Он разводит руками.

– Да. Безусловно рад. Не ожидал. А приходится верить. Ведь Блок невероятно правдив и честен. Если написал, значит – правда. – И, спохватившись, добавляет: – Но до чего туманно, глубокомысленно и велеречиво – совсем по-блоковски. Фиолетовые поля, музыка сфер, тоскующая в полях «мировая душа»!.. <…> Вы понимаете, что значит «ночью, когда я понимаю»? – спрашивает Гумилев. – Понимаете? А я в эти ночные прозрения и ясновидения вообще не верю. По-моему, все стихи,

даже Пушкина, лучше всего читать в яркий солнечный полдень. А ночью надо спать. Спать, а не читать стихи, не шататься пьяным по кабакам. Впрочем, как кому. Ведь Блок сочинял свои самые божественные стихи именно пьяным в кабаке[23; 165–166].

Всеволод Александрович Рождественский:

Отношение их друг к другу не было равным. Гумилев действительно высоко ценил Блока как поэта, был автором восторженной статьи о нем в журнале «Аполлон», и вместе с тем ему было чрезвычайно досадно, что Александр Александрович не разделяет его взглядов на поэзию. Блок отдавал должное эрудиции Гумилева, но к гумилевским стихам относился без всякого энтузиазма. «Это стихи только двух измерений», – заметил он как-то, не то с досадой, не то с чувством какой-то внутренней обиды.

Однажды после долгого и бесплодного спора Гумилев отошел в сторону явно чем-то раздраженный.

– Вот смотрите, – сказал он мне. – Этот человек упрям необыкновенно. Он не хочет понять самых очевидных истин. В этом разговоре он чуть не вывел меня из равновесия…

– Да, но вы беседовали с ним необычайно почтительно и ничего не могли ему возразить.

Гумилев быстро и удивленно взглянул на меня.

– А что бы я мог сделать? Вообразите, что вы разговариваете с живым Лермонтовым. Что бы вы могли ему сказать, о чем спорить? [21; 226–227]

Георгий Петрович Блок. *Из письма Б. А. Садовскому. Петербург, 12 шюля 1921 г.:*

Понравилось мне в нем, что об Алекс<андре> Алекс<андровиче> он говорил хорошо: «Я не потому его люблю, что это лучший наш поэт в нынешнее время, а потому, что человек он удивительный. Это прекраснейший образчик человека. Если бы прилетели к нам Марсиане и нужно было показать им человека, я бы только его и показал – вот, мол, что такое человек» [28; 5].

Союз поэтов

Всеволод Александрович Рождественский:

Такая организация действительно возникла, причем Гумилев и его группа были в числе ее зачинателей. Блока долго упрашивали стать председателем и добились его согласия не без труда. С первых же заседаний резко определились разногласия по поводу назначения и цели этого объединения. Блок видел смысл его существования в том, что поэты – и старшего, и молодого поколения – должны действенно участвовать в строительстве новой культуры. Его прежде всего занимал вопрос о назначении поэзии, о соотношении личности и общества. Гумилев же с позиций акмеизма отстаивал самостоятельность искусства и полную его независимость от требований общественной жизни. «Искусство вне всякой политики» – вот что было его основным требованием. И в первую очередь его занимали проблемы чисто формального характера, сама техника поэтического творчества. С этим Блок никак не мог согласиться, он видел в поэзии нечто большее и не мыслил себе поэта вне окружающей его эпохи и вне того, что называл он «воздухом времени», его «музыкальным» началом. И возникали на этой почве бесконечные, порою довольно жаркие споры.

Новорожденному «Союзу поэтов» поначалу приходилось в основном заниматься чисто бытовыми делами: организацией публичных выступлений, хлопотами о продовольственных пайках, о жилищном устройстве, о приеме новых членов и т. д. Но почти всегда завершалось это стихийно возникающей дискуссией на принципиальные темы, что было, конечно, самым интересным для всех ее участников. Порою, устав от пылких, но ни к чему не приводящих разговоров, кто-нибудь предлагал закончить затянувшееся заседание мирным чтением стихов. И тогда Правление превращалось в некое подобие поэтического «устного альманаха», который с успехом можно было бы вынести и на широкую аудиторию [20; 416–417].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Из Москвы в Петербург прибыла молодая поэтесса Надежда Павлович с заданием организовать петербургский Союз поэтов, по образцу московского. Задание свое она выполнила с полным успехом – на все 120 процентов. Председателем был избран Блок. Сама Павлович занимала видное место в правлении, чуть ли не секретарское. Имена остальных членов правления, кроме Оцупа и Рождественского, я забыла.

Союз поэтов, как и предполагалось по заданию, был «левым», и это, конечно, не могло нравиться большинству петербургских поэтов. К тому же стало ясно, что Блок хотя и согласился «возглавить» Союз поэтов, всю свою власть передаст «Надежде Павлович с присными».

Выгод от такого правления петербургским поэтам ждать не приходилось. Гумилев же был полон энергии, рвался в бой, желая развить ураганную деятельность Союза на пользу поэтам. Лагерь Павлович «с присными» был силен и самоуверен. Ведь его поддерживала Москва, и все же ему пришлось потерпеть поражение. Гумилев проявил в этой борьбе за власть чисто макиавеллистические способности. Придравшись к тому, что правление Союза было выбрано без необходимого кворума, некоторые поэты потребовали перевыборов. На что правление легко согласилось, предполагая, что это простая формальность и оно, конечно, останется в своем полном и неизменном составе. Но в гумилевском лагере все было рассчитано и разыграно виртуозно; на перевыборах совершенно неожиданно была выставлена кандидатура Гумилева, который и прошел большинством… в один голос. Результат перевыборов ошеломил и возмутил прежнее правление.

– Это Пиррова победа, – горячилась Павлович, – мы этого так не оставим. Мы вас в порошок сотрем!

В Москву полетели жалобы. Но вскоре выяснилось – ничего противозаконного в действиях Гумилева не усматривалось. Все, по заключению экспертов, было проведено так, что и «комар носа не подточит». Хотя Блок нисколько не держался за свое председательство, все же провал не мог не оскорбить его. Но он и вида не показал, что оскорблен. Когда новое правление во главе с председателем Гумилевым и секретарем Георгием Ивановым отправилось к нему с визитом, Блок не только любезно принял его, но нашел нужным «отдать визит», посетив одну из пятниц, устраиваемых Союзом на Литейном [23; 95–96].

Вера Иосифовна Лурье:

Мне пришлось раз видеть Гумилева на официальном собрании Союза поэтов, он читал доклад о работе Союза, о своей поездке в Крым, еще ему удалось выхлопотать дом для писателей. В каждом слове его чувствовался большой организатор, будто он и родился, чтоб сделаться руководителем общественного движения [17; 10].

Литературная студия в Доме искусств

Ирина Владимировна Одоевцева:

Литературная студия открылась летом 1919 года.

Помещалась она на Литейном в доме Мурузи, в бывшей квартире банкира Гандельблата.

Подъезд дома Мурузи был отделан в мавританском стиле «под роскошную турецкую баню», по определению студистов.

Когда-то, как мне сейчас же сообщили, в этом доме жили Мережковский и Зинаида Гиппиус, но с другого подъезда, без восточной роскоши.

В квартире банкира Гандельблата было много пышно и дорого обставленных комнат. Был в ней и концертный зал с эстрадой и металлической мебелью, крытой желтым штофом.

В первый же день Гумилев на восхищенное восклицание одной студистки, ощупавшей стул: «Да весь он из серебра. Из чистого серебра!» – ответил тоном знатока:

– Ошибаетесь. Не из серебра, а из золота. Из посеребренного золота. Для скромности. Под стать нам. Ведь мы тоже из золота. Только для скромности снаружи высеребрены.

«Мы», конечно, относилось к поэтам, а не к студистам. <…>

Одновременно со мной в Студию поступили Раиса Блох, талантливейший рано умерший Лева Лунц, Нельдихен, еще не успевший кончить школы Коля Чуковский и Вова Познер, Шкапская и Ада Оношкович-Яцына.

Ко времени открытия Студии Гумилев уже успел многому научиться и стать более мягким. Разбор стихов уже не представлял собой сплошного «избиения младенцев». <…>

На первой лекции Гумилева мы сами читали свои стихи, и Гумилев высказывал снисходительные суждения.

<…> Хотя Гумилев победил уже свою застенчивость и сумел отделаться от «бесчеловечной жестокости выносимых им приговоров», но он еще не понимал своей аудитории, недооценивал ее критического отношения и ее умственного развития. Он старался во что бы то ни стало поразить ее воображение и открыть перед ней еще неведомые горизонты. Он не умел найти нужного тона и держался необычайно важно и торжественно.

И в Студии многие не выдерживали его «учебы». С каждой лекцией у Гумилева становилось все меньше слушателей.

Но Гумилев, сохраняя олимпийское величие, оглядывал редеющие ряды своих слушателей:

– Я очень рад, что никчемный элемент отпадает сам собой.

Много званых, мало избранных, – и он поднимал, как бы призывая небо в свидетели, свою узкую руку.

В Студии занятия происходили ежедневно. <…> [23; 34–35]

Вера Иосифовна Лурье:

Как сейчас помню октябрьский петербургский день, туманное небо, моросит, прыгаю через лужи на Исаакиевской площади, и бегу в Дом Искусства, на углу Мойки и Невского на лекцию «Теории поэзии». Ник<олай> Степ<анович> читает раз в неделю, по средам от 6 до 8 часов вечера.

Вхожу в боковую маленькую столовую против кухни, там происходили занятия. Длинная узкая комната, посредине стол, покрытый белой скатертью, вокруг стола студисты, а спиной к двери перекинув ногу на ногу – лектор.

Т<ак> к<ак> я опоздала на три лекции, то забираюсь в конец комнаты и из своего угла разглядываю Гумилева; у него над левым глазом темное пятно, и все время пускает он густые кольца дыма; на столе перед ним лежит темная черепаховая коробка с папиросами, ну совсем большая мыльница (без нее нельзя себе и представить Ник<олая> Степановича) [17; 7].

Ида Моисеевна Наппельбаум:

Николай Степанович клал перед собой на стол портсигар из черепахи, похожий по форме на большой очечник, широко раскрывал его, как-то по-своему играя кончиками пальцев, доставал папиросу, захлопывал выпуклую крышку и отбивал об нее папиросу. И далее, весь вечер, занимаясь с нами, цитируя стихи, он отстукивал по крышке ногтем. У меня было ощущение, что этот портсигар участвует в наших поэтических занятиях [19; 24–25].

Владимир Казимирович Шилейко. *В записи П. Н. Лукницкого:*

И он садился за стол, высоко закидывая ногу. Все слушали его голос, и до того, что он говорил, всем было все равно, как и ему самому (он чувствовал это). И нам это быстро наскучивало. Он нашел выход, которым мы воспользовались. Он давал темы, и все писали стихи. А сам мог сидеть в уголке и молчать… В первые дни все очень горячо увлеклись. И тогда он читал… Не знаю, как в других студиях, а здесь его очень любили [16; 214].

Ида Моисеевна Наппельбаум:

Мы читали стихи по кругу. Разбирали, критиковали, судили.

Николай Степанович был требователен. Он говорил: «Если поэт, читая свои новые стихи, забыл какую-то строку – значит, она плоха, ищите другую».

Гумилев мечтал сделать поэзию точной наукой, своеобразной математикой. Ничего потустороннего, недоговоренного, никакой мистики, никакой зауми. Есть материал – слова, найди для них наилучшую форму, вложи в эту форму материал и отлей фигуру – как стальную. Только формой можно выразить конкретную мысль, заданную поэтом. Надо беспощадно бороться за эту исключительную точность формы: ломать, отбрасывать, менять… [19; 24]

Николай Корнеевич Чуковский:

Чтобы легче было овладевать приемами, он их систематизировал. Эта систематизация и была, по его мнению, теорией поэзии.

Теория поэзии, утверждал он, может быть разделена на четыре отдела: фонетику, стилистику, композицию и эйдологию. Фонетика исследует звуковую сторону стиха – ритмы, инструментовку, рифмы. Стилистика рассматривает впечатления, производимые словом, в зависимости от его происхождения. Все слова русской речи Николай Степанович по происхождению делил на четыре разряда: славянский, атлантический, византийский и монгольский. В славянский разряд входили все исконно русские слова, в атлантический – все слова, пришедшие к нам с запада, в византийский – греческие, в монгольский – слова, пришедшие с востока. Композиция тоже делилась на много разрядов, из которых главным было учение о строфике. Эйдологией он называл учение об образе (эйдос – идол – образ).

Так как каждый отдел и каждый раздел делились на ряд подотделов и подразделов, то всю теорию поэзии можно было вычертить на большом листе бумаги в виде наглядной таблицы, что мы, участники семинара, и обязаны были делать с помощью цветных карандашей. Подотделы и подразряды располагались на этой таблице таким образом, что составляли вертикальные и горизонтальные столбцы. Любое стихотворение любого поэта можно было вчертить в эту таблицу в виде ломаной линии, отдельные отрезки которой располагались то горизонтально, то вертикально, то по диагонали. Чем лучше стихотворение, тем больше различных элементов будет приведено в нем в столкновение и, следовательно, тем больше углов образует на таблице выражающая его линия. Линии плохих стихов пойдут напрямик – сверху вниз или справа налево. Таким образом, эта

таблица, по мнению ее создателя, давала возможность не только безошибочно и объективно критиковать стихи, но и писать их, не рискуя написать плохо.

<…> Вся эта наивная схоластика была от начала до конца полемична. Она была направлена, во-первых, против представления, что поэзия является выражением тайного тайных неповторимой человеческой личности, зеркалом подлинной отдельной человеческой души, и, во-вторых, против представления, что поэзия отражает общественные события и сама влияет на них. В те годы оба эти враждебные Гумилеву представления о поэзии с особой силой были выражены в творчестве Блока. <…> И все эти таблицы с анжамбеманами, пиррихиями и эйдолологиями были вызовом Блоку [29; 40–41].

Вера Иосифовна Лурье:

Гумилев не разговаривал с нами (студистами. – Сост.) вне занятий, казалось совсем немыслимым с ним сблизиться и сдружиться. Но вот настал момент перелома в отношениях лектора и его слушателей: читал стихи Константин Вагинов, Гумилев сразу почувствовал в нем поэта, заинтересовался и постепенно стал приближаться к своим слушателям. К весне мы были друзьями; а раз полюбив нас и поверив в наше действительное желание работать, Николай Степанович стал терпеливо переносить даже совсем слабые стихи, не насмехался больше, напротив, давал советы и обнадеживал! [17; 7]

Ида Моисеевна Наппельбаум:

Среди молодых поэтов нашей студии Николай Степанович выделял двоих – Константина Вагинова и мою сестру. У Фредерики было свое лицо, своя точка зрения, своя поэтика. И мэтр это сразу обнаружил и признал. <…> Николай Степанович на одной из своих книг учинил ей такую (надпись. – Сост.): «Доблесть твоя, о, единственный воин, как и милость моя, не имеет конца». Стихи Фредерики были напечатаны в сборнике «Звучащая Раковина», изданном в 1922 году, а в 1926 году вышли отдельной книгой в Ленинграде.

И Вагинов, и моя сестра были поэтами совсем иного поэтического склада, нежели Гумилев. Но здесь проявилась его литературная широта. Его нельзя упрекнуть в нивелировке. Это неверно, что он влиял на работу своей студии. Он поразительно умел беречь индивидуальность каждого [19; 27].

Владимир Казимирович Шилейко. *В записи П. Н. Лукницкого:*

В период существования студии на Литейном в доме Мурузи мы много смеялись на переменах. Прятали шляпы… [16; 214]

Ида Моисеевна Наппельбаум:

Вторая часть наших студийных занятий проходила во всевозможных литературных играх, особенно часто играли в буриме. Задавались рифмы, каждый сочинял строку по кругу, и должно было получиться цельное стихотворение. Николай Степанович охотно принимал в этом участие.

Устраивались игры и после занятий, но уже в гостиной. Мы рассаживались на ковре, к нам присоединялись «взрослые» барды из «Цеха поэтов» – Николай Оцуп, Георгий Иванов, Георгий Адамович, Всеволод Рождественский, Ирина Одоевцева – и разговор велся стихами. Как мячом, перебрасывались мы поэтическими строчками. Тут были и шутки, и шарады, и лирика, и даже нечто вроде объяснений в любви [19; 25–26].

Вера Иосифовна Лурье:

После лекций устраивались игры в кошки-мышки, японские жмурки и т. п. Все собирались в проходной комнате подле концертной залы; инициатором игр был обычно Гумилев. Ясно помню его в парчовой повязке на лице (ее носила вместо шляпы одна барышня, а мы ею завязывали во время игр глаза), один подбородок из-под нее торчит, и уже ничего не увидишь; руками размахивает он, точно птица крыльями, и ноги быстро длинные выкидывает, на столы и стулья наскакивает, зато и поймает скоро кого-нибудь [17; 9].

«Звучащая раковина»

Ида Моисеевна Наппельбаум:

В конце зимы 1921 года мы почувствовали необходимость в создании Объединения. Имя ему придумал сам мэтр. «Звучащая Раковина», – сказал он после недолгого размышления. Не каждому из нас оно пришлось по вкусу: некоторым казалось, что мы уже течение, литературное явление, как вдруг… всего лишь раковина.

Но он был совершенно прав. Пусть каждый поет на свой лад еще не окрепшим голосом. Это еще не оркестр. И все же «Звучащая Раковина» уже несет в себе отзвуки великого океана Поэзии [19; 28–29].

Николай Корнеевич Чуковский:

«Звучащая Раковина» представлялась Николаю Степановичу в виде молодежной организации при «Цехе поэтов». Организационное единство должно было выражаться в том, что он стал главой обеих организаций. Он был объявлен Синдиком «Звучащей Раковины» [29; 42].

Николай Семенович Тихонов:

В «Звучащей раковине» было человек десять – двенадцать по-моему, не больше.

Очень известный в то время фотограф Наппельбаум, он снимал даже Ленина, покровительствовал поэтам. Его дочери Фрида и Ида писали стихи и были в студии Гумилева. Наппельбаум приглашал к себе поэтов и устраивал вечера. Так как молодых поэтов было много, то сидели просто на полу, и иногда им выдавали по бутерброду. А если появлялись маститые, те садились на стулья. И все читали по очереди стихи.

Стихов было бесконечное количество. А бородатый старик Наппельбаум появлялся и умильно смотрел на своих читающих дочек. Он дал деньги на выпуск сборника «Звучащая раковина». Мало того, на его деньги был выпущен альманах «Город» [27; 123].

Вера Иосифовна Лурье:

Студию Дома Искусства посещали две дочери фотографа Наппельбаума, фотография их отца помещалась на Невском проспекте, недалеко от Николаевского вокзала. У них в квартире мы тоже иногда собирались, туда же приходил Николай Степанович. У меня сохранилась фотография, снятая незадолго

до его смерти.

Николай Степанович сидит в середине группы, в правой руке он держит папиросу. Руки у него были очень красивые, длинные и тонкие пальцы. И кажется мне он таким молодым, почти мальчиком на этом снимке. Рядом с ним сидит Ирина Одоевцева с большим бантом в волосах, который она в те годы постоянно носила, у ног его расположился, почему-то в кепке на голове, поэт Георгий Иванов, слушатели его лекций стоят вокруг него, совсем позади виднеется голова Николая Тихонова [9; 559].

Посередине странствия земного

Виктор Яковлевич Ирецкий:

Критики и исследователи творчества Гумилева много раз указывали, что к концу своей жизни он был полон предчувствия приближающейся смерти. Должен сказать, что, наблюдая его последние три года, я этого не замечал. Наоборот, несмотря на невзгодливое бытие того времени, он был жизнерадостен, энергичен, полон надежд. Его книга стихов «Огненный столп» была еще в печати, а он уже продумал заголовок следующей своей книги, смысл которого подчеркивал середину, а не конец: книга должна была называться «Посредине странствия земного». Стоит также отметить, что в последние месяцы перед своей гибелью он был влюблен, и далеко не безнадежно. И, вернувшись с юга, загорелый, бодрый, он в сравнении с нами, прозябавшими под бледным петербургским небом, казался сияющим от радостно-здоровой полноты жизнечувствия.

Я скажу больше. Мы тогда все были подавлены и угнетены. Мы начинали забывать, что такое смех. Над нами беспросветно нависало черное солнце меланхолии, и упорно донимала нас мысль, что никогда оно не сойдет с неба. А Гумилев как ни в чем не бывало ходил по русской долине смерти и не только никогда вслух не скорбел, не жаловался – а, напротив, воспринимал сущее спокойно, с легкой усмешкой.

Я даже как-то сказал ему:

– Вы как будто и не замечаете того, что творится вокруг.

– Ну, как не замечаю! – недовольно ответил Гумилев. – Отлично вижу. Но я ведь вам когда-то говорил, что люблю пути наибольшего сопротивления. Чтобы было что преодолевать. А теперь есть что преодолевать: опрощение, тиф, голод, Чека. Опасности на каждом шагу. Чем – не Африка! [13; 209–210]

Георгий Владимирович Иванов:

За полгода до смерти Гумилев сказал: «Знаешь, я смотрел, как кладут печку, и завидовал – знаешь, кому? – кирпичикам. Так плотно их кладут, так тесно и еще замазывают между ними каждую щелку, чтобы нигде не дуло. Кирпич – к кирпичу. Друг – к другу, все вместе – один за всех, все за одного… Самое страшное в жизни – одиночество. А я так одинок…»

И, точно недоумевая, прибавил:

– В сущности, я – неудачник [9; 471].

Ирина Владимировна Одоевцева:

У него усталый, грустный вид. Он вздыхает.

– А как я любил Рождество. Всегда любил. Для меня, – говорит он, – слова «рождество», «сочельник», «елка» казались совсем особенными, магическими, полными тайны. Но я мальчиком-гимназистом скрывал это, снобировал, считал елку пережитком детства. Мне очень хотелось казаться взрослым, поскорее выкарабкаться из всего, что связано с детством, а теперь наоборот – мне часто хочется нырнуть туда, в глубь детства, на самое дно его, не только в младенчество, но даже в до-младенчество, в до-рождения, улечься там в утробной позе, сося большой палец в блаженном безмыслии. Не в бессмыслице, а в безмыслице.

Он смеется:

– Надоело быть взрослым, вечно быть взрослым.

Он подбрасывает новое полено в печку.

– Мне бы хотелось, чтобы тут в углу стояла пышная елка до потолка, вся в золоте и серебре, в звездах и елочных свечках. И чтобы много подарков под ней лежало [23; 213].

Георгий Владимирович Иванов:

Убирать квартиру приходила дворничиха Паша. Она очень любила слушать стихи.

– Почитайте что-нибудь, Николай Степанович, пока я картошку почищу.

– А по-французски можно?

– Что желаете.

Гумилев читал вслух Готье, Паша чистила картошку, сочувственно вздыхая. Гумилев начинал фантазировать: «Погодите, Паша, вот скоро большевиков прогонят, будете вы мне на обед жарить уток». – «Дай Бог, Николай Степанович, дай Бог». – «Я себе тогда аэроплан куплю. Скажу: Паша, подайте мне мой аэроплан. Я полетаю до обеда недалеко – вон до той тучки». – «Дай Бог, дай Бог!»

Гумилев вставал поздно, слонялся полуодетый по комнатам, читал то Блэка, то «Мир приключений», присаживался к столу, начинал стихи, доедал купленные вчера сладости.

– Это и есть самая приятная жизнь, – говорил он [9; 470].

Лев Владимирович Горнунг:

В. А. Павлов – москвич, но в 1921 году жил в Петрограде и, увлекаясь поэзией, вращался в литературных кругах, и в частности входил в ближайшее окружение Гумилева.

В начале 1921 года Гумилев предложил ему поехать вместе в Крым, в Севастополь.

<…> В. А. Павлов служил в то время флаг-секретарем коморси[33] Немитца. В июне Гумилев и Павлов приехали в Москву и уже отсюда, в салон-вагоне коморси Немитца, отправились в Севастополь [10; 184].

Г. Лугин:

В июле приехал в Москву Гумилев. Гумилев читал свои стихи в «Кафе поэтов» и вышел из этого испытания с честью. Читал, как обычно, – чуть глуша голос, придавая ему особую торжественность. Скрестив руки, вернее, обхватив локти и чуть приподняв плечи, бросал он с эстрады свои строки. Стихи врезались в память, подчиняли себе, смиряли буйную вольницу презентистов, эгоцентристов, евфуистов и ничевоков, разбивших в этом кафе свое становье.

Толпившиеся на этом проходном дворе богемы литературные школяры хоть и были отрицателями, но достигли определенного возраста и Гумилева слушали внимательно. Гумилев читал «Молитву мастеров»:

…Храни нас, Господи, от тех учеников,
Которые хотят, чтоб наш убогий гений
Кощунственно искал все новых откровений…

…Что создадим мы впредь, на это власть Господня,
Но что мы создали, то с нами по сегодня.

Прочтя «Молитву», Гумилев сухо отклонил приглашение послушать ничевоков и направился к выходу. Ему и его спутникам следовало подумать об ином – где ночевать?

Беседуя о слышанном, перебрасываясь словами, пробирались мы к выходу под необычный аккомпанемент. Кто-то неподалеку – должно быть, «про себя», но вслух – читал стихи Гумилева. Одно стихотворение сменялось другим. Набегавшие валы лирической пены казались декламационной фантасмагорией.

Стихи Гумилева читал не бледный юноша, не литературный денди, не истомленная ночными бдениями девушка. Стихами Гумилева опьянялся мужчина в кожаной куртке и в галифе казенного сукна. Крепко пришитая к плечам голова, крупные черты лица, обрамленного черной бородой, чуть кривоватые под тяжестью тела, мускулистые, в обмотках, ноги. Лицо библейского склада.

– Это что за Самсон? – вырвалось у Гумилева.

– Вас не удивляет, что я читаю ваши стихи? – спросил незнакомец.

– Нет, – церемонно ответил Гумилев.

– Мне запомнились все ваши стихи, – расплылся в улыбке незнакомец.

– Это меня радует. – И Гумилев, прощаясь, протянул незнакомцу руку.

Тот по-прежнему просто, пожимая протянутую руку, называет себя:

– А я Блюмкин…

Стаяла чуть торжественная напыщенность Гумилева. По-юношески непосредственно вырвалось:

– Вы – тот самый?

– Да, тот самый.

– И снова рукопожатия и слова Гумилева, чуть напыщенные и церемонные:

– Я рад, когда мои стихи читают воины и сильные люди.

Ночевать предстояло у Бориса Пронина. Путь лежал по бесчисленным московским переулкам – кривоколенным, с тупичками, выгибами, площадками. Гумилеву был чужд этот «город вязевый». Он не понимал его, не любил. Всю дорогу Гумилев говорил о Блюмкине, вспоминая и других своих читателей – «сильных, злых и смелых» воинов и охотников, любивших его стихи. «Это все потому, что я не оскорбляю их неврастенией и не унижаю душевной теплотой».

Человек, среди толпы народа
Застреливший императорского посла,
Подошел пожать мне руку,
Поблагодарить за мои стихи…

Эти строки – о той московской ночи, о встрече двух будущих смертников [16; 252–253].

Лев Владимирович Горнунг:

У Н. С. Гумилева с собой была рукопись «Шатра». В Севастополе с помощью Павлова ему удалось в очень короткий срок напечатать эту небольшую книжку на плохой бумаге, в синей обложке, для чего была использована оберточная бумага для сахарных голов. Рукопись Гумилев подарил тут же Павлову, а весь тираж книги увез с собой в Петроград [10; 184].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Гумилев вернулся в Петербург в июле 1921 года в Дом искусств, куда он переехал с женой, еще до своего черноморского путешествия.

Гумилев всегда отличался огромной работоспособностью и активностью, хотя и считал себя ленивым, а теперь, отдохнув и освежившись за время плаванья, просто разрывался от энергии и желания действовать.

Он только что учредил Дом поэтов, помещавшийся в доме Мурузи на Литейном. В том самом доме Мурузи, где когда-то находилась Литературная студия, с которой и начался, по его определению, весь «Новый Завет». <…>

Дом поэтов своего рода клуб, почти ежевечерне переполняемый публикой.

Гумилев нашел необходимого капиталиста – некоего Кельсона. Гумилев уговорил своего брата Димитрия, юриста по образованию, стать юрисконсультом Дома поэтов и даже… кассиром. Гумилев всем заведует и все устраивает сам. Он душа, сердце и ум Дома поэтов. Он занимается им со страстью и гордится им.

В Доме поэтов очень весело. Судя по аплодисментам и смеху посетителей, им действительно очень весело, но нам, участникам и устроителям, еще гораздо веселее, чем им. <…>

Гумилев мечтал создать из Дома поэтов что-то совершенно небывалое.

Кроме чтения стихов, предлагается еще и «сценическое действо», сочиненное и разыгранное поэтами.

– Я чувствую, что во мне просыпается настоящий Лопе де Вега и что я напишу сотни пьес, – говорит он смеясь. – Они будут ставиться у нас, как в Испании XVII века, грандиозно и роскошно, со всяческими техническими усовершенствованиями и музыкальным аккомпанементом.

Пока же представления скорее походят на веселый балаган.

Гумилев, большой поклонник и почитатель д'Аннунцио, решил достойно почтить его на сцене Дома поэтов.

Сюжетом для одного из первых спектаклей послужило взятие Фиуме.

Несмотря на то, что в Доме поэтов еще отсутствовали «технические усовершенствования», сражения на воде и суше происходили в невероятном грохоте и треске «орудий».

Гумилев, конечно, играл главную роль – самого д'Аннунцио и был довольно удачно загримирован по его портрету.

Мне поручили «символическое воплощение победы», что было нетрудно.

Мне полагалось только носиться по полю сражения с распущенными волосами и лавровым венком в протянутой руке, а в сцене апофеоза возложить лавровый венок на чело д'Аннунцио – «увенчать его славой».

Все шло благополучно, но когда я, стоя за спиной сидящего на табурете д'Аннунцио, торжественно возложила венок на его голову, венок сразу соскользнул на его глаза и нос. Мне пришлось снять его и держать его над его головой в вытянутой руке.

Гумилев не изменил своей величественной позы и, сохраняя невозмутимое спокойствие, «даже бровью не повел».

Уже за кулисами он, указывая широким жестом на себя и на меня, произнес с трагикомическим пафосом:

– Венчанный и развенчанный победой.
Нет, не д'Аннунцио, а Гумилев!.. –

и только тогда присоединился к неудержимому хохоту всех участников «Взятия Фиуме» [23; 277–278].

Вера Иосифовна Лурье:

Как-то говорю ему, что собираюсь за границу, он обещал позже приехать и в Париже, Берлине или Лондоне устроить поэтическую студию. А затем собирался в Петрограде сильно расширить работу, увеличить количество лекций и включить новые предметы, тесно примыкающие к теории и истории поэзии. Вообще у Ник<олая> Степ<ановича> было, много планов [17; 9].

Виктор Яковлевич Ирецкий:

Уже была закончена набором его последняя книга «Огненный столп». Уже были даже отпечатаны два листа. Однажды вечером, когда я сидел в издательстве «Петрополис», кто-то занес письмо от Гумилева. Поэт просил, если возможно, вставить в книгу еще одно стихотворение, крайне важное, по его мнению, для цельности книги. Оно называлось: «Мои читатели». Издатель прочел его вслух. Строки стихотворения, говорившие о том, что автор во всех своих книгах всегда учил читателей спокойно смотреть смерти в глаза, остановили наше внимание.

– Чего это он вдруг? – пожал плечами издатель.

– Кокетничает! – заметил я.

Это случилось за несколько дней до ареста Гумилева. Впоследствии, когда его уже расстреляли, мы вспомнили об этих строках. А заключительным фактом этих грустных воспоминаний было еще более грустное обстоятельство, тут же установленное: стихи «Мои читатели» оказались последним произведением Гумилева [13; 210].

Георгий Владимирович Иванов:

Был не жаркий, только теплый, только солнечный август 1921 года. Гумилев вернулся в Петербург из путешествия по югу России. Он ходил по городу загорелый, поздоровевший и очень довольный. В его жизни – он говорил – наступила счастливая полоса: вот и поездка в Крым, устроившаяся фантастически-случайно, была прекрасна, и новая квартира, которую нашел Гумилев, очень ему нравилась, и погода – «посмотрите, что за погода!».

Литературные дела тоже его радовали. Был «нэп», появилось много издательств – одно покупало собрание стихов Гумилева, другое выпускало его статьи и прозу. «Огненный столп» был в печати. На днях из Москвы должны были приехать актеры, чтобы ставить «Гондлу». Это Гумилеву было особенно приятно. С постановкой на сцене пьесы его имя проникало в новые слои публики, его влияние расширялось. Вообще влияние Гумилева, его известность росли на глазах. Все больше становилось у него поклонников и учеников, все чаще его имя, как равное, противопоставлялось имени Блока.

С уверенностью могу сказать, что ничто или почти ничто не омрачало этих – последних – дней Гумилева. Он был здоров, полон надежд и планов, материально и душевно все складывалось для него именно так, как ему хотелось. Это ощущение полноты жизни, расцвета, зрелости сказалось и в заглавии, которое он тогда придумал для своей будущей книги: «По середине странствия земного».

Прибавлю, что в эти теплые, ясные августовские дни Гумилев был влюблен – и это была счастливая любовь… [9; 459–460]

Вера Иосифовна Лурье:

Совсем незадолго до своего ареста Гумилев на одном вечере поэтов (в Доме Искусства) выпустил некоторых из своих учеников, причем трогательно волновался за них, советовал, что им читать, и явно гордился их успехом. За неделю до своего ареста Н<иколай> С<тепанович> разбирал свой сборник «Шатер», изданный незадолго до этого в Севастополе; хочу передать несколько интересных, сделанных им самим пояснений: он собирался написать о каждой стране сборник стихов, причем у каждой страны был свой стихотворный размер; у Европы, например, ямб; но удалось ему только создать «Шатер», посвященный Африке.

Гумилев называл этот сборник романом в стихах, героем которого явился европеец, влюбленный в девственную, жестокую Африку:

Оглушенная ревом и топотом,
Облеченная в пламень и дымы,
О тебе, моя Африка, шепотом
В небесах говорят серафимы.

Этими строками начинается посвящение «Шатра» [17; 11].

Георгий Владимирович Иванов:

Свой последний вечер на свободе он провел в им же основанном «Доме Поэтов» в кругу преданно-влюбленной в него литературной молодежи. Как всегда, сначала «занимались» – читали и обсуждали стихи, потом бегали, кувыркались, играли в фанты. Гумилев очень любил и это общество, и это времяпрепровождение и всегда веселился от души [9; 460].

Вера Иосифовна Лурье:

А в день своего ареста он подарил нам «Шатер» с надписями, был удивительно в духе и каждому надписывал подходящую строчку из сборника же. Затем все играли в «кошки-мышки» в маленькой столовой, где происходили занятия. Он просил меня его ловить, я ленилась бегать, он настаивал – согласилась.

Не думала я, что то была наша последняя встреча. Когда я уходила, Ник<олай> Степ<анович> сидел у окна, как всегда, слегка согнувшись, низко подал свою белую руку с длинными тонкими пальцами [17; 11].

Георгий Владимирович Иванов:

Несколько студистов провожали его через весь Невский до дому. У подъезда, на Мойке, стоял автомобиль. Никто не обратил на него внимания – с «нэпом» автомобиль перестал быть, как во времена военного коммунизма, одновременно диковинкой и страшилищем. У подъезда долго прощались, шутили, уславливались «на завтра». Те, кто приехал на этом автомобиле, с ордером ГПУ на обыск и арест, – терпеливо ждали за дверью [9; 460].

Владислав Фелицианович Ходасевич:

В конце лета я стал собираться в деревню на отдых. В среду, 3 августа, мне предстояло уехать. Вечером накануне отъезда пошел я проститься кое с кем из соседей по «Дому Искусств». Уже часов в десять постучался к Гумилеву. Он был дома, отдыхал после лекции.

Мы были в хороших отношениях, но короткости между нами

не было. И вот как два с половиной года тому назад меня удивил слишком официальный прием со стороны Гумилева, так теперь я не знал, чему приписать необычайную живость, с которой он обрадовался моему приходу. Он выказал какую-то особую даже теплоту, ему как будто бы и вообще несвойственную. Мне нужно было еще зайти к баронессе В. И. Икскуль, жившей этажом ниже. Но каждый раз, как я подымался уйти, Гумилев начинал упрашивать: «Посидите еще». Так я и не попал к Варваре Ивановне, просидев у Гумилева часов до двух ночи. Он был на редкость весел. Говорил много, на разные темы. Мне почему-то запомнился только его рассказ о пребывании в царскосельском лазарете, о государыне Александре Феодоровне и великих княжнах. Потом Гумилев стал меня уверять, что ему суждено прожить очень долго – «по крайней мере до девяноста лет». Он все повторял:

– Непременно до девяноста лет, уж никак не меньше.

До тех пор собирался написать кипу книг.

Упрекал меня:

– Вот мы однолетки с вами, а поглядите: я, право, на десять лет моложе. Это все потому, что я люблю молодежь. Я со своими студистками в жмурки играю – и сегодня играл. И потому непременно проживу до девяноста лет, а вы через пять лет скиснете.

И он, хохоча, показывал, как через пять лет я буду, сгорбившись, волочить ноги и как он будет выступать «молодцом».

Прощаясь, я попросил разрешения принести ему на следующий день кое-какие вещи на сохранение. Когда наутро, в условленный час, я с вещами подошел к дверям Гумилева, мне на стук никто не ответил. В столовой служитель Ефим сообщил мне, что ночью Гумилева арестовали и увезли. Итак, я был последним, кто видел его на воле. В его преувеличенной радости моему приходу, должно быть, было предчувствие, что после меня он уже никого не увидит [9; 547–548].

Дело № 2534

Ирина Владимировна Одоевцева:

Гумилев любил читать вслух, особенно по-французски.

Однажды, читая мне какой-то рассказ Теофиля Готье о молодом поэте, собравшемся топиться от несчастной любви и представляющем себе, насколько увеличится его посмертная слава от такого романтичного конца, Гумилев сказал, отложив книгу:

– Очень правильно. Смерть действительно играет огромную, даже иногда решающую роль в славе поэта. Героическая смерть может поставить поэта на пьедестал.

Он задумался и продолжал:

– Я очень надеюсь, что Бог услышит мои молитвы и пошлет мне достойную, героическую смерть. Но, – он лукаво улыбнулся, сощурив глаза, – не сейчас, конечно. Лет так через пятьдесят. Не раньше. Ведь я еще столько должен сделать в жизни, хотя и сейчас немало делаю. – В этих словах, конечно, был скрытый намек [23; 236].

Ольга Николаевна Гильдебрандт-Арбенина:

И вот, как-то было, он вдруг обратился ко мне с вопросом (точно не помню слова): «Скажите, если б мне грозила опасность и вы знали это, стали бы вы любить меня больше?» – И на мое удивление: «Если б вдруг это было с вами, я… хотя любить вас больше невозможно (вечная припевка!!!), но, кажется, я бы…»

Как-то в другой раз он заговорил о какой-то возможности (?) какого-то селения и домика с окном, где только один горшочек с цветком… (будто жены декабристов…). Он, видя мой испуг, сказал, обняв меня: «Нет, нет, я думаю, все еще будет хорошо… Не надо пугаться…» [20; 452–453]

Ирина Владимировна Одоевцева:

Гумилев часто намекал на свою контрреволюционную деятельность, но мне казалось, что он, как и многие тогда, только играет в заговорщика.

Когда, возвращаясь со мной с лекции в кронштадтские дни, он остановился перед подъездом какого-то дома и сказал с таинственным видом, подавая мне свой портфель: «Подождите меня минутку. Я только за револьвером зайду. Обещали достать к сегодняшнему вечеру», я спокойно осталась ждать, положив его тяжелый портфель на снег. Я не верила ему, и мне совсем не было страшно за него.

Он скоро возвратился, похлопывая себя по боку.

– Достал, ну, идемте! Только не проболтайтесь! Ведь это и для вас опасно.

Да, я знала, это очень опасно. Опасно даже играть в заговорщиков. И, конечно, никому не рассказала о «заходе за револьвером».

В Петербурге, в те кронштадтские дни, напряжение, волнение и ожидание достигли наивысшей точки [23; 236–237].

Георгий Владимирович Иванов:

В кронштадтские дни две молодые студистки встретили Гумилева, одетого в картуз и потертое летнее пальто с чужого плеча. Его дикий вид показался им очень забавным, и они расхохотались.

Гумилев сказал им фразу, смысл которой они поняли только после его расстрела:

– Так провожают женщины людей, идущих на смерть.

Он шел, переодевшись, чтобы не бросаться в глаза, в рабочие кварталы вести агитацию среди рабочих. Он уже состоял тогда в злосчастной «организации», из-за участия в которой погиб [9; 472].

Лазарь Васильевич Берман, *в записи В. Н. Сажина:*

Именно Берман зимой 1920–1921 годов ввел Гумилева в круг заговорщиков.

История такова. В 1914 году в Петрограде существовал 4-й запасной бронедивизион. Был зачислен в него и Берман <…>. Многих объединяла тогда принадлежность к эсеровской партии. Однако, со слов Бермана, в конце 1910-х годов он отошел от партийной работы, сохранив при этом дружеские отношения со своими единомышленниками. Зная об этом, Гумилев обратился в ту пору к Берману с просьбой устроить ему конспиративную встречу с эсерами, объясняя это желанием послужить России. После неудачных попыток отговорить Гумилева от опасного шага Берман согласился выполнить его просьбу. При этом он предупредил заговорщиков, что с ними желает познакомиться один из лучших поэтов России (фамилия не называлась), и просил использовать его лишь в случае крайней необходимости! На эту встречу, с удивлением рассказывал Берман, Гумилев явился в известной всему Петрограду оленьей дохе, чем тотчас себя дезавуировал.

О том, что Гумилева все-таки использовали в «деле», Берман узнал летом 1921 года, когда Николай Степанович обратился к нему за помощью: принес две пачки листовок разного

содержания и предложил поучаствовать в их распространении. Одна из листовок начиналась антисемитским лозунгом. «Связной» возмутился: «Понимаете ли вы, что предлагаете мне, Лазарю Берману, распространять?» Гумилев с извинениями отменил свою просьбу [25; 92].

Ирина Владимировна Одоевцева:

В конце апреля я сидела в кабинете Гумилева перед его письменным столом, а он, удобно расположившись на зеленом клеенчатом диване, водворенном по случаю окончания зимы из прихожей обратно в кабинет, читал мне переплетенные в красный сафьян «Maximes» Вовенарга.

– Насколько они глубже и умнее, чем «Maximes» Ларошфуко. Это настоящая школа оптимизма, настоящая философия счастья, они помогают жить, – убежденно говорил он. – А вот пойдите, о маркизе Вовенарге у нас мало кто даже слышал, зато Ларошфуко все знают наизусть. Слушайте и постарайтесь запомнить: «Une vie sans passions ressemble a la mort»[34]. До чего верно!

Я, как я это часто делала, слушая то, что меня не особенно интересовало, слегка вдвигала и выдвигала ящик его письменного стола. Я совершенно не умела сидеть спокойно и слушать, сложа руки.

Не рассчитав движения, я вдруг совсем выдвинула ящик и громко ахнула. Он был туго набит пачками кредиток.

– Николай Степанович, какой вы богатый! Откуда у вас столько денег? – крикнула я, перебивая чтение.

Гумилев вскочил с дивана, шагнул ко мне и с треском задвинул ящик, чуть не прищемив мне пальцы.

Он стоял передо мной бледный, сжав челюсти, с таким странным выражением лица, что я растерялась. Боже, что я наделала!

– Простите, – забормотала я, – я нечаянно… Я не хотела… Не сердитесь…

Он как будто не слышал меня, а я все продолжала растерянно извиняться.

– Перестаньте, – он положил мне руку на плечо. – Вы ни в чем не виноваты. Виноват я, что не запер ящик на ключ. Ведь мне известна ваша манера вечно все трогать. – Он помолчал немного и продолжал, уже овладев собой: – Конечно, неприятно, но ничего непоправимого не произошло. Я в вас уверен. Я вам вполне доверяю… Так вот…

И он, взяв с меня клятву молчать, рассказал мне, что участвует в заговоре. Это не его деньги, а деньги для спасения

России. Он стоит во главе ячейки и раздает их членам своей ячейки.

Я слушала его, впервые понимая, что это не игра, а правда. Я так испугалась, что даже вся похолодела.

– Боже мой, ведь это безумно опасно!

Но он спокойно покачал головой.

– И совсем уж не так опасно. Меня вряд ли посмеют тронуть. Я слишком известен. И я ведь очень осторожен.

Но я все повторяла, не помня себя от страха:

– Нет, это безумно опасно. Как бы вы ни были известны и осторожны, безумно опасно!

Он пожал плечами:

– Даже если вы правы и это безумно опасно, обратного пути нет. Я должен исполнить свой долг.

Я стала его умолять уйти из заговора, бросить все. Слезы текли по моему лицу, но я не вытирала их.

– Подумайте о Левушке, о Леночке, об Ане, о вашей матери. О всех, кто вас любит, кому вы необходимы. Что будет с ними, если… Ради Христа, Николай Степанович!..

Он перебил меня:

– Перестаньте говорить жалкие слова. Неужели вы воображаете, что можете переубедить меня? Мало же вы меня знаете. Я вас считал умнее. – Он уже снова смеялся. – Забудьте все, что я вам сказал, и никогда ни о чем таком больше не спрашивайте. Поняли?

Я киваю.

– И клянетесь?

– Клянусь.

Он с облегчением вздыхает.

– Ну, тогда все в порядке. Я ничего вам не говорил. Вы ничего не знаете. Помните – ровно ничего. Ни-че-го! А теперь успокойтесь и вытрите глаза. Я вам сейчас чистый носовой платок из комода достану.

И все же с этого дня я знала, что Гумилев действительно участвует в каком-то заговоре, а не играет в заговорщиков.

Да, я знала. Но это было какое-то «абстрактное знание», лишь слегка скользнувшее по моему сознанию, не вошедшее в него, не связанное с реальностью.

Оттого ли, что Гумилев больше никогда не напоминал мне о «том» разговоре, будто его действительно не было, или оттого, что я в те дни уже начала понемногу отдаляться от него и чувствовать себя слегка вне его жизни и всего, что происходит в ней, – ведь я только что стала невестой Георгия Иванова, и Гумилев, не сочувствовавший этому браку, всячески старался

отговорить меня от него, – но, хоть это и странно, я действительно, по своему невероятному тогдашнему легкомыслию, совсем не думала об опасности, грозящей Гумилеву [23; 275–277].

Борис Павлович Сильверсван *(1883–1934), филолог, специалист по скандинавским литературам, сотрудник издательства «Всемирная литература». Из письма А. В. Амфитеатрову. 20 сентября 1931 г.:*

Гумилев, несомненно, принимал участие в таганцевском заговоре и даже играл там видную роль; он был арестован в начале августа, выданный Таганцевым, а в конце июля 1921 года он предложил мне вступить в эту организацию, причем ему нужно было сперва мое принципиальное согласие (каковое я немедленно и от всей души ему дал), а за этим должно было последовать мое фактическое вступление в организацию; предполагалось, между прочим, воспользоваться моей тайной связью с Финляндией, т. е. предполагал это, по-видимому, пока только Гумилев; он сообщил мне тогда, что организация состоит из «пятерок»; членов каждой пятерки знает только ее глава, а эти главы пятерок известны самому Таганцеву; вследствие летних арестов в этих пятерках оказались пробелы, и Гумилев стремился к их заполнению; он говорил мне также, что разветвления заговора весьма многочисленные и захватывают влиятельные круги Красной армии; он был чрезвычайно конспиративен и взял с меня честное слово, что о его предложении я не скажу никому, даже <…> матери и т. п. (что я исполнил); я говорил ему тогда же, что ввиду того, что чекисты несомненно напали на след организации, м. б., следовало бы временно притаиться, что арестованный Таганцев, по слухам, подвергнулся пыткам и может начать выдавать; на это Гумилев ответил, что уверен, что Таганцев никого не выдаст и пр., наоборот, теперь-то и нужно действовать; из его слов я заключил также, что он составлял все прокламации и вообще ведал пропагандой в Красной армии; Ник. Степ. был добр и твердо уверен в успехе; через несколько дней после нашего разговора он был арестован; т. к. он говорил мне, что ему не грозит никакая опасность, т. к. выдать его мог бы только Т., а в нем он уверен, – то я понял, что Таг. действительно выдает, как, впрочем, говорили в городе уже раньше [9; 566–567].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Я зашла к Гумилеву на Преображенскую – он собирался переезжать в Дом искусств – и застала его за странным занятием.

Он стоит перед высокой книжной полкой, берет книгу

за книгой и, перелистав ее, кладет на стул, на стол или просто на пол.

– Неужели вы собираетесь брать все эти книги с собой? – спрашиваю я.

Он трясет головой.

– И не подумаю. Я ищу документ. Очень важный документ. Я заложил его в одну из книг и забыл в какую. Вот я и ищу. Помогите мне.

Я тоже начинаю перелистывать и вытряхивать книги. Мы добросовестно и безрезультатно опустошаем полку.

– Проклятая память, – ворчит Гумилев. – Недаром я писал: «Память, ты слабее год от года!»

Мне надоело искать, и я спрашиваю:

– А это важный документ?

Он кивает:

– И даже очень. Черновик кронштадтской прокламации. Оставлять его в пустой квартире никак не годится!

Черновик прокламации? Я вспоминаю о заговоре. Да, он прав. Необходимо найти его. И я продолжаю искать с удвоенной энергией.

– А вы уверены, – спрашиваю я снова, безрезультатно просмотрев еще несколько десятков книг, – вы уверены, что действительно положили его в книгу?

Он раздраженно морщится.

– В том-то и дело, что совсем не уверен. Не то сунул в книгу, не то сжег, не то бросил в корзину для бумаг. Я с утра тружусь, как каторжник, – все ищу проклятый черновик. <…>

После ареста Гумилева, при обыске на Преображенской, 5, чекисты искали более умело и тщательно, и нашли, кажется, черновик.

В списке предъявленных Гумилеву обвинений значилось: принимал деятельное участие в составлении контрреволюционной прокламации [23; 279–280].

Протокол показания гр. Таганцева[35]*:*

Поэт Гумилев после рассказа Германа обращался к нему в конце ноября 1920 г. Гумилев утверждает, что с ним связана группа интеллигентов, которой он сможет распоряжаться и в случае выступления согласна выйти на улицу, но желал бы иметь в распоряжении для технических надобностей некоторую свободную наличность. Таковой у нас тогда не было. Мы решили тогда предварительно проверить надежность Гумилева, командировав к нему Шведова для установления связей. В течение трех месяцев, однако, это не было сделано. Только

во время Кронштадта Шведов выполнил поручение: разыскал на Преображенской ул. поэта Гумилева, адрес я узнал для него во «Всемирной литературе», где служит Гумилев. Шведов предложил ему помочь нам, если представится надобность в составлении прокламаций. Гумилев согласился, сказав, что оставляет за собой право отказываться от тем, не отвечающих его далеко не правым взглядам. Гумилев был близок к Совет. ориентации. Шведов мог успокоить, что мы не монархисты, а держимся за власть Сов. Не знаю, насколько мог поверить этому утверждению. На расходы Гумилеву было выделено 200 000 советских рублей и лента для пишущей машинки. Про группу свою Гумилев дал уклончивый ответ, сказав, что для организации ему потребно время. Через несколько дней пал Кронштадт. Стороной я услыхал, что Гумилев весьма отходит далеко от контрреволюционных взглядов. Я к нему больше не обращался, как и Шведов и Герман, и поэтических прокламаций нам не пришлось ожидать.

В. Таганцев
6. VIII.1921
[16; 284–285].

Показания Н. С. Гумилева по существу дела:

Месяца три тому назад ко мне утром пришел молодой человек высокого роста и бритый, сообщавший, что привез мне поклон из Москвы. Я пригласил его войти, и мы беседовали минут двадцать на городские темы. В конце беседы он обещал мне показать имеющиеся в его распоряжении русские заграничные издания. Через несколько дней он действительно принес мне несколько номеров каких-то газет. И оставил у меня, несмотря на мое заявление, что я в них не нуждаюсь. Прочтя эти номера и не найдя в них ничего для меня интересного, я их сжег. Приблизительно через неделю он пришел опять и стал спрашивать меня, не знаю ли я кого-нибудь, желающего работать для контрреволюции. Я объяснил, что никого такого не знаю, тогда он указал на незначительность работы: добывание разных сведений и настроений, раздачу листовок и сообщал, что эта работа может оплачиваться. Тогда я отказался продолжать разговор с ним на эту тему, и он ушел. Фамилию свою он назвал мне, представляясь. Я ее забыл, но она была не Герман и не Шведов.

Н. Гумилев
9 августа 1921
[16; 289].

Протокол допроса Гумилева Николая Степановича:

Допрошенный следователем Якобсоном, я показываю следующее: летом прошлого года я был знаком с поэтом Борисом Вериным и беседовал с ним на политические темы, горько сетуя на подавление частной инициативы в Советской России. Осенью он уехал в Финляндию, через месяц я получил в мое отсутствие от него записку, сообщавшую, что он доехал благополучно и хорошо устроился. Затем, зимой, перед Рождеством, ко мне пришла немолодая дама, которая мне передала неподписанную записку, содержащую ряд вопросов, связанных, очевидно, с заграничным шпионажем, например, сведения о готовящемся походе на Индию. Я ответил ей, что никаких таких сведений я давать не хочу, и она ушла.

Затем, в начале Кронштадтского восстания ко мне пришел Вячеславский с предложением доставлять для него сведения и принять участие в восстании, буде оно переносится в Петроград. От дачи сведений я отказался, а на выступление согласился, причем указал, что мне, по всей вероятности, удастся в момент выступления собрать и повести за собой кучку прохожих, пользуясь общим оппозиционным настроением. Я выразил также согласие на попытку написания контрреволюционных стихов. Дней через пять он пришел ко мне опять, вел те же разговоры и предложил гектографировальную ленту и деньги на расходы, связанные с выступлением. Я не взял ни того ни другого, указав, что не знаю, удастся ли мне использовать ленту. Через несколько дней он зашел опять, и я определенно ответил, что ленту я не беру, не будучи в состоянии использовать, а деньги 200 000 взял на всякий случай и держал их в столе, ожидая или событий, то есть восстания в городе, или прихода Вячеславского, чтобы вернуть их, потому что после падения Кронштадта я резко изменил мое отношение к Советской власти. С тех пор ни Вячеславский, никто другой с подобными разговорами ко мне не приходили, и я предал все дело забвению.

В добавление сообщаю, что я действительно сказал Вячеславскому, что могу собрать активную группу из моих товарищей, бывших офицеров, что являлось легкомыслием с моей стороны, потому что я встречался с ними лишь случайно, и исполнить мое обещание мне было бы крайне затруднительно. Кроме того, когда мы обсуждали сумму расходов, мы говорили также о миллионе работ.

Гумилев

Допросил Якобсон 18.8.1921 г. [16; 289–290].

Продолжительное (так в документе. – Сост.) показание гр.

Гумилева Николая Степановича 20.8.1921 г.:

Допрошенный следователем Якобсоном, я показываю: сим подтверждаю, что Вячеславский был у меня один и я, говоря с ним о группе лиц, могущих принять участие в восстании, имел в виду не кого-нибудь определенного, а просто человек десять встречных знакомых, из числа бывших офицеров, способных в свою очередь сорганизовать и повести за собой добровольцев, которые, по моему мнению, не замедлили бы примкнуть к уже составившейся кучке. Я может быть не вполне ясно выразился относительно такового характера этой группы, но сделал это сознательно, не желая быть простым исполнителем директив неизвестных мне людей, и сохранить мою независимость. Однако я указывал Вячеславскому, что по моему мнению это единственный путь по какому действительно совершается переворот и что я против подготовительной работы, считая ее бесполезной и опасной. Фамилии лиц я назвать не могу, потому что не имел в виду никого в отдельности, а просто думал встретить в нужный момент подходящих по убеждению мужественных и решительных людей. Относительно предложения Вячеславского я ни с кем не советовался, но возможно, что говорил о нем в туманной форме.

Н. Гумилев

23.8.1921

Допрошенный следователем Якобсоном, я показываю следующее: никаких фамилий, могущих принести какую-нибудь пользу организации Таганцева путем установления между ними связей, я не знаю и потому назвать не могу. Чувствую себя виновным по отношению к существующей в России власти в том, что в дни Кронштадтского восстания был готов принять участие в восстании, если бы оно перекинулось в Петроград, и вел по этому поводу разговоры с Вячеславским [16; 290–291].

Александр Валентинович Амфитеатров:

Депутация Профессионального Союза Писателей недели через две после ареста отправилась хлопотать за Гумилева [9; 565].

Коллективное обращение петроградских литераторов в Президиум Петроградской губернской Чрезвычайной комиссии:

Председатель Петроградского отделения Всероссийского союза поэтов, член редакционной коллегии государственного издательства «Всемирная литература», член Высшего совета Дома искусств, член комитета Дома литераторов, преподаватель

Пролеткульта, профессор Российского института истории искусств Николай Степанович Гумилев арестован по ордеру Губ. Ч. К. в начале текущего месяца.

Ввиду деятельного участия Н. С. Гумилева во всех указанных учреждениях и высокого его значения для русской литературы нижепоименованные учреждения ходатайствуют об освобождении Н. С., Гумилева под их поручительство.

Председатель Петроградского отдела Всероссийского Союза писателей А. Л. Волынский

Товарищ председателя Петроградского отделения

Всероссийского Союза поэтов М. Лозинский

Председатель коллегии по управлению Домом литераторов Б. Харитон

Председатель Пролеткульта А. Маширов

Председатель Высшего совета Дома искусств М. Горький

Член издательской коллегии «Всемирной литературы» Ив. М <нрзб>

[16; 294].

Николай Волковысский:

Председатель ЧК Семенов принял нас холодно-вежливо. Руки не подал, стоял все время сам и не предложил нам сесть.

Вершитель судьбы В. Н. Таганцева, В. И. Лазаревского, Н. С. Гумилева, проф. Тихвинского, скульптора Ухтомского и др. – производил скорее впечатление не рабочего, а мелкого приказчика из мануфактурного магазина. Среднего роста, с мелкими чертами лица, с коротко, по-английски подстриженными рыжеватыми усиками и бегающими, хитрыми глазками, он, разговаривая, делал руками характерные округлые движения, точно доставая с полок и разворачивая перед покупательницами кипы сатина или шевиота.

– Что вам угодно?

– Мы пришли хлопотать за нашего друга и товарища, недавно арестованного – Гумилева.

– Кого-с?

– Гумилева.

– Гумилевича?

– Нет, Гумилева, поэта, Николая Степановича Гумилева, известного русского поэта.

– Гумилева? Не слыхал о таком. Он арестован? Не слышал. Ничего не знаю-с. Так в чем дело?

– Мы крайне поражены его арестом и просим о его освобождении. Это безусловное недоразумение. Гумилев никакой

политикой не занимался, и никакой вины за ним быть не может.

– Напрасно-с думаете. Я его даже не знаю, но, поверьте, что здесь может быть и не политика-с. Должностное преступление или растрата денег-с.

– Позвольте. Какое должностное преступление? Какие деньги? Гумилев никаких должностей не занимает, он пишет стихи и никаких денег, кроме гонорара за стихи, не имеет.

– Не скажите-с, не скажите-с… бывает… бывает – и профессора попадаются, и писатели. Казенные деньги… случается.

От этой бессвязной болтовни становится скучно и жутко. Надо было положить ей конец.

– Не могли бы вы распорядиться, чтобы нам дали справку по делу Гумилева? Его готовы взять на поруки любые организации.

– Справку? С удовольствием.

Берет телефонную трубку.

– Барышня, номер такой-то… Это Семенов говорит. Тут вот делегаты пришли, так узнайте-ка там, арестован у нас Гумилевич?

Мы перебиваем:

– Гумилев, Николай Степанович, писатель, поэт.

– Не Гумилевич, а Гумилев, Николай Степанович. Он кто? (обращается к нам):

– Писатель, поэт.

– Писатель, говорят. Ты слушаешь, да? Так наведи справку и позвони мне… тут ждут.

Кладет трубку и продолжает нас поучать:

– Бывает-с, и профессора, и писатели попадаются. Что прикажете делать? Время такое-с.

Мы молчим. Он все оживленнее говорит. Звонок.

– Да? Ага… гм… гм… гм… Ну, хорошо.

Кладет трубку. Быстро оборачивается к нам:

– Ваши документы, граждане.

Точно ломом по голове ударил.

– Какие документы? Вы же знаете, кто мы: представители таких-то организаций.

– Ваши документы, пожалуйста.

Начинаем рыться в карманах. На душу сразу упала тоскливая жуть. Один вынимает из бумажника первую попавшуюся записку. Оказывается – разрешение работать в каком-то секретном архиве, подписано «самим» Зиновьевым. Семенов берет бумажку, не успевает ее прочесть, видит подпись Зиновьева и быстро возвращает.

– Благодарю вас, больше не надо. Так вот-с… (начинает говорить медленно) так вот-с… действительно арестован. Дело в следствии. Следствие производится.

– Нельзя ли до окончания следствия освободить на поруки?

– Никак нельзя. Да и к чему? Через несколько дней, через недельку следствие закончится. Да вы не беспокойтесь за него, у нас сидится неплохо, и кормим прилично.

– Об этом мы не беспокоимся, ему присылают передачи.

– Тем более-с, раз передачи посылают, так и совсем хорошо.

– Нельзя ли узнать, по какому делу арестован?

– Никак нельзя. Что вы? Разве можно выдать тайну следствия? Никогда не говорят, за что человек арестован… ведь это мешает работе следствия, мешает. И прежде так было, при старом режиме тоже никогда не говорили.

– Положим…

– Уверяю вас. Всегда так было-с. У нас скоро закончится следствие. И вообще у нас теперь скоро все идет. В месячный срок следователь обязан предъявить обвинение. В месячный срок-с. У нас это строго теперь. В месяц не предъявил (ударяет по столу) – сам в тюрьму. Все равно кто – следователь или комиссар – сам садись. У нас теперь приняты самые строгие меры к охране гарантий прав личности… да-с, к охране прав личности. Строго-с.

Губы едва дрогнули почти неуловимой иронией.

– Да и чего вам беспокоиться? Если вы так уверены в его невиновности – так и ждите его через недельку у себя. И беспокоиться нечего, раз так уверены.

Сердце сжималось от нечеловеческого ужаса. За внешним отсутствием смысла этой болтовни чувствовалось дыхание надвигавшейся смерти. Едва могли спросить:

– А как же получить справку?

– Через неделю… вы не ходите ко мне, я очень занят, а позвоните ко мне по телефону. Знаете, как? Спросите на станции Губчека, а потом у нас на коммутаторе попросите председателя Семенова – вам сразу дадут мой телефон. У нас это просто. Так через неделю позвоните. Прощайте.

Мы ушли раздавленные. Ведь в сущности ничего не было сказано. А в этом «ничего» душа чуяла бездну. Все заметались, подняли на ноги все «связи», телеграфировали в Москву. Неизвестно откуда появился слух, связывающий два имени – Таганцева и Гумилева.

Гумилев – в заговоре?! Нелепость! Но в этой нелепости вся безысходность ужаса. Гумилев будет расстрелян? Невероятно! Но чем невероятнее, тем ближе к правде. Через неделю –

к телефону:

– Барышня, Губчека, пожалуйста… Губчека? Председателя Семенова.

– Семенов у телефона. Кто? А, по делу Гумилева? Послезавтра прочтете в газете.

Трубка повешена. Невероятное неумолимой поступью настигает нас… [9; 289–292]

Юлиан Григорьевич Оксман *(1894–1970), филолог. Со слов А. А. Ахматовой:*

Из тюрьмы Н. С. прислал три письма (с оказиями) – одно жене, другое в издательство «Мысль», третье в Союз писателей, с просьбою о продовольственной передаче. Кстати сказать, я видел на Колыме (шли в этапе) каких-то людей, сидевших с Гумилевым на Гороховой. Он довольно долгое время был в общей камере, откуда его и водили на допросы. Он был очень бодр и не верил в серьезность предъявленных ему обвинений, не допускал возможности высшей меры [8; 559–560].

Николай Авдеевич Оцуп:

Несколько молодых поэтов и поэтесс, учеников и учениц Гумилева, каждый день носили передачу на Гороховую.

Уже во вторник передачу не приняли.

В среду после звонка в Чека молодой поэт Р. и я бросились по всем тюрьмам искать Гумилева. Начали с Крестов, где, как оказалось, политических не держали.

На Шпалерной нам удалось проникнуть во двор, мы взошли по лестнице во флигеле и спросили сквозь решетку какую-то служащую: где сейчас находится арестованный Гумилев?

Приняв нас, вероятно, за кого-либо из администрации, она справилась в какой-то книге и ответила из-за решетки: «Ночью взят на Гороховую».

Мы спустились, все больше и больше ускоряя шаг, потому что сзади уже раздавался крик:

– Стой, стой, а вы кто будете?!

Мы успели выйти на улицу.

Вечером председатель Чека, принимавший нашу делегацию, сделал в закрытом заседании Петросовета доклад о расстреле заговорщиков: проф. Таганцева, Гумилева и других.

В тот же вечер слухи о содержании этого доклада обошли весь город [9; 482].

Юрий Михайлович Шейнманн, *геолог, научный сотрудник Института физики Земли:*

Летом 1921 г. я по гостевому билету присутствовал на заседании Петроградского Совета в Таврическом дворце. Попав туда на хоры, я из озорства спустился вниз и сел в партере (места для депутатов). О повестке дня я ничего не знал. Поразило меня, что по проходам ходили несколько курсантов при оружии. То же было и на хорах, там их было больше.

Открыл заседание Зиновьев и предоставил слово председателю Питерской ЧК. Фамилия его забылась. Последний сделал длинный – часа полтора-два – доклад об обнаружении заговора Таганцева. Собственно доклад был очень коротким. Много времени взяло оглашение списка шестидесяти с лишком осужденных. Все были расстреляны – машинистки и секретарши в том числе. <…>

Этот синодик произвел на депутатов большое впечатление. За все время чтения ни один звук не прервал тишину. Ни вопросов, ни выступлений не последовало. Так что слово взял Зиновьев. И расходились молча [12; 208–209].

Заключение по делу № 2534 гр. Гумилева Николая Станиславовича (зачеркнуто, написано сверху чернилами «Степановича»), обвиняемого в причастности к контрреволюционной организации Таганцева (Петроградской боевой организации) и связанных с ней организаций и групп:

Следствием установлено, что дело гр. Гумилева Николая Станиславовича 35 лет происходит из дворян, проживающего в г. Петрограде угол Невского и Мойки в Доме искусств, поэт, женат, беспартийный, окончил высшее учебное заведение, филолог, член коллегии издательства Всемирной литературы, возникло на основании показаний Таганцева от 6.8.1921 г., в котором он показывает следующее: «Гражданин Гумилев утверждал курьеру финской контрразведки Германну, что он, Гумилев, связан с группой интеллигентов, которой последний может распоряжаться, и которая в случае выступления готова выйти на улицу для активной борьбы с большевиками, но желал бы иметь в распоряжении некоторую сумму для технических надобностей. Чтоб проверить надежность Гумилева организация Таганцева командировала члена организации гр. Шведова для ведения окончательных переговоров с гр. Гумилевым. Последний взял на себя оказать активное содействие в борьбе с большевиками и составлении прокламаций контрреволюционного характера. На расходы Гумилеву было выдано 200 000 рублей советскими деньгами и лента для пишущей машины.

В своих показаниях гр. Гумилев подтверждает вышеуказанные

против него обвинения и виновность в желании оказать содействие контрреволюционной организации Таганцева, выразив в подготовке кадра интеллигентов для борьбы с большевиками и в сочинении прокламаций контрреволюционного характера.

<…> Своим показанием гр. Гумилев подтверждает получку денег от организации в сумме 200 000 рублей для технических надобностей.

В своем первом показании гр. Гумилев совершенно отрицал его причастность к контрреволюционной организации и на все заданные вопросы отвечал отрицательно.

Виновность в контрреволюционной организации гр. Гумилева Н. Ст. на основании протокола Таганцева и его подтверждения вполне доказана.

На основании вышеизложенного считаю необходимым применить по отношению к гр. Гумилеву Николаю Станиславовичу как явному врагу народа и рабоче-крестьянской революции высшую меру наказания – расстрел.

Следователь Якобсон

Оперуполномоченный ВЧК (подпись отсутствует) [16; 292–294].

Орест Николаевич Высотский:

1 сентября «Петроградская правда» поместила пространное сообщение Всероссийской Чрезвычайной комиссии «О раскрытии в Петрограде заговора против Советской власти» и список расстрелянных по постановлению Губчека от 24 августа 1921 года. В этом списке под номером 30 записан «ГУМИЛЕВ Н. С., 33 л., б. дворянин, филолог, поэт, член коллегии изд-ва „Всемирной литературы“, беспартийный, б. офицер. Участник П. Б. О. Активно содействовал составлению прокламаций контрреволюционного содержания. Обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, которая активно примет участие в восстании. Получал от организации деньги на технические надобности» [9; 293].

Михаил Леонидович Слонимский *(1897–1972), писатель. В записи А. Станюковича:*

Горький немедленно после ареста Гумилева поехал в Москву просить за него перед Лениным. Вернулся радостный: Ленин пообещал, что Гумилева помилуют. И вот через некоторое время Горький появился в комнатах «Всемирной литературы» в слезах. Он поминутно вытирал глаза платком. От него мы узнали о том, что Гумилев расстрелян. В моей памяти с математической

точностью отпечатались его слова тогда: «Этот Гришка Зиновьев задержал ленинские указания» [26; 122].

Борис Павлович Сильверсван. *Из письма А. В. Амфитеатрову, 20 сентября 1931 г.:*

Теперь я хочу вам рассказать о моем свидании с Горьким после таганцевских расстрелов; разговор, бывший во время этого свидания, я тогда же дословно записал и хранил эту запись в надежном месте <…>; сперва хочу сказать, что я лично уверен, что Горький был вполне искренен. <…> Вот наш разговор слово в слово. <…>

Я. – А скажите, А. М., неужели никого нельзя было спасти из убитых по таганцевскому делу?

Г. (сильно волнуясь, со слезами на глазах). – Вы видели, видели, кто от меня сейчас вышел? – (Входя, я встретил выходившую от него даму в трауре.) – Это жена Тихвинского; Ленин его хорошо знал; Ленин мне говорил про него: «Вот это голова! Нам такие люди нужны, очень нужны». И вот видите?

Я. – Т. е. вы хотите сказать, что даже Ленин не мог здесь ничего сделать?

Г. (после небольшого колебания). – Я вам расскажу. Я несколько раз ездил в Москву по этому делу. Первый раз Ленин сказал мне, что эти аресты – пустяки, чтоб я не беспокоился, что скоро всех выпустят. Я вернулся сюда. Но здесь слышу, что аресты продолжаются, что дело серьезно, командированы следователи из Москвы. Я опять поехал в Москву; прихожу к Ленину. Он смеется: «Да что вы беспокоитесь, А. М., ничего нет особенного. Вы поговорите с Дзержинским». Я иду к Дзержинскому, и представьте, этот мерзавец (sic!) первым делом мне говорит: «В показаниях по этому делу слишком часто упоминается ваше имя». Что же, я говорю, вы и меня хотите арестовать? – «Пока нет». Вижу, дело серьезное. Я пошел к Красину. Красин страшно был возмущен. Мы вместе с ним были у Ленина; Ленин обещал поговорить с Дзержинским. Потом я несколько раз звонил Ленину, но меня не соединяли с ним, а раньше всегда соединяли. Наконец, я опять добился быть у него; он сказал, что ручается, что никто не будет расстрелян; я уехал; в Петрограде через два дня прочел в газетах о расстреле всех. Вот [9; 567–568].

Ирина Владимировна Одоевцева. *В записи А. Колоницкой:*

После расстрела Гумилева Г. Иванов пытался узнать подробности его гибели и будто бы кто-то свел его с латышскими стрелками, которые производили расстрелы. Рассказ одного из стрелков был таков. В камеру Гумилева зашли и пригласили

на выход. Он спросил: «С книгами?» Ему ответили «Нет». Он все понял (хотя был уверен до этого, что с ним ничего не сделают), побледнел, перекрестился и пошел своей прямой походкой, не оборачиваясь [14; 102–103].

Владимир Александрович Павлов. *В записи Л. Горнунга:*

Поэты, близкие Гумилеву, участники «Цеха поэтов», разыскали какого-то садовника, жившего недалеко от места расстрела, предположив, что он мог что-то видеть, и уговорили его рассказать о случившемся. По его словам, всю партию поставили в один ряд. Многие мужчины и женщины плакали, падали на колени, умоляли пьяных солдат. Гумилев до последней минуты стоял неподвижно [29; Ф. 397. Оп. 2. Д. 76. Л. 3].

Лазарь Васильевич Берман. *В записи В. Н. Сажина:*

По словам Бермана, через некоторое время ему передали просьбу Ахматовой помочь отыскать место казни: связи Лазаря Васильевича с автомобилистами-военными были известны, и надеялись, что он отыщет человека, который вел машину с приговоренными. Эти расчеты оправдались. Нашли шофера, он указал на так называемый Охтинский пустырь (признанный сейчас наиболее вероятным местом казни район деревни Бернгардовка примыкает к Охте). От того же шофера узнали, что на месте казни выкапывалась большая яма, перебрасывалась доска-помост, на нее вставал расстреливаемый [25; 92–93].

Георгий Владимирович Иванов:

В тюрьму Гумилев взял с собой Евангелие и Гомера. Он был совершенно спокоен при аресте, на допросах и – вряд ли можно сомневаться, что и в минуту казни [9; 473].

Заповеди конквистадора

Николай Степанович Гумилев. *Из письма В. Е. Аренс, 1 июля 1908 г:*

Что есть прекрасная жизнь, как не реализация вымыслов, созданных искусством? Разве не хорошо сотворить свою жизнь, как художник творит картину, как поэт создает поэму? Правда, материал очень неподатлив, но разве не из твердого мрамора высекаются самые дивные статуи? [16; 62]

Владимир Казимирович Шилейко. *В записи П. Н. Лукницкого:*

Николай Степанович почему-то думал, что он умрет в 53 года. Я возражал, говоря, что поэты рано умирают или уж глубокими стариками (Тютчев, Вяземский). И тогда Николай Степанович любил развивать мысль, «что смерть нужно заработать и что природа скупа и из человека выжмет все соки и, выжав, – выбросит», и Николай Степанович этих соков чувствовал в себе на 53 года. Он особенно любил об этом говорить во время войны. «Меня не убьют, я еще нужен». Очень часто к этому возвращался. Очень характерная его фраза: «На земле я никакого страха не боюсь, от всякого ужаса можно уйти в смерть, а вот по смерти очень испугаться страшно» [16; 138].

Николай Степанович Гумилев. *В записи Н. А. Оцупа:*

Убить безоружного – величайшая подлость. А вообще смерть не страшна. Смерть в бою даже упоительна [9; 479–480].

Николай Степанович Гумилев. *В записи В. Неведомской:*

Ну что ж, если над нами висит катастрофа, надо принять ее смело и просто. У меня лично никакого гнетущего чувства нет, я рад принять все, что мне будет послано роком [9; 446].

Николай Степанович Гумилев. *В записи И. В. Одоевцевой:*

Без опасности и риска для меня ни веселья, ни даже жизни нет [23; 65].

Николай Степанович Гумилев. *В записи О. А. Мочаловой:*

Испытать ту предельную степень боли, которая вызывает уже не крик, не стон, а улыбку… [22; 281]

Вера Иосифовна Лурье:

Он считал, что к известному возрасту поэт исписывается

и впадает в декадентство, сам того не замечая, но что с ним этого не будет, благодаря тому, что он умеет критически относится и к своим стихам, а кроме того, он просил двух друзей-поэтов его предупредить, если у него начнется падение таланта, причем, добавил он, ему это будет совсем не неприятно, напротив, как хорошо быть свободным человеком и уехать куда-нибудь в Америку, охотиться на диких зверей.

Я удивилась, отчего, будучи поэтом, он себя не считает свободным, тогда он объяснил, что долг его, как поэта, следить за поэтической работой Союза поэтов и молодежи, тем более что нет людей, на которых это можно оставить. Гумилев, несмотря на свою моральную независимость и безразличие к мнению людей, был человеком внутреннего долга. Поэзия была для него от Бога, и если поэт в его глазах был первым человеком, то чем больше ему было дано, тем больше с него и взыскивалось [17; 9].

Николай Степанович Гумилев. *В записи О. А. Мочаловой:*
Стихов на свете мало, надо их еще и еще… [22; 284]

Краткая летопись жизни и творчества Н. С. Гумилева

1886, 3(15) апреля. В Кронштадте в семье корабельного врача Степана Яковлевича Гумилева родился сын Николай.

1887. Гумилевы переезжают жить в Царское Село.

1898. Держит экзамен в приготовительный класс Царскосельской гимназии, но по состоянию здоровья с осени продолжает обучение дома. Затем поступает в гимназию Гуревича в Петербурге.

1900–1903. Семья Гумилевых переезжает на Кавказ, в Тифлис. Учение во 2-й, а с января 1901-го в 1-й Тифлисской гимназиях.

1902, 8(21) сентября. В газете «Тифлисский листок» опубликовано первое стихотворение Н. С. Гумилева: «Я в лес бежал из городов…». Подписано: «К. Гумилев».

1903. Семья Гумилевых возвращается в Царское Село. Поступает в 7-й класс Николаевской Царскосельской гимназии.

1903, 24 декабря (1904, 6 января). Знакомится с Анной Горенко (А. Ахматовой).

1905, октябрь. Выходит в свет первый сборник стихов «Путь конквистадоров», изданный на деньги матери.

1905, ноябрь. Журнал «Весы» публикует рецензию В. Я. Брюсова на сборник «Путь конквистадоров».

1906, февраль. Получает от В. Я. Брюсова предложение сотрудничать в журнале «Весы».

1906, 30 мая (12 июня). Оканчивает гимназию.

1906, июль. Приезжает в Париж. Поступает в Сорбонну.

1907, 7 января. Посещает в Париже Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус, в их доме знакомится с А. Белым.

1907, январь – февраль. Вместе с М. Формаковским и А. Божеряновым выпускает двухнедельный литературный журнал «Сириус». В свет вышло три выпуска. Публикуется под псевдонимами «Анатолий Грант», «К-о», «К…».

1907, май. По дороге из Парижа заезжает в Киев для встречи с А. Горенко. Делает ей предложение и получает отказ.

1907, 15(28) мая. В Москве лично знакомится с В. Я. Брюсовым.

1907, июль. На обратном пути в Париж едет в Севастополь, где вновь встречается с А. Горенко и вновь делает предложение, получив очередной отказ. Из Севастополя на пароходе «Олег» плывет в Марсель, попутно останавливаясь в Стамбуле и Смирне. Предпринимает попытку самоубийства.

1907, 20 июля. Возвращается в Париж, где вскоре в мастерской художника С. Гуревича знакомится с Е. Дмитриевой (в будущем – Черубиной де Габриак).

1908, январь. В Париже выходит вторая книга стихов «Романтические цветы» с посвящением Анне Горенко. Знакомство с А. Н. Толстым и М. А. Волошиным.

1908, 20 апреля. Уезжает из Парижа и через Севастополь возвращается в Царское Село.

1908, 18(31) августа. Зачислен студентом юридического факультета Петербургского университета.

1908, 10(23) сентября – 9(22) ноября. Первая поездка в Африку. Из Одессы на пароходе «Россия» плывет до Александрии, с заходами в Стамбул и Афины. Из Александрии совершает поездку в Каир.

1908, ноябрь. Знакомится с С. А. Ауслендером и через него с Вячеславом Ивановым.

1909, 7(20) января. На вернисаже «Салон 1909 года» в Петербурге знакомится с С. К. Маковским.

1909, начало. Знакомство с М. А. Кузминым, В. А. Комаровским, О. Л. Делла-Вос-Кардовской, А. А. Зноско-Боровским, Г. И. Чулковым, В. А. Пястом, О. Э. Мандельштамом и другими писателями и художниками.

1909, 3(16) апреля. У Гумилева в доме Георгиевского состоялась встреча писателей и художников, которых он представил И. Ф. Анненскому.

1909, апрель. Вместе с А. Н. Толстым издает журнал «Остров» (выходит два выпуска).

1909, 25 мая (7 июня). Вместе с Е. И. Дмитриевой едет к Волошину в Коктебель; по пути, в Москве наносит визит Брюсову.

1909, начало июля. В Люстдорфе под Одессой встречается с А. Горенко.

1909, август. Создана редакция журнала «Аполлон». С 1 сентября слушает лекции на историко-филологическом факультете Петербургского университета.

1909, 25 октября (7 ноября). Выходит первый номер журнала «Аполлон».

1909, 22 ноября (5 декабря). Дуэль Гумилева с Волошиным.

1909, 26 ноября (9 декабря). Вместе с А. Н. Толстым, М. А. Кузминым и П. П. Потемкиным выступает в Киеве на вечере «Остров искусств», после которого сделал очередное предложение А. Горенко, на что получил согласие.

1909, ноябрь – 1910, февраль. Вторая поездка в Африку. Посещает по пути Варну, Стамбул, Александрию, Каир, Порт-

Саид.

1910, 5(18) февраля. Возвращается в Петербург.

1910, 6(19) февраля. Умирает отец Гумилева, Степан Яковлевич.

1910, 16(29) апреля. Выходит третий сборник стихов, «Жемчуга», с посвящением «моему учителю Валерию Яковлевичу Брюсову». Переписка с Брюсовым о «Жемчугах» велась с 1908 г.

1910, 25 апреля (8 мая). В Николаевской церкви села Никольская Слободка венчается с А. А. Горенко.

1910, 2 (15) мая – 23 сентября (6 октября). Свадебное путешествие в Париж.

1910, 23 сентября (6 октября) – 1911, 25 марта (7 апреля). Третья поездка в Африку. Посещает Стамбул, Каир, Бейрут, Порт-Саид, Джедду, Джибути, Аддис-Абебу.

1911. А. И. Гумилева, мать поэта, покупает дом в Царском Селе, на Малой улице, 15, куда переселяются молодые.

1911, 5(18) апреля. Делает доклад о своем африканском путешествии в редакции «Аполлона».

1911, 4(17) мая. Подает прошение об увольнении из университета (с юридического факультета).

1911. 7(20) августа. В Москве встречается с А. Белым, посещает Брюсова, у которого знакомится с Н. А. Клюевым.

1911, 20 октября (2 ноября). В Петербурге на Фонтанке, 143, кв. 5 состоялось первое собрание «Цеха поэтов».

1912, 13(26) января. Знакомится с актрисой Ольгой Высотской.

1912. Выходит сборник стихов «Чужое небо».

1912, до 14(27) апреля. Посылает А. Блоку книгу «Чужое небо» с надписью: «Александру Александровичу Блоку с искренней дружественностью. Н. Гумилев».

1912, весна. Поездка в Италию вместе с А. А. Горенко (Ахматовой). Пишет цикл итальянских стихов.

1912, 18 сентября (1 октября). Родился сын Лев.

1912, октябрь. Выходит первый номер журнала «Гиперборей» (редакция: Гумилев, Городецкий, Лозинский).

1913, апрель – сентябрь. Академия наук командирует Н. С. Гумилева в Африку. Маршрут проходит через Джибути, Дире-Дауа, Харрар, Аддис-Абебу.

1913, 13(26) октября. У О. Высотской рождается внебрачный сын Гумилева Орест.

1914, 1(14) марта. Выходит сборник «Эмали и камеи» Т. Готье в переводе Гумилева.

1914, 1(14) августа. Начало Первой мировой войны.

1914, 24 августа (6 сентября). Записывается добровольцем

Лейб-Гвардии Уланского полка.

1915, 13(26) января. Награжден Георгиевским крестом 4-й степени; повышен до чина в ефрейтора. 15 января произведен в унтер-офицеры.

1915, 27 января (9 февраля). На вечере поэтов в кафе «Бродячая собака» читает стихотворения «Война», «Священные плывут и тают дни…» и др.

1915, 3(16) февраля – 1916, 11(24) января. В газете «Биржевые ведомости» печатаются «Записки кавалериста» с пометкой: «От нашего специального военного корреспондента».

1915, 15(18) декабря. Выходит книга стихов «Колчан», посвященная Татиане Адамович.

1915, декабрь. Награжден Георгиевским крестом 3-й степени.

1916, 28 марта (10 апреля). Приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта произведен в прапорщики с переводом в 5-й Гусарский Александрийский полк.

1916, 5(18) мая. Направлен на излечение в Царское Село.

1916, 14(27) мая. На вечере Брюсова знакомится с А. Н. Энгельгардт.

1916, 2(15) июня – 14(27) июля. Едет в Крым на лечение.

1916, лето. Образован 2-й «Цех поэтов».

1916, 25 июля (7 августа). После обследования врачебной комиссией прибыл в полк.

1916, 17(30) августа. Командирован в Николаевское кавалерийское училище для держания офицерского экзамена; в Петроград прибыл 19 августа.

1916, октябрь. Знакомство с Л. Рейснер.

1916, 25 октября (7 ноября). Не сдав экзамена по фортификации, снова отбывает на фронт.

1917. В «Русской мысли» (1917, книга первая) опубликована драматическая поэма «Гондла».

1917, 15 мая. Покинул Петроград, чтобы попасть в действующую армию на Салоникский фронт.

1917, 20 мая. Приезжает в Стокгольм, оттуда морем в Лондон.

1917, 1 июля. Прибыл в Париж, где находится в составе Управления Военного комиссариата (приказ по русским войскам во Франции № 30).

1917. В Париже знакомится с М. Ларионовым и Н. Гончаровой, влюбляется в Е. Дюбуше, которой посвящен цикл стихов «Синей звезде», начинает писать трагедию «Отравленная туника».

1918, 2 января. По собственному желанию командирован в Англию для направления в действующую армию

на Месопотамский фронт.

1918, 4 января. За расформированием Управления Военного комиссариата оставлен на учете старшего коменданта русских войск в Париже.

1918, 8 января. Подает на имя представителя Временного правительства рапорт-ходатайство о назначении его на Персидский фронт.

1918, 21 января. Из Франции прибывает в Лондон и добивается разрешения на въезд в Россию. В Лондоне знакомится с О. Хаксли, Д. Х. Лоуренсом, Г. К. Честертоном.

1918, 4 апреля. Покидает Лондон и через Скандинавию и Мурманск возвращается в Петроград.

1918. Вторым изданием выходит сборник «Жемчуга».

1918, июнь. Выходит третье издание сборника «Романтические цветы» (вторым изданием принято считать одноименный раздел в «Жемчугах», 1910).

1918, 28 июня. Выходит книга «Мик».

1918, 11 июля. Выходит сборник «Костер».

1918, 13 июля. Выходит сборник «Фарфоровый павильон (Китайские стихи)».

1918, 5 августа. Развод с А. А. Ахматовой.

1918, 15 ноября. Открылся Институт живого слова, в котором читает лекции по курсам теории и истории поэзии.

1919. Женитьба на Анне Николаевне Энгельгардт, дочери историка и литературоведа Н. А. Энгельгардта и внучки публициста А. Н. Энгельгардта.

1919. Выходит книга «Гильгамеш. Вавилонский эпос», переведенная Гумилевым, с его же «Предисловием переводчика».

1919. Преподавание в Институте истории искусств, в Институте живого слова и во многих литературных студиях.

1919, 14 апреля. Родилась дочь Елена.

1920, март. Участвует в организации Петроградского отдела Всероссийского союза писателей.

1920, конец года. Основан 3-й «Цех поэтов».

1921, февраль. Н. С. Гумилев избран руководителем Петроградского отделения Всероссийского союза поэтов.

1921. Создан литературный кружок Дома искусств «Звучащая раковина» под председательством Гумилева.

1921, 5 марта. Читает в Доме литераторов доклад «Современность в поэзии Пушкина».

1921, 20 апреля. Принимает участие в «Вечере стихов „Цеха поэтов“» в Доме искусств.

1921, 20 мая. Привозит из Бежецка в Петроград жену и дочь.

1921, июнь. Совершает поездку в Москву и Крым в салон-

вагоне наркома Морских сил контр-адмирала А. В. Немитца.

1921, июнь. В Севастополе издан сборник «Шатер» с посвящением «Памяти моего товарища в африканских странствиях Николая Леонидовича Сверчкова».

1921, 3 августа. Арестован по подозрению в участии в Петроградской боевой организации под руководством В. Н. Таганцева.

1921, август. Следствие по делу «таганцевского заговора». Выходит в свет последний прижизненный сборник стихов «Огненный столп». С посвящением второй жене Анне Николаевне Гумилевой, урожденной Энгельгардт.

1921, 24 августа. Постановление Петроградской Губчека о расстреле участников «таганцевского заговора» (всего 61 человек); дата расстрела точно неизвестна.

1921, 1 сентября. «Петроградская правда» в статье «О раскрытом в Петрограде заговоре против Советской власти…» публикует сообщение о «таганцевском заговоре» и список участников, с формулировкой обвинения и приговора.

Библиографическая справка

Тексты цитируются по следующим источникам с указанием порядкого номера по списку и страницы:

1. *Адамович Г. В.* Одиночество и свобода / Сост., коммент., вступ. ст. В. Крейда. М.: Республика, 1990.

2. *Алексеева А.* «Я часто скачу по полям, крича навстречу ветру ваше имя». О переписке Н. С. Гумилева и Л. М. Рейснер // Хронограф-89. Ежегодник. / Сост. С. А. Митрохина. М.: Московский рабочий, 1989. С. 280–296.

3. *Ауслендер С. А.* Воспоминания о Н. С. Гумилеве // Панорама искусств. Вып. 11. М.: Советский художник, 1988. С. 197–204.

4. *Ахматова А. А.* Собрание сочинений: В 6 т. Т. 5 Биографическая проза / Сост., подгот. текста, коммент., вступ. ст. С. А. Коваленко. М.: Эллис Лак, 2000, 2001.

5. *Берберова Н. Н.* Курсив мой. М.: Согласие, 1996.

6. *Бронгулеев В. В.* Посредине странствия земного. Документальная повесть о жизни и творчестве Николая Гумилева. Годы: 1886–1913. М.: Мысль, 1995.

7. *Волошин М. А.* История моей души. М.: Аграф, 1999.

8. Встречи с прошлым. Выпуск 7. М.: Советская Россия, 1990.

9. *Высотский О. Н.* Николай Гумилев глазами сына / Сост. Г. Н. Красникова, В. П. Крейда. М.: Молодая гвардия, 2004.

10. *Горнунг Л. В.* Неизвестный портрет Н. С. Гумилева // Панорама искусств. Вып. 11. М.: Советский художник, 1988. С. 182–197.

11. *Гумилев Н. С.* Собрание сочинений: В 4 т. / Под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. М.: Терра, 1991. Т. 4.

12. Жизнь Николая Гумилева: воспоминания современников / Сост. и авт. коммент. Ю. В. Зобнин, В. П. Петрановский, А. К. Станюкович. Л.: Изд-во Международного фонда истории науки, 1991.

13. *Ирецкий В. Я.* Воспоминания о Гумилеве // Российский архив. Вып. I. М., 1991. С. 205–212.

14. *Колоницкая А.* «Все чисто для чистого взора…» Беседы с Ириной Одоевцевой. М.: Воскресенье, 2001.

15. *Кузмин М. А.* Дневник. 1908–1915. Предисл., подгот. текста и коммент. Н. А. Богомолова и С. В. Шумихина. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2005.

16. *Лукницкая В. К.* Николай Гумилев. Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. Л.:

Лениздат, 1990.

17. *Лурье В. И.* Воспоминания о Гумилеве // De visu, 1993. № 6. С. 5–14.

18. *Мочалова О. А.* Голоса Серебряного века / Сост., предисл. и коммент. А. Л. Евстигнеевой. М.: Молодая гвардия, 2004.

19. *Наппельбаум И. М.* Угол отражения. Краткие встречи долгой жизни. СПб.: ИД «Ретро», 2004.

20. Николай Гумилев. Исследования. Материалы. Библиография / Сост. М. Д. Эльзон, Н. А. Грознова. СПб.: Наука, 1994.

21. Николай Гумилев в воспоминаниях современников / Сост., коммент., вступ. ст. В. Крейда. Репринтное издание. М.: Вся Москва, 1990.

22. Н. С. Гумилев: Pro et Contra / Сост., вступ. ст. и примеч. Ю. В. Зобнина. СПб.: РХГИ, 1995.

23. *Одоевцева И. В.* На берегах Невы. М.: Худож. лит., 1988.

24. *Рейснер Л. М.* Автобиографический роман // Литературное наследство. Т. 93. Из истории советской литературы 1920–30-х гг. М., 1983.

25. *Сажин В. Н.* Новое о деле Гумилева // Даугава, 1990. № 11. С. 91–93.

26. *Тименчик Р. Д.* По делу № 214224 // Даугава,1990. № 8. С. 116–122.

27. *Тихонов Н. С.* Устная книга // Вопросы литературы, 1980. № 6. С. 120–124.

28. Фет, Блок, Гумилев. Из писем Георгия Блока Борису Садовскому. Примеч. и публ. С. Шумихина // Независимая газета, 1996. 3 сентября.

29. *Чуковский Н. К.* Литературные воспоминания. М.: Советский писатель, 1989.

30. Отдел рукописных фондов Государственного Литературного музея.

notes

Сноски

1

Высотский О. Н. Николай Гумилев глазами сына. М.: Молодая гвардия, 2004. С. 15.

2

Чуковский Н. К. Литературные воспоминания. М.: Сов. писатель, 1989. С. 30.

3

Анжамбеман – поэтический прием, несоответствия между границами стихотворных строк и синтаксическими паузами.

4

Блаженная леность души *(фр.)*.

5

Хэлло! Пошли! *(англ.)*

Лейбористской партии *(англ.)*.

7

Английская молоденькая девушка *(англ.)*.

8

Что это? *(англ.)*

9

Понятно. Премного благодарен *(англ.)*.

10

Дорогу на Васильевский остров *(англ.)*.

11

Чудесно! О, да! Ваш великий Ленин! Карл Маркс! О, да! *(англ.)*

12

Спасибо. Спасибо! *(англ.)*

13

Англичанин не танцует на улице. Это шокирует!

14

С листа *(фр.)*.

Эредиа, Малларме, Рембо *(фр.)*.

16

«Перчатка» *(нем.)*.

17

Альтман М. С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. СПб.: Инапресс, 1990. С. 90.

18

«Желтая любовь» *(фр.)*.

19

Недотрога *(фр.)*.

Здесь: с постепенным усилением.

21

Проживу еще *(фр.)*.

22

Лица. Биографический альманах. М.; СПб., 1992. Вып. 1. С. 352–353.

23

Верже – бумага высокого качества с водяными знаками.

Встречи с прошлым. Вып. 6. М.: Сов. Россия, 1988. С. 160.

25

Спальный вагон *(англ.)*.

26

Хлебное растение.

27

Губернатор провинции.

28

Собственник каравана, почетное название богатых купцов.

29

Дни путешествия пронумерованы Гумилевым без указания дат. – *Сост.*

30

Дословно: «начальник горной крепости», звание, соответствующее начальнику отдельного отряда. – *Сост.*

31

Военный чин, соответствующий званию генерала. – *Сост.*

32

Это меня выделяет среди солдат *(фр.)*.

Коморси – командующий Морскими силами.

34

Жизнь без страстей подобна смерти *(фр.)*.

35

Названия протоколов приводятся в том виде, в каком они фигурируют в деле Н. С. Гумилева. – *Сост.*